

LE MESSAGE

# ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО  
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

108
109
110

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 108-109-110 ТРИМЕСТРИЕЛ II-III-IV 1973

LE MESSAGE

# ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО  
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

108
109
110

БИБЛИОТЕКА-ФОНД  
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ»  
МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ 2  
4001443

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 108-109-110 TRIMESTRIEL II-III-IV 1973

## АРХИПЕЛАГ ГУЛаг

В 1957 году Пастернак закончил свой автобиографический очерк там, где начинался мир, „охваченный рамой революции“. Свой отказ вести дальше повествование Пастернак объяснил: „Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы... писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, не только бессмысленно и бесцельно, писать так низко и бессовестно. Мы далеки еще от этого идеала“. Пастернак не знал и не мог знать, что идеал этот был не столь далек, как ему представлялось, что как раз в те же годы никому не известный бывший лагерник и ссыльный начинал в тиши и в глуши ошеломляющую повесть о русской революции, от которой будет замирать сердце и дыбом становиться волосы у миллионов ее читателей или слушателей.

*Архипелаг ГУЛаг* — книга ошеломляющая и фантастическая в еще большей степени, чем описание Петербурга Гоголем и Достоевским, хотя бы потому, что несоизмерим призрачно-блистательный город с тем страшным, кровью заполненным провалом русской истории (да не только русской, всечеловеческой), что именуется ГУЛагом. Читателям XIX века плохо спалось после чтения *Преступления и наказания*; у читателя XX-го века нервы крепче, но прочитав *Архипелаг*, вряд ли он спокойно заснет.

*Архипелаг ГУЛаг* — книга всенародная. Когда-то Солженицын упрекнул Ахматову, что *Реквием* не совсем то, что надо, слишком личен, субъективен. Упрек этот казался раньше резким, несправедливым, но *Архипелаг ГУЛаг* его объяснил и оправдал. Как ни старалась Ахматова расширить свой страдальческий путь до бедствия всенародного, ей это не удалось. Личный момент: „я была тогда с моим народом“ придавил всеобщий. Солженицын не скажет „мой народ“: он и народ — одно. В *Архипелаге* произошло ошеломляющее художественное чудо слияния — без смешения! — личного и всенародного. Свой опыт Солженицын включил во всеобщий, но всегда сохраняя свое лицо, и обратно, через его опыт, через его голос кричит „стомил-

лионный народ“ от первых, уже совсем забытых жертв 1918 года до тех, кто страдал еще так недавно, кто страдает еще сегодня.

Ошеломляет п о л н о т а книги. В этих двух первых частях — только преддверье концлагерей, но в них уже всё все процессы, все потоки (до эмигрантов, до власовцев, до корейцев!), всё разнообразие арестов, все виды пыток, головокружительное количество встреч, судеб, переданных вскользь, иной раз в сноске, но всегда предельно ярких, предельно личностных. „Миллионам убитых задешево“ Солженицын дает очертание, жизнь, лицо.

Полнота *Архипелага* не в одном только художественном описании или историческом синтезе, она не в меньшей степени и полнота п р а в д ы во всем её политическом, нравственном и религиозном значении.

*Архипелаг* — книга воздаяния, суда, покаяния. В ней — мертвые встают с безумных строек, загубивших их, со дна подвалов и каналов, и взывают, как призраки в Ричарде III, о воздаянии. Страницы *Архипелага* — как скрижали страшного судного дня. „Вся правда сказана и никому её уже не стереть“.

Но полный, подлинный суд здесь на земле, по таинственному, но непреложному евангельскому закону, невозможен без покаяния. Религиозная правда, нравственная сила Солженицына в том, что он обличает не со стороны, не извне, а ставит самого себя под обличение, начинает суд с самого себя, а тем самым и с каждого из нас. Он не крикнул, когда его арестовали, не сопротивлялся, но кто же сопротивлялся, кто из нас бы крикнул? Он не остановил истязания власовца, но мы бы остановили? Золотая пыль погон затмила ему глаза, но чьи глаза не были ослеплены и не будут — покуда мир стоит — ослепляться мишурой авторитета, самопревознесения.

Начиная суд с самого себя, Солженицын призывает к всенародному покаянию, без которого невозможно никакое будущее России.

Но если все виноваты, даже те, кто пострадал, это соучастие в общей вине не снимает ответственности с прежних виновников, с первопричины катастрофы. „Кто же у истока — люди или система?“. На этот коренной, одновременно политический и нравственный вопрос,

обращенный не только к русским, но и ко всему человечеству, Солженицын отвечает опытом всей России: не люди, а система, их испортившая, не люди, а мертвящая идеология, прославленная Передовая Теория.

И потому, что Солженицын как бы отделяет идеологический грех от личного, *Архипелаг ГУЛаг*, несмотря на описание нечеловеческих зверств, нечеловеческих падений, добрая книга, книга, исполненная уверенности в высокое призвание человека и надежды на исполнимость этого призвания.

Своей художественной неотразимостью, своей политической трезвостью, своей нравственной высотой *Архипелаг ГУЛаг* из тех редких книг, что произведут сдвиги не только в сознании людей, но и в самой истории.

*Никита Струве*

*Номер Вестника был уже сверстан, когда пришло известие об аресте, 12 февраля 1974, Александра Солженицына и о высылке его на следующий день на Запад. Событие это — историческое, и лишь постепенно откроется во всем своем значении.*

*Мы счастливы, что А. Солженицын дал Вестнику право первым напечатать его завещание русскому народу „Жить не по лжи“, оставленное им на случай ареста. Прилагаем и первое интервью, данное им в Цюрихе: в нем он отвечает на те вопросы, которые задает себе каждый, кто в эти дни торжества и позора думает о судьбе великого изгнанника.*

## ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!

Когда-то мы не смели и шепотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем Самиздат, а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души нажалуемся: чего только *они* ни накуролесят, куда только ни тянут нас! И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и безрассудно вырастили Мао Цзе-дуна (на наши средства) — и *н а с* же на него погонят, и придется идти, куда денешься? и судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишенные — всё *они*, а *м ы* — бессильны.

Уже до доньшка доходят, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжет и нас, и наших детей, — а мы по-прежнему всё улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно:

— А чем же мы помешаем? У нас нет силы.

Мы так безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков — только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся (может, в щелочку спрячемся), — мы только боимся шагов гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку — и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки.

Уж как долбили нам на политкружках, так в нас и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: *среда*, социальные условия, из них не выскочишь, бытие определяет сознание, мы-то при чем? мы ничего не можем.

А мы можем — *в с ё!* — но сами себе лжем, чтобы себя успокоить. Никакие не *они* во всем виноваты — *м ы с а м и*, только *МЫ!*

Возражат: но ведь действительно ничего не придумаешь! Нам заклипили рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить *их* послушать нас?

Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста — но мы слишком забыты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как это вдруг — выйти на улицу?

Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории — тем более не для нас, и вправду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло, — видно нам, как заблудились, как зачಾದились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!

Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остается нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь с а м о?..

Но никогда оно от нас не отлипнет с а м о, если все мы, все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнемся хотя б от самой чувствительной его точки.

От — ЛЖИ.

Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет, и кричит: „Я — НАСИЛИЕ! Разойдись, расступись — раздавлю!“ Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично — непременно вызывает себе в союзники ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: ЛИЧНОЕ НЕУЧАСТИЕ ВО ЛЖИ! Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрямся: пусть владеет НЕ ЧЕРЕЗ МЕНЯ!

И это — прорез во мнимом кольце нашего бездействия! — самый легкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестает существовать. Как зараза, она может существовать только на людях.

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего н е думаем!

Вот это и есть наш путь, самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: НИ В ЧЕМ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЖИ СОЗНАТЕЛЬНО! Осознав, где граница лжи (для каждого она еще по-разному видна) — отступиться от этой гангреной границы! Не подклеивать мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадет, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

— живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

— не приведет ни устно, ни письменно ни одной „руководящей“ цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли. Не возьмет в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искаженное обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются...

Мы перечислили, разумеется, не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться — взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обминуть хоть одного из названных шагов — в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души — пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — так пусть и скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь — самый умеренный из всех путей сопротивления — для засидевшихся, нас, будет нелегко. Но насколько же легче самосожжения или голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жары, и черный-то хлеб с чистой водою всегда найдется для твоей семьи.

Преданный нами, обманутый нами воистину великий народ Европы — чехословацкий, неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищенная грудь, если в ней достойное сердце?

Это будет нелегкий путь? — но самый легкий из возможных. Нелегкий выбор для тела — но единственный для души. Нелегкий путь — однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живет по правде.

Итак: не первыми вступить на этот путь, а — ПРИСОЕДИНИТЬСЯ! Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи — и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не даёт дышать — это мы сами себе не даем! Пригнемся еще, подождем, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в этом мы струсим, то мы — ничтожны, безнадёжны, и это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?

.....  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич.

А. Солженицын

12 февраля 1974 г.

## ИНТЕРВЬЮ А. И. СОЛЖЕНИЦИНА

с корреспондентом *Associated Press* Френком Крепо

18 февраля 1974 г.

*Как вы себя чувствуете в изгнании?*

Вероятно, человек во многом похож на растение. Когда вырывают с места и забрасывают далеко — нарушаются сотни корешков и питающих жилок. Все дни и каждую минуту ощущаешь нехватку, необычность, ощущаешь себя — не собою самим. Но я не думаю, что это безнадежно. Даже старые деревья — и те ведь пересаживают, и они принимаются на новом месте.

*Как вас встретили на Западе?*

Исключительно тепло, дружелюбно, даже горячо — и население и власти. В Германии приходили приветствовать даже группы школьников, в Цюрихе шлюют привет многочисленные прохожие, встречные. Я опшеломлен таким вниманием, никогда не испытывал подобного. Правда, в этом есть и изнурительная сторона: назойливая слежка со стороны фото- и кинорепортёров, фиксирующих каждый шаг и движение. Это — другой полюс той неотступной, но скрытой слежки, которой я постоянно подвергался у себя на родине. Тоже очень неприятно.

*Когда вы ожидаете приезда вашей семьи?*

Если верить заявлениям членов советского правительства, мою семью выпустят без помех. Но без моего участия двум женщинам с четырьмя детьми не легко ликвидировать многолетний быт, собраться, подняться, найти момент, когда никто из детей не болен.

*Как на новом месте пойдет ваша литературная работа?*

Сколько я живу, я вел литературную работу постоянно, без перерыва даже на неделю. Как ни больно, как ни горько начинать эту работу здесь — я буду вести ее и здесь. Но направление ее зависит от того, насколько беспрепятственно советские власти выпустят мой литературный архив — почти уже готовый Узел 2-й „Октябрь Шестнадцатого“, на-

чатый 3-й Узел и обильные заготовки материалов, документов, рассказы очевидцев, фотографии, иллюстрации и многочисленные редкие книги с моими пометками. Архив этот я собирал с 1956 г. и вложил в него огромный труд. Если советские власти конфискуют его, хотя бы даже частично, это будет духовным убийством. В этом случае мне очевидно придется отказаться от главного замысла моей жизни — исторического романа времен революции. Повторить сбор такого архива я уже не в силах. Но тогда оставшиеся мои годы и силы вместо русской истории я направлю на советскую современность, для которой я не нуждаюсь ни в каких архивах.

*В какой стране вы предполагаете обосноваться?*

Меня весьма радушно встретила Швейцария, я получаю дружеские приглашения из скандинавских и некоторых других стран. Я сердечно благодарен всем приглашителям. Решение будет зависеть от того, где я смогу в короткое время найти себе достаточно просторное, тихое жилище с землей, удобное для работы и для здоровья. Все свои 55 лет я жил бездомно, тесно, не мог совместить рабочие условия и жизнь с семьей. В наступающие годы хотя бы это я хотел бы устроить.

*Как вы думаете, надолго ли вы обречены жить вне родины?*

Я — оптимист от природы и не ощущаю свое изгнание как окончательное. Предчувствие такое, что через несколько лет я вернусь в Россию. Как это произойдет, какие условия изменятся — я не могу предсказать, но люди и ничего не умеют предсказывать, а чудеса неизменно чередой совершаются в нашей жизни. Последние годы жизни в России я почти уже был и лишен родины: давление и слежка КГБ, противодействия властей на всех инстанциях не давали мне возможности ни ездить по местам действия моего романа, ни опрашивать очевидцев. Однако, я уже говорил когда-то и повторяю теперь: я знаю за собой право на русскую землю нисколько не меньше, чем те, кто взял на себя смелость физически вытолкнуть меня.

## ОПЫТ ЖУРНАЛЬНОЙ УТОПИИ

Открытое письмо редактору «Вестника РСХД» Н. А. Струве \*)

Глубокоуважаемый Никита Алексеевич!

На золотой заре русского XIX века, когда Пушкин делал свои первые поэтические опыты, князь П. А. Вяземский сочинил «Мой сон о русском журнале». «Мне казалось, — писал он там, — что из избранных наших писателей составилось общество. Оно не звалось ни ученым, ни беседою, ни академиею, и, к большой странности, не внесено было в адрес-календарь, и потому не считали нужным украсить его людьми, впрочем именитыми, никогда ничего не писавшими и редко читавшими, как случается иногда в наших академиях...» Вот так и сегодня захотелось мне помечтать о создании журнала совершенно вне-официального, но литературно представительного, способного постепенно составить из наших разрозненных творческих сил непринудительное единство.

Поводом для моего сна наяву послужил Ваш «Вестник». Чтение его не только доставляет истинное духовное наслаждение, но и воодушевляет, взбадривает. С каждым разом доходящие до нас номера становятся содержательнее, разностороннее. Благодаря Вашим усилиям мы получаем возможность представить и то, насколько выросла, наперекор всем препонам, наша общественная мысль, и то, в каком направлении она развивается, над какими вопросами бьется. Парадоксально, но факт: сегодня Ваш издающийся в эмиграции журнал связывает здешних свободных авторов, которые, вероятно, не знали бы ничего друг о друге, не будь Вашего посредничества.

Нужно быть здесь, подышать в этой атмосфере всеобщего уныния и готовности лгать, от которых опускаются руки, чтобы почувствовать обнадеживающее действие издания, публикующего смелые и талантливые статьи соотечественников. У нас тут литературные мнения меняются с той же бездумной легкостью, как у Полония, который видел в облаке то верблюда, то хорька, а то кита. И так же они ни на чем больше не основаны, кроме

\*) На это чрезвычайно важное письмо из СССР мы откликнемся обстоятельно в следующем номере «Вестника».

стремления угодить — но не ироническому Гамлету, а такому же Полонию, только стоящему чуть повыше бюрократически. «Вестник» становится в этих условиях пульсом, биение которого свидетельствует, что организм еще жив, хоть и ушла жизнь в глубину, хоть и затаилась от недоброго глаза.

Если принять за одну точку нашу, я бы сказал, перерезавшую потребность в честном слове, а за другую — Ваш журнал, как он есть сейчас, если провести через них уходящую вдаль прямую, то это и будет моя «журнальная утопия».

У Вас счастливая способность отбирать из самиздатского самотека (в котором ведь много и графомании) действительно лучшее, действительно значительное и представительное. Быть напечатанным в «Вестнике» — большая честь и авторская удача, равноценная признанию и поддержке, в которой очень нуждаются авторы, пишущие исключительно по побуждению совести.

Не меньшей заслугой Вашей Редакции является и «режиссура» каждого номера, организация материала. Говоря высокими терминами Н. А. Бердяева, в «хаос» самопроизвольно зарождающихся мнений Вы вносите архитектурное начало «космоса». Случайно пришедшие статьи, — отнюдь не заказные, — документы и свидетельства подчиняются Вами общей идее или проблеме, освещая ее с разных сторон.

Думаю, не преувеличу, если скажу, что «Вестник РСХД» начала 70-х годов уже стал важнейшим фактором развития независимой мысли в современной России. Ваш опыт показывает, сколь успешен может быть сейчас русский общественно-культурный журнал, сколь насущна необходимость в нем.

Прогресс общественного и личного самосознания совершался за последнее десятилетие очень энергично, но противоречиво — до полной разорванности. Теперь нужно сделать усилие, чтобы вообразить, что всего лишь десять лет назад, в 1963 году, была возможна разрешенная публикация «Одного дня Ивана Денисовича». Пожалуй, это была высшая точка того непрочного соприкосновения «линии партии», которая, впрочем, и до того проводилась зигзагами, с общественной совестью. Начавшееся тогда же расхождение их завершилось разгоном либеральной редакции «Нового мира» и фактическим запрещением этого журнала. С тех пор наша культура непрерывно теряет возможность честного высказывания, пусть и в ограниченной сфере. В том же 1963 го-

ду скандально знаменитым выступлением Хрущева на художественной выставке в Манеже началось открытое гонение на творчески мыслящую интеллигенцию, которое было подхвачено и проводится во все более беззащитных формах поныне. Неизменно усиливавшаяся за эти годы реакция добилась, наконец, что официальные идеологические нормативы понизились до уровня сороковых, — то есть сталинских, — годов. Но, с другой стороны, та же реакция подтачивала год за годом и месяц за месяцем надежды творческой интеллигенции насчет «честного» сотрудничества с режимом или тех или иных приемов компромисса с ним. Кажется, ее одной было достаточно, чтобы раскрыть глаза имеющим мужество видеть. А действовала ведь не одна реакция!

Поэтому, наряду с видимым каждому замораживанием, усиливался радикализм суждений, пусть и не высказываемых публично, углублялась острота внутренней конфронтации, способность понимать. Правда, зажатые в этих ножницах между пишущей вспять реакцией и все увыстряющим, как бы объективным движением самосознания, многие отстают, застревают на тех или иных промежуточных ступенях. Наряду с опустошающим цинизмом растет неверие в возможность что-то доброе сделать. Растет и сложность как теоретических, так и экзистенциальных вопросов, обнажается и обостряется трагичность выбора.

Сегодня, видимо, мы находимся уже на таком уровне, когда всеобщее единомыслие свободно мыслящих не может быть столь компактным, как десять лет назад. Раньше единство настроения росло из о т р и ц а н и я существующего, обнаружения «теневых» его сторон, как у нас любят выражаться. Отвечавшая этому настроению литература была, в основном, о б л и ч и т е л ь н о й. Даже преисполненные верой и добротой произведения А. И. Солженицына воспринимались как подтверждение набухающей ненависти: «Один день Ивана Денисовича» — к сталинским лагерям, «Матренин двор» — к сталинским колхозам.

Теперь нагромождение новых разоблачений уже мало кого удовлетворяет, ибо, в сущности, не несет ничего нового. За стриптизом чиновников не угонишься. Да и надо ли? Разоблачения могут иметь целью прямую агитацию, вербовку новых недовольных, раздражение нервов. Прилаживаясь к полному неведению, из него исходя, обличительство удовлетворяется ленивой, плоской, грубой мыслью. В нем — соблазн, жертвой которого, — чаще всего безвинной, — пали многие. В кругах, где обращается свободная литература, где читают, например, Ваш

журнал, агитировать не нужно. Что пользы расчесывать язвы, и без того зудящие нестерпимо?

В целом, конечно, это должно не обескураживать, а воодушевлять, ибо свидетельствует об известной зрелости, когда первичная стадия узнавания пройдена. В этих условиях интеллектуальные усилия, рождаемые уже не только ненавистью, но и любовью, не только жаждой разрушить, но и потребностью построить, должны бы направиться на поиск положительных решений, на лично пережитое осмысление нашей прошлой и современной истории. Наступает пора размышлений, самоанализа.

Хоть и под притертой пробкой, все же пробудилась у нас настоящая духовность, а временами вспыхивает и вдохновение, — увь, гаснущее часто, как искры на сквозняке. «Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения» — эти слова А. И. Герцена об эпохе Николая I могут с известным правом быть отнесены и к нам. Россия была бы сейчас благодатной страной духовности, если бы не внешний пресс. Страдания и унижения умудряют, если не успевают довести до отупения. Столько пережито, столько передумано и так сложна наша жизнь, которая, кажется, до дна обнажила нравственные основы человеческого существования! И этот выстраданный опыт драгоценен, как крупинки золота в промытом песке. Собрать его, сберечь, дать ему подходящую оправу — не сделать это было бы непостижительно и перед самими собою, и перед потомками, а, может, и перед всем современным человечеством.

Нам есть что сказать миру. Свидетельство тому — творчество тех немногих русских писателей, которые нашли в себе мужество заговорить в полный голос: А. Солженицына, В. Максимова, А. Галича. Но и помимо них — я знаю это — многое пишется, но — «в стол». И когда-нибудь будет обнаружено, что наша эпоха оставила богатую и разнообразную литературу. Однако, еще больше не высказывается, не пишется из-за нашей разобщенности, из-за неверия в собственные возможности, из-за разлагающего цинизма, который представляет любое творческое усилие бессмыслицей, а то и из страха, который, впрочем, вполне оправдан.

Культурно ценное, нравственно чистое отталкивается от дневного света гласности нахрапом невежд и откровенных проходимцев. На поверхности царит постыднейшая бездарность, которая захватила право безнаказанно распоряжаться в науке, в

литературе, в искусстве. Определяемые ее интересами, официальные критерии отсева произведений, редакционные шаблоны давно разошлись с какой бы то ни было политической целесообразностью. Сегодня фактически преследуется и изгоняется не крамола, а оригинальность, творческое дерзание как таковые. Или они, как таковые, превратились в крамолу?

В этих условиях наша литература во все более катастрофических масштабах переходит от актуального существования в потенциальное. Есть сочинения, которые не были допущены до печатного станка, есть и такие, которые умудренный горьким опытом автор и не понесет в издательство, есть, наконец, и такие, — а сколько их, никому знать не дано, — которые, будучи задуманы, так и остаются в замысле, так как заведомо известно, что одни преследования станут за них наградой.

Свидетельством внутренней мощи и содержательного богатства нашей современной культуры можно считать, что иногда еще — правда, все реже — появляется, вопреки всему, нечто достойное. Ведь при этом открывается только краешек, только обрывочный фрагмент того, что м о г л о б ы быть. Я вовсе не склонен принижать значение таких удач. Усилия, которые затрачиваются на то, чтобы пробиться сквозь многоярусные цензурные бастионы, поистине героичны. И они вознаграждаются благодарностью читателей, которые, по большей части, только через них имеют возможность приобщиться к серьезному. Эта читательская благодарность, это высоко развитое чутье нашей публики на хорошую книгу — тоже симптом нашего времени. Не случайно идеологические надсмотрщики начинают иногда преследовать автора только на том основании, что его произведение оказалось моментально раскуплено.

Но, с другой стороны, эта надоедливая игра, напоминающая архаическую песенку: «А мы просо сеяли, сеяли» — «А мы просо вытопчем, вытопчем», приводит к тому, что любая удача честного автора зависит от множества непредвидимых случайностей. Немногочисленные произведения, которые я здесь назвать не могу, чтобы не повредить, чтобы не навлечь внимание ищущих, возвышаются, как разрозненные обломки среди мертвого штиля. Из них нельзя составить картину целого. Они не складываются в культурное единство, не создают традиции. А кроме того, есть большая психологическая опасность, когда раздвоенное сознание автора поневоле направляется не столько на истину, сколько на цензурные ее ограничения.

Как бы там ни было, мы явно достигли сегодня некоего рубежа, перевалив через который нужно думать о новых формах духовного общения и развития свободной творческой мысли. Среди обступающего зла, лжи и безнравственности потребно проявление доброй воли, широты, терпимости. Это необходимо — подчеркиваю — не ради каких-то политических видов, а для того, чтобы покончить с ужасным положением, когда огромная страна, лишенная голоса, остается слепой и глухой к собственному положению, к собственным проблемам.

Короче говоря, н а м н у ж е н ж у р н а л — и не здешний машинописный, а большой, настоящий журнал, который при нынешних обстоятельствах может издаваться только за границей, — В а ш е г о т и п а .

В сотом (юбилейном) номере, если мне не изменяет память, Вы писали, что «Вестник» значительно расширился и обновился благодаря Самиздату, который с известного момента стал попадать на Запад. Судьба «Вестника» тесно связалась с внутренней духовной жизнью России, чутко реагируя на перемены в духовной атмосфере, которые происходят у нас здесь.

Ваше издание — уже сейчас л у ч ш и й ж у р н а л н а р у с с к о м я з ы к е . И это не только моя личная оценка — я слышал ее от многих Ваших читателей. В обстановке наступившего сейчас общественного спада, когда обращение самиздатовской литературы сильно сократилось, Вы сумели опубликовать целый ряд прекрасных статей, — богословских, публицистических, литературных, — безукоризненных по своим стилистическим и профессиональным качествам. Статьи 97 номера, заушательски и пристрастно названные «анти-русскими» у благодушно настроенных по отношению к себе и озлобленно — к другим авторов «Веча», поразили свежестью постановки действительно насущнейших для нас вопросов. Пожалуй, именно с них начался решительный поворот в стиле ведения «Вестника». Примыкая к ставшей уже классической для нас эмигрантской традиции, они в то же время внесли в нее сегодняшнюю злободневность. Пусть спорные, они никого не оставили равнодушными. Так оказалась засвидетельствована возможность соединения в Вашем журнале творческих усилий внутренних, самиздатских писателей и писателей эмиграции, без чего, конечно, был бы немислим хороший журнал, отвечающий общим интересам. Только истинной проникновенной любовью к больному отечеству, «зрячей любовью» можно объяснить идейную точность и этическую тактичность Ва-

ших собственных статей, комментариев и заметок, статей о. Александра Шмемана и других Ваших коллег.

Говорю это не ради комплиментов, которые, разумеется, никому не нужны, а для того, чтобы четче обозначить перспективу.

Есть несколько причин, почему некоторые из опубликованных Вами вполне добротных материалов могли по-настоящему увидеть свет только в «Вестнике». И главная из них вовсе не та, что органам подавления в известной мере удалось сократить обращение самиздатской литературы. Самиздат, — явление вполне стихийное, — был ограничен в своих возможностях изначально, хоть это до поры до времени не очень чувствовалось. Широта его распространения целиком зависит от всеобъемлемости интереса, вызываемого тем или иным произведением. Но по той же причине получается и известная усередненность интереса, а иногда даже — заниженность критериев. В Самиздате естественно сложилось разделение труда, при котором люди творческие, пишущие не заняты довольно трудоемким и опасным процессом размножения. Известны случаи, когда власти не трогали авторов, но жестоко наказывали распространителей их произведений. Берущиеся же за распечатку Самиздата невольно оказываются как бы цензорами, как бы редакторами, отбирающими литературные работы по своему разумению и вкусу. Такого не могло бы получиться в нормально и свободно развивающемся издательском деле.

Пока главным содержанием вольной литературы оставалось обличение, сложившиеся механизмы Самиздата не обнаруживали своих слабых сторон. Непривычная открытость авторского высказывания, мужество и подвижность людей, ставивших свои подписи под документами насквозь, по нашим обычаям, «крамольными» — завораживали как сенсация. Было стыдно не знать чего-то, не прочесть чего-то. Машинописные копии множились в геометрической прогрессии. Изъяты их из обращения власти оказались бессильны. Логическим завершением этой линии литературного развития явилась «Хроника текущих событий», аскетически ограничившая себя задачами фактической информации, но программно отказавшаяся от концептуального охвата событий.

Однако, как ведомо было еще Гераклиту, «многознание уму не научает». И чаша разоблачений переполнилась. Прибавляясь одно к другому, они, в сущности, не сообщали ничего нового. Уровень обобщения, ими постоянно подсказывавшийся, превра-

тился в потолок, в который мы уперлись головами. Интересно, что один умный писатель искренне убеждал следователя КГБ, будто «Хроника» — их работа: сообщаемые ею сведения о репрессиях и преследованиях рождают страх, растерянность, уныние, — больше ничего. Разумеется, он не прав. Страусово неведение обеспечивает бодрость и оптимизм, но едва ли спасительные. «Хроника» незаменима хотя бы потому, что избавляет многочисленные жертвы режима от ощущения покинутости, а разночинным исполнителям напоминает о возмездии.

Но что правда, то правда: негативная осведомленность жить не помогает. Она мешает человеку вписаться в окружающую социальную среду, функционировать по предписываемым ею законам. Эмоционально накаляемый до крайности, он вынужден постоянно и бдительно подавлять в себе позывы к действию, к открытому высказыванию. Бесплодное знание, — а речь ведь идет не просто о запасе сведений, отягощающих память, но и будоражащих совесть, — заставляет страдать, биться в клетке собственной души от сознания безвыходности. И не лучше ли уж тогда — не знать?

Прежний Самиздат начал терять свои кредиты. Но за это нельзя винить только одну общественность. Положа руку на сердце, она вправе быть требовательнее. Уж если на что и жаловаться, то — на привычную заниженность ее требований. Она хочет, чтобы ей ответственно подсказали, как же жить. Попытки этого рода делались. Напомню опубликованные в Вашем журнале самиздатские статьи Льва Венцова и С. Телегина. Один предлагал «думать», другой — уйти во внутреннюю эмиграцию. Видимо, по своим интенциям они имели переходный характер. Но в том-то и дело, что мы подошли к тому пункту, где каждый должен выбрать свою дорогу. А для этого необходимо сообразить, как и где мы оказались, куда и зачем нам двигаться дальше.

На этом кончается видимая монолитность Самиздата. Он, как река, подошедшая к морю, должен разбиться на множество рукавов, на разные направления, на несовместимые истолкования, на работы, посвященные исследованию частичных проблем и предметов. И только воспринятые в совокупности, через сопоставление, через критическое взвешивание каждым, они способны войти в духовный мир людей, стимулировать их самостоятельный жизненный выбор. Ведь культура всегда зиждется на единстве в многообразии.

Но вот тут-то Самиздат и застопорился. Он снова превращается в то, чем, собственно, был всегда — рукописями, которые дают почитать приятелям. Чары рассеиваются. Мало теперь найдется таких, кто будет тратить время и силы, кто рискнет систематически подводить себя под уголовно наказуемую у нас рубрику «распространения» ради произведений локальных и по тематике, и по значению. Самиздат способен еще дать голос солистам, но не умеет составить хор. Отдельные рукописи будут вертеться в замкнутом круге, но не встретятся, не столкнутся в сложном контрапункте. Так, между прочим, получилось с журналом «Вече», который совершенно не доходит до людей, заведомо не сочувствующих его направлению. Лишь благодаря «Вестнику» многие смогли познакомиться с тенденциями этого машинописного издания, известными раньше лишь понаслышке и, прямо скажем, пугающими. А в сознании его редактора получается опасная аберрация, будто он выражает устремления не больше не меньше, как «всего русского народа».

Повторяю, н а м н у ж е н ж у р н а л. Иначе мы задохнемся, впадем в ничтожество.

Делать журнал посредством Самиздата — просто наивно. Если затруднено распространение отдельных рукописей, то станет ли оно доступнее, если собрать рукописи разного качества и характера, переплестя их, наподобие диссертации, в громоздкий том? Журнал «Феникс», за единственный номер которого был замучен его редактор Ю. Галансков, видели почти только его ближайшие приятели. И не сочли нужным издать его за границей. Не журналы даже, а обширные сборники документов, составленные А. Гинзбургом, П. Литвиновым, Н. Горбаневской получили должную известность только благодаря заграничным публикациям. О «легальном» же журнале, после разгона «Нового мира», и фантазировать нечего.

Стало быть, н а м н у ж е н ж у р н а л з а г р а н и ц е й.

Впрочем, здесь я вынужден сказать резко и прямо. Это нельзя, это пагубно, чтобы за границей публиковалось все подряд из Самиздата — будь только позабористее и антиправительственное. Тем самым подрывается авторитет нашего вольного, но не легкомысленного и не безответственного слова. Это безнравственно, чтобы создающиеся здесь произведения использовались в чьей-то чужой игре, и самим характером издания, в сборной со-

лянке разнокачественных материалов наделялись смыслом, им чуждым. Право же смешно, если бы не было горько, когда стихи А. Галича издаются под заголовком «Песни советского подполья», в то время как их автор ни от кого не прячется. Кому это надо, для каких политических выгод — представлять, будто у нас вообще есть какое-то «подполье»? Зачем вытаскивать эти пронафталиненные жупелы? Нет и не было у нас сколь-нибудь серьезного направления, которое помышляло бы об «идеологической диверсии», а тем более — о насильственном свержении режима, как это селятся представить (и, увы, не без успеха) известные эмигрантские круги. Нам нужно решить, как жить, не теряя достоинства, как спасти и приумножить русскую культуру — наше главное достояние, а желание некоторых утолить свою застарелую мстительность, вернувшись сюда на белом коне, не имеет к сегодняшней жизни страны никакого отношения. Используя в своих целях самиздатские произведения, они сумели создать превратную картину духовных стремлений современной русской интеллигенции, очень похожую на ту, которую рисуют известные органы и нанятые ими литераторы. Они у многих отбивают охоту выпускать из рук свои сочинения, чтобы не пережить невзначай долгое похмелье на чужом пиру.

Итак, нам нужен журнал В а ш е г о т и п а — спокойный, культурный, требовательный, чуждый политическим спекуляциям. «Вестник» чутко уловил н а п р а в л е н и е сегодняшних духовных запросов, сумел вызвать дискуссию, не навязывая предвзятого решения, заложив тем самым основы плодотворного сотрудничества интеллектуальных сил метрополии и рассеяния, засвидетельствовав, что такое сотрудничество в о з м о ж н о. Так уж получилось (о способствовавших этому обстоятельствах судить не берусь), что именно «Вестник» подхватил традицию Самиздата, когда потребовалось применение ее к новым условиям.

Но будет ли развит этот успех? — вот вопрос. Сумеет ли «Вестник» в будущем не только воспользоваться известными достижениями нашей литературы, но и стать активным фактором ее развития, стимулирования, собирания?

Мне памятна жалоба А. И. Герцена — редактора «Колокола» — на нашу вечную непривычку к вольному слову. «Мы слишком легко пугаемся свободного слова, мы не привыкли к нему» — писал он в ответ на «родительское поучение», сделанное ему одним читателем за напечатание не понравившегося тому материа-

ла. Ясно, что по условиям последних десятилетий этот недостаток мог только усугубиться. Мы легко поддаемся соблазну видеть в свободно говорящем заведомого единомышленника и потому ждем от него высказывания именно тех мнений, совершения именно тех действий, которые — и наши собственные. Нам мерещится, будто сразу за цензурным лесом обитает истина, для всех одинаково ясная и обязательная. Все не укладываемое в эту постель подлежит отсечению. Но таким путем начатое дело свободы кратчайше возвращается к несвободе иного толка. А за лесами нашими отеческими — многокрасочный мир, на фоне которого очевидна жесткость и зеленая незрелость наших наспех усвоенных суждений.

Вы тоже успели получить несколько сердитых выговоров от любителей свободы только для себя. И это свидетельствует о растущем престиже «Вестника»: стоит какому-нибудь изданию добиться чего-то серьезного, — на него сразу начинаются нападки людей нетерпимых, стремящихся самой свободе навязать свое мнение, в своих целях использовать не ими наработанное. Это, я бы сказал, — нормально. По той же досадной психологической закономерности, наша публика склонна дружно приветствовать любую фигуру в кармане официальной печати, но тотчас распадается на восторженных поклонников и хулителей, как только появляется произведение свободное и оригинальное, несущее в себе не заданный наперед смысл.

Нет, если я и позволю себе сделать некоторые замечания о направлении и характере «Вестника», то только потому, что они, как мне представляется, — за р а з в и т и е, а не перемену его сложившегося характера. Но и за всем тем, — прошу Вас, — примите мои предложения именно как «утопию». Не нам отсюда диктовать предложения практического свойства, ибо очень плохо и понаслышке осведомлены мы и о реальных возможностях, и о существующих у Вас там связях и отношениях, о вытекающих из них обязательствах. Мы можем — и, думаю, имеем право — высказать, что нам нужно, в каком направлении хотелось бы сотрудничать с «Вестником». Должен только добавить, что содержание этого письма обсуждено, — правда, в очень узком кругу. Об остальном — судите сами. Житейская мудрость гласит, что и лучшее оказывается иногда врагом хорошего.

Ведение периодического издания определяется двумя решающими предположениями: круга авторов, которых намереваются привлечь к участию, и круга читателей, для которых жур-

нал интересен. В конечном счете, второе важнее первого, так как живое периодическое издание активизирует читателя, побуждает его к самостоятельному суждению, публикует отклики, то есть переводит читателей, хотя бы частично, в разряд авторов. Последнее особенно важно в нашем случае, поскольку, при затрудненности откровенных личных связей у нас в стране, заранее составить авторский актив невозможно. Он должен складываться по мере развертывания дела.

Итак, кто же наш предполагаемый читатель, какие у него потребности и интересы? И на кого сейчас фактически ориентирован «Вестник»?

«Вестник» — орган Русского Христианского Студенческого Движения, — организации достойной, безусловно много сделавшей, чтобы подготовить нынешнее духовное возрождение, но все же чисто эмигрантской и все-таки очень от нас далекой. Вообразите нынешнего московского интеллигента, вовсе не талмудиста коммунистической веры, а, скажем, потенциального Вашего автора, который впервые берет в руки Ваш журнал. Почувствует ли он его сразу с в о и м? — Едва ли. При чем тут студенчество? — вот первый его вопрос. Ведь скорее всего он вышел из этого счастливого возраста. Да и богословская направленность основного корпуса журнала далеко не всякому у нас здесь близка.

Конечно, дело не в названии или, вернее, не только в нем. Дело в том, что «Вестник» все еще продолжает ориентироваться на читателя-эмигранта. Когда-то он представлял собою тоненькую тетрадочку, информировавшую участников Движения о том, что для них было безусловно важно. Эмигрантский читатель — да и то, видимо, лишь определенной ориентации — был тогда единственным. Теперь, благодаря обстоятельствам времени и Вашему умению ответить на его запросы, «Вестник» превратился в толстый журнал, знакомство с которым необходимо каждому, кто интересуется нынешним состоянием русской культуры — будь то житель страны, эмигрант или иностранец. Здесь у нас ждут каждый номер, передают по рукам на ночь, на сутки, зачитывают, что называется, «до дыр». И вот возникает осязаемое противоречие между характером «Вестника», сложившимся в его особой истории, и современным уже завоеванным значением его.

Успех Вашего журнала, как я уже отчасти и отметил, обусловлен начавшимся сближением русской эмигрантской и здешней мысли. Но нам нужно не только сближение, но и единство.

Русская культура должна (и, кажется, имеет реальную возможность) перешагнуть через «замкнутые на замок» государственные границы, чтобы образовать целое. Но это предполагает и динамизм мысли, и взаимную готовность расстаться с накопившимися за половину столетия односторонностями и пристрастиями.

Как бы ни скверна, как бы ни мучительна была наша здешняя жизнь, она все же меняется, рождая и новые проблемы, и новые подходы к ним. Не то что десятилетия, — годы у нас не похожи один на другой. Тогда как эмиграция, поневоле живущая воспоминаниями, сберегла и донесла до нас великую традицию русской культуры, у нас здесь оскопленную и искаженную. Встреча эмиграции с выросшей здесь новой интеллигенцией в чем-то походит на встречу истории с современностью. С одной стороны все уже приняло завершённые, классически отточенные формы, с другой же — все в неопределённости, в брожении, в смятении, в криках страдания, в неотчетливости жарких откликов на сиюминутное.

Поэтому было бы пагубно не прислушаться к голосу наших естественных учителей, как, впрочем, и на затверживании их заветов. Как раз последние номера «Вестника» показывают, что границы между догматическим старовериём и готовностью к творческому движению отнюдь не совпадают с государственными. Но только терпеливая и открытая сердцем работа, которая развернется во времени, сможет справиться с немалыми трудностями превращения эмигрантского журнала в общерусский.

В этой связи должен остановиться еще на одном пункте, который представляется мне особенно важным, — на нашем отношении к современной западной культуре и, стало быть, — к западному читателю. Для эмигрантов, которые нашли в себе силы жить на чужбине интересами родины, естественно интересоваться в русском журнале прежде всего тем, что происходит здесь. Но для нас, здешних, столь же важно обратное. Мы задыхаемся в навязанной нам провинциальной замкнутости. Нам трудно и представить себе собственные проблемы в контексте мировых. А между тем пробуждение свободомыслия в минувшие 60-е годы прямо опиралось на надежду поддержки со стороны Запада. Были тут и ничем, кроме неведения, не оправданные иллюзии, которые теперь оборачиваются столь же слепым разочарованием. Но так или иначе, издающийся за границей большой русский общественно-культурный журнал призван стать посредником и

в этом отношении. Нам обязательно нужно заговорить на понятном Западу языке, открывая тем самым и Запад нам. Хорошо бы привлечь культурные силы Запада не только для чтения, но и для творческого сотрудничества. Я уж не говорю здесь о наших братьях по несчастью, об интеллигенции стран Восточной Европы, перед которыми мы — в неоплатном долгу.

Насколько можно судить отсюда, западный читатель, даже знающий русский язык, даже специалисты-руссологи мало знакомы с «Вестником», а чаще всего и не слышали о его существовании. Это жаль и, пожалуй, больше всего прочего говорит об известной узости, которая сохраняется по инерции. Если западный читатель недостаточно заинтересовался изданием, которое публикует материалы, освещающие историю русской мысли и поэзии, в котором появляются — и довольно-таки систематически — лучшие произведения Самиздата, то, наверное, это можно объяснить только известной односторонностью журнала в целом.

Нам хотелось бы видеть общерусский журнал за границей выходящим в конечном итоге, по крайней мере, на двух языках — со всеми вытекающими отсюда выводами в постановке дела. Это, как мне представляется, будучи верно по существу, могло бы расширить и материальную базу издания, участить периодичность, увеличить тираж, поскольку иностранные подписчики — единственные, помимо эмигрантов, на кого можно рассчитывать. Ведь внутренний читатель тут помочь не может.

П л ю р а л и з м — вот главный принцип, которому должен бы следовать максимально соответствующий современным нуждам русский журнал. Он стремился бы вместить в себя все, в чем есть живая творческая мысль, проникновенное чувство, отзывающееся на вопросы современной жизни. Живость и общезначимость интереса, но не его предмет и не угол зрения — вот что важно. И памяты должны быть нам слова Г. П. Федотова: «...мы не связываем приходящих к нам никакой исповедной формулой, довольствуясь наличностью известного духовного единства. Мы спрашиваем не о том, во что человек верует, а какого он духа».

Поскольку сверхзадача журнала — спасти от подавления нашу культуру, он в известной мере должен поступать «от противного». Он должен заполнять лакуны, которые образуются в нашей культуре из-за грубых махинаций, над нею систематически проделываемых. Он противостоял бы разрушительным процес-

сам, убедив нашу творческую интеллигенцию, что не следует отказываться от исследования представляющихся важными вопросов и высказывания откровенных мнений, что нет нужды «наступать на горло собственной песне», подлаживаясь под произвольные требования «социального заказа», что есть место, достаточно авторитетное и уважаемое, куда можно прийти, где выстраданное может быть опубликовано, где глубина — главный, если не единственный, критерий принятия к печати.

Журнал взял бы на себя истинно религиозную задачу **с в я з ы в а т ь** людей в высшем духовном единстве, в любви и заинтересованном сочувствии друг к другу. Ведь сейчас даже наше раскрепощенное слово трагически монологично. Каждый торопится выговорить то, что накопилось у него в душе, мало прислушиваясь к ближнему. Эта одинокость звучания чувствуется, если прислушаться, и в Ваших публикациях. Много можно при этом списать за счет все тех же идеологических шор, препятствующих свободному обмену идеями. Но есть тут и более глубокий недостаток: и будучи предоставлены сами себе, мы не очень умеем прислушиваться к голосу друг друга. И вот, как при начале игры в бильярд, мы сразу рассыпаемся и отскакиваем один от другого, если раскалывается механически сплоченное идеологическое тело. Потом, поодиночке, раньше или позже, мы все падаем в лузу.

Искусно, тактично ведомый журнал сумел бы наладить диалог между нами. Печатное слово позволяет и высказаться со всей возможной основательностью аргументации, и посчитаться с другими точками зрения, высказанными рядом. Журнал способствовал бы налаживанию спокойной, многосторонней культурной жизни.

Наш идеальный журнал не ограничивал бы себя какой бы то ни было **п о л и т и ч е с к о й** доктриной. Это не значит, конечно, что нужно опасливо обходить острые углы там, где их, наоборот, требуется обнажить. Но не нужно монотонного долбления в одну точку, не нужно и в подтексте прятать маниакальное: «Карфаген должен быть разрушен». Политический нигилизм пагубен во всех отношениях. Нам нужно высвободиться из-под навязываемой режимом тенденции рассматривать любые проблемы духовного бытия, мировоззрения, науки и искусства с точки зрения его прочности и стабильности. У русской культуры есть и более важные заботы. Отвечая ее запросам, журнал по воз-

можности, насколько это от него зависит, должен бы обезопасить себя от обвинения в «антисоветизме». Пусть пытаются перевести на политическую почву наши дискуссии те, у кого неостанет иных аргументов. Наша совесть должна быть в этом отношении чиста. Это само по себе расширило бы круг участников журнала, которые часто опасаются выступить не только под страхом рассчитанных на расширительное толкование политических статей действующего Уголовного кодекса, но и из вполне понятной брезгливости к политике, принимающей у нас сплошь и рядом низменный характер.

Многое из сказанного «Вестником» уже достигнуто. Но остаются и препятствия. В особенности придется здесь остановиться на трудном для меня вопросе о православном направлении журнала. Он меня тревожит в связи с тем плюрализмом, который так сейчас желателен.

Не по своей вине большинство новой русской интеллигенции, выучеников советской школы, лишено благодати веры. Правда, наиболее эмансипировавшаяся часть нашей интеллигенции — отнюдь не просто атеистическая. Многие находятся на различных стадиях деизма или пантеизма, а есть и усвоившие другие, не православные вероисповедания — от католичества до дзен-буддизма. Но здесь недопустимо проявление религиозной исключительности хотя бы потому, что у нашей интеллигенции — наиболее либеральной, но и крайне невежественной в религиозных вопросах, — есть, надо признать, основания быть предубежденной против православия. Если даже он больше ничего не знает, такой интеллигент все-таки осведомлен о конформизме Московской Церкви по отношению к режиму. Кроме того, ему наверняка известно, что православие вновь, как встарь, пытаются использовать для религиозного оправдания русского шовинизма, а шовинизм ему отвратителен и опять-таки напоминает о тайных, но хорошо известных ему поползновениях официальной идеологии.

Так уже получилось, что среди нынешних приверженцев православия отнюдь не все занимают социально и нравственно наиболее безукоризненную позицию. Есть ведь и такие, которые ради «блага Церкви» и доносом не брезгают. Так получилось, что иногда среди не-христиан в наших условиях можно найти более духовно близких к христианству людей, чем среди крещеных. Очевидно, не отваживать их с порога, не ставить их в положение чужих, когда они берут в руки «Вестник», а прислу-

шиваться, привлекать их к себе — задача «Вестника» именно как христианского издания. Ведь очень верно написал в Вашем журнале о. А. Шмеман, что Церковь должна заботиться не только о верующих, но и о неверующих.

Не поймите меня так, что я против христианской направленности «Вестника». Мне представляется, что только христиане, преодолевающие гордыню и верою обязанные любовью к ближнему, способны сейчас терпеливо объединять разрозненные, разбросанные духовные силы нации. И только охватывая всю полноту жизненной проблематики, не отгораживаясь ни от чего, что волнует современного человека, Православная Церковь может вернуть себе потерянный авторитет и доверие интеллигенции.

Беда, по-моему, не в том, что «Вестник» — православный журнал, а в том, что он — наполовину богословский. Ясно, что это не обязательно, ибо поневоле суживает тематику. Напомню хотя бы «Русскую мысль», которую издавал П. Б. Струве до и во время революции, — не эмигрантскую. Вот, пожалуй, — образец для моей «утопии»! Какая разносторонность, какая широта, какое богатство авторских индивидуальностей! Были там и богословские работы, и исследования по религиозной философии огромной духовной насыщенности, но и проза, и стихи, и политические обзоры, и экономические анализы, и критика, — литературная, художественная, театральная, — и публицистика.

Я даже думаю, что религиозное содержание журнала нужно расширять, имея в виду, в частности, интересы и уровень знаний неверующих читателей. Но при этом хотелось бы избежать вытеснения религиозной тематикой любой другой. Хотелось бы, чтобы и явно нехристианские работы, но в каком-то аспекте значительные, нашли бы место в «Вестнике».

Конечно, Вы спросите: где же силы, где эти работы? — Но, во-первых, что невозможно было для одной эмиграции, то уж хоть теоретически мыслимо при сотрудничестве эмиграции с авторами, накопившими определенный запас, но не находящими реализации его здесь. Во-вторых, сам журнал, удайся его реформа, стал бы притягательной силой для литературных возможностей.

Извините за прямоту, но только предвзятой узостью тематического диапазона теперешнего «Вестника» могу объяснить, почему не нашлось у Вас места, например, для документов А. Д. Сахарова, которые было бы важно обсудить на должном уровне, как бы к ним ни относиться, почему не отразилось в Вашем жур-

нале правовое направление, представленное издававшимся В. Чалидзе самиздатским журналом «Общественные проблемы». Почему для материалов этого журнала у Вас не нашлось места, а для «Веча» (что, разумеется, правильно) нашлось? Не потому ли, что последний заявляет себя православным? В своем роде проблематика права не менее важна для выработки нашего общественного самосознания, чем, скажем, письмо А. И. Солженицына Патриарху, дискуссия вокруг которого оказалась в «Вестнике» столь плодотворна. Ведь нашлось же место в «Вехах», книге напряженно религиозной, для правовой статьи Б. А. Кистяковского!

Вы прорубили окно в Россию. Опираясь не только на эмигрантского, но и на здешнего читателя, и не только на него, но и на западную интеллигенцию, расширяя и углубляя свой материал, «Вестник» мог бы, не теряя объема, выходить чаще, стать более оперативным.

Или все это — и не утопия даже, а маниловщина?

Тогда не обессудьте за откровенность, ибо все равно я останусь Вашим

Читателем

Москва, лето 1973 г.

ХУ.

Прот. Александр ШМЕМАН

## ТАИНСТВО ЦАРСТВА

*“И я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею, в Царстве Моем”.*

(Лк. 22, 29-30).

### I.

В древности первым актом Литургии после собрания верующих был вход предстоятеля. «Когда предстоятель собрания входит, — пишет св. Иоанн Златоуст, — он говорит: «Мир всем»...» Именно входом и с входа начиналось священнодействие, о чем, как я уже говорил выше, до сих пор свидетельствует наш чин архиерейской встречи. В дальнейшем, в силу многих и сложных причин, этот начальный вход оброс, в свою очередь, другим «началом», так что теперь то, что мы называем «малым входом», уже больше не воспринимается как именно первое, начальное священнодействие Литургии. Напоминать о первоначальной практике необходимо, между тем, не из-за простого «археологического» педантизма, а потому, что для понимания Евхаристии идея входа имеет действительно решающее значение. Все наше исследование призвано, в конечном итоге, показать, что смысл Евхаристии и состоит во вхождении Церкви в Царство Божие, что вся она есть, таким образом, в х о д и что возношение — *ἀναφορά* — относится не только к Св. Дарам («Святое возношение в мире принести»...), но и к самой Церкви, к самому собранию. Ибо Евхаристия есть таинство Царства и таинство Церкви как вхождения в Царство. Ее священнодействие начинается поэтому с обряда входа.

Здесь, однако, нам нужно прервать наше изложение и попытаться уточнить слово с и м в о л, привычно употребляемое при объяснении богослужения, но точный смысл которого остается расплывчатым, и потому слишком часто и сбивчивым. С не-

Глава из книги о Литургии. Начало см. в Вестнике, № 107.

которых пор общепринятым стало говорить о «символизме» православного богослужения, да и вне зависимости от этого вряд ли можно сомневаться в том, что оно действительно «символично». Но что это значит? Самый распространенный ответ на этот вопрос состоит в отождествлении «символа» с «изображением». Когда говорят: малый вход на Литургии «символизирует» выход Спасителя на проповедь, при этом разумеют, что обряд входа и з о б р а ж а е т определенное событие прошлого, и такой «изобразительный символизм» распространяют на все богослужение, как в целом, так и в отдельных его обрядах. Поскольку же такое толкование «символизма», пышный расцвет которого начался еще в византийскую эпоху, несомненно укоренен в самых благочестивых чувствах, мало кому приходит в голову, что оно не только не соответствует основному и изначальному замыслу христианского богослужения, но и извращает его, являясь одной из причин его современного упадка. Дело в том, что «символ» здесь означает нечто не только отличное от реальности, но, по существу, противоположное ей. Так, например, специфически западное, католическое ударение на р е а л ь н о м присутствии Христа в евхаристических дарах родилось из испуга перед низведением этого присутствия в категорию символического. Но для этого нужно было сначала, чтобы слово «символ» перестало означать нечто реальное и превратилось бы на деле в антитезу реальности. Иными словами, там, где мы имеем дело с «реальностью», не нужен символ, и наоборот, там, где есть символ, нет реальности. Это и привело к пониманию литургического символа, как «изображения», но как раз в ту меру и нужного, в какую изображаемое не «реально». Тогда, почти две тысячи лет тому назад, Спаситель вышел на проповедь р е а л ь н о, теперь же мы изображаем этот выход с и м в о л и ч е с к и — для того, чтобы напомнить себе смысл этого события, значение его для нас и т. д. Все это, повторяю, благочестивые и по-своему законные намерения. Но, не говоря уже о том, что на деле такого рода «символизм» оказывается очень часто произвольным, искусственным (так в х о д на Литургии превращается в «символ» в ы х о д а) он фактически низводит девяносто процентов наших обрядов до уровня дидактических инсценировок, вроде «хождения на ослати» и «пещного действия», а это значит, лишает их внутренней «необходимости», отнесенности их к р е а л ь н о с т и богослужения. Они оказываются «символической» оправой, украшением для двух или трех актов или «моментов», составляющих т. с.

реальность Литургии, «необходимую», а потому и «достаточную». Что это именно так, доказывается, с одной стороны, нашим школьным богословием, которое давно уже удалило из поля своего внимания и интереса фактически весь чин Евхаристии и всю ее свело к одному акту, к одному моменту, к одной «тайносовершительной формуле»; а с другой стороны, как это ни странно, и самим благочестием. Не случайно, конечно, все возрастает в Церкви число людей, которым все это нагромождение символических изображений и истолкований мешае т молиться, отвлекая их от той духовной реальности, непосредственное соприкосновение с которой и составляет сущность молитвы. Не нужный богослову, «изобразительный символизм» оказывается ненужным и серьезному верующему.

Но потому и так важно подчеркнуть, что этот «изобразительный символизм», превратившийся постепенно в почти единственный ключ к истолкованию богослужения, возник в результате распада и разложения изначального понимания символа. Распад этот имел неисчислимы — и еще по-настоящему не осознанные — последствия для христианства в целом. Но ограничиваясь здесь тем, что непосредственно относится к нашей теме, скажем только, что этот первичный смысл символа совсем не равнозначен с «изображением». В том то и все дело, что символ может и не «изображать», т. е. быть лишенным внешнего сходства с тем, что он символизирует. История религии показывает, что чем древнее, глубже, «органичнее» символ, тем меньше в нем такой только внешней «изобразительности». И это так потому, что назначение и функция символа не в том, чтобы изображать — что предполагает отсутствие изображаемого — а в том, чтобы являть и приобщать к явленному. Про него можно сказать, что он не столько «похож» на символизируемую реальность, сколько причастен ей, и потому может «реально» приобщать к ней. Иными словами, разница — радикальная — между теперешним и первичным пониманием символа состоит в том, что теперь символ есть изображение или знак чего-то другого, чего при этом в самом знаке реально нет (как нет реального индейца в актере, изображающем его, или реальной воды в химическом ее символе), тогда как в первичном понимании символа он есть явление и присутствие «другого», но именно как «другого», т. е. как реальности, которая в данных условиях и не может иначе быть явленной и присутствовать, как в символе. Но это означает, в конце концов, что подлинный и первичный символ неотрываем

от веры. Ибо вера и есть «обличение вещей невидимых», т. е. знание, что есть эта другая реальность, отличная от реальности эмпирической, но в которую можно войти, которой можно приобщиться, которая может действительно стать «реальнейшей реальностью». Потому, если символ предполагает веру, то и вера необходимо требует символа. Ибо в отличие от «убеждений», «философских взглядов» и т. д., вера есть непременно общение и жажда общения, есть воплощение и жажда воплощения, явления, присутствия и действия одной реальности в другой. А все это и есть символ — (от греч. συμβάλλω : соединяю, держу вместе). В нем, в отличие от простого изображения, простого знака и даже таинства в его схоласти-рационалистической «редукции», две реальности — эмпирическая или «видимая», и духовная или «невидимая», соединены не логически (это «означает» это), не аналогически (это «изображает» это) и не причинно-следственно (это есть «условие» или «генератор» этого), а, да простится мне этот неологизм — эпифанически. Одна реальность являет (от ἐπιφάνω — являю) и сообщает другую, но — и это бесконечно важно — только в ту меру, в той степени, в которых сам символ «причастен» духовной реальности и способен или призван воплотить ее. Иными словами, в символе все являет духовную реальность, и в нем все необходимо для ее явления, но не вся духовная реальность является и воплощается в символе. Символ всегда частичен, он всегда отчасти: «ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем» (I Кор. 13,9), потому что он, по самой природе, соединяет реальности несоизмеримые, из которых одна всегда остается по отношению к другой — «абсолютно другой»... Сколько ни был бы реален символ, сколь ни приобщал бы он нас другой реальности, функция его не в том, чтобы «утолить» нашу жажду, а в том, чтобы усилить ее: «подавай нам истее приобщатися Тебе в невечернем дни Царствия Твоего...». Не в том, чтобы сделать ту или иную часть «мира сего» — его пространства, времени или материи — «священной», а в том, чтобы все в нем увидеть и познать как чаяние и жажду совершенного одухотворения: «да будет Бог все во всем» (I Кор. 15,28).

Нужно ли доказывать, что только этот первичный, онтологический и «эпифанический» смысл слова «символ» применим к христианскому богослужению. Что возражения наши относятся не к его несомненному «символизму», а к такому пониманию и восприятию символа, в котором он оказывается синонимом чего-то «не-

реального», «ненастоящего», к истолкованию «символизма» как противоположности «реализма». И что отбрасываем мы торжествующий ныне в истолкованиях литургии «изобразительный символизм» не потому только, что его не знала ранняя Церковь (это само по себе еще не доказывало бы его ложности) и не потому, что предпочитаем другой «ключ» (более подходящий, скажем, к современной психологии), а потому, что «нормализуя» почти весь чин Евхаристии, превращая его в ряд священных инсценировок и аллегорий, он как раз и разрушает, по существу, ее подлинный символизм. Немного ниже мы постараемся показать какие причины привели к замене подлинного символизма «изобразительным». Сейчас мы должны поставить основной вопрос: **ч е г о ж е** символом является Евхаристия, какой «символизм» объединяет в одно целое весь ее чин и обряды или, иначе, какая духовная **р е а л ь н о с т ь** явлена и сообщается нам в этом «таинстве всех таинств»? А это возвращает нас к тому, с чего мы начали эту главу и с чего начинается и сама Евхаристия: к теме входа и к теме Царства.

## II.

Литургия начинается с торжественного возгласа предстоятеля:

«Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа и ныне, и присно, и во веки веков», С возвещения Царства, с благовестия о том, что оно приблизилось, началась и проповедь Спасителя: «пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марк. I, 14-15). И с чаяния Царства, с моления о нем начинается первая и главная христианская молитва: «Да приидет Царствие Твое».

Царство Божие есть содержание христианской веры, цель, смысл и содержание христианской жизни. Царство Божие — по согласному учению Писания и Предания — есть знание Бога, любовь к Нему, единство с Ним и жизнь в Нем. Царство Божие есть единство с Богом как с источником всякой Жизни, как с Самой Жизнью. Царство Божие есть содержание вечной Жизни: «сия же есть Жизнь вечная, да знают Тебя...» (Ин. 17,3). Для этой подлинной и вечной Жизни в полноте любви, единства и знания — был сотворен человек: «н Нем была Жизнь и Жизнь была свет человеков» (Ин. I,4). От нее он отпал в грехопадении и через грех человека в мире воцарились зло, страдание и смерть, воца-

рился «князь мира сего». Мир отверг своего Бога и Царя. Но Бог не отвернулся от мира и «не отступил... вся творя дондеже нас на небо возвел и даровал нам Царство Свое». Этого Царства ждали, о нем молились, его предвозвещали ветхозаветные пророки, к нему, как к своей цели и исполнению, направлена была священная история Ветхого Завета, священная не человеческой святостью — ибо вся она полна падений, измен и грехов, а тем, что через нее приуготовлял Бог явление Своего Царства. И вот «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». (Мк. I, 15). Единородный Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы возвестить и даровать людям прощение грехов, примирение с Богом и новую Жизнь, Своею крестною смертью и воскресением из мертвых **О н в о ц а р и л с я**: «Бог посадил Его одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени... и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего» (Еф. I, 20-22). «Итак твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли» (Деян. 2,36). Христос воцарился, и всякий, верующий в Него и возрожденный водою и Духом, принадлежит Его Царству и имеет его в себе. «Христос есть Господь» — таково древнейшее исповедание христианами своей веры, и в течение трех веков мир — в лице Римской Империи — гнал их за отказ кого бы то ни было на земле признать Господом, кроме единого Господа и единого Царя. Царство Христово принимается верой и скрыто «внутри нас». Сам Царь пришел в образе раба и воцарился позором Креста. Нет внешних признаков этого Царства на земле. Оно есть Царство «будущего века», потому что только в славе второго пришествия узнают все истинного Царя мира. Но для тех, кто уверовал и принял его, оно уже теперь, в этом веке, несомненное всех доказательств и явственнее всех очевидностей. «Господь пришел, Господь приходит, Господь придет» — в этом триедином значении древнего арамейского возгласа «Маранафа» заключена вся победная вера христиан, против которой бессильными оказались все гонения.

Все это звучит с первого взгляда, как некая благочестивая пропись. Но прочтите написанное выше еще раз и сравните это с верой и «переживанием» христианства у подавляющего большинства христиан, и вы убедитесь в том, что между сказанным тут и этим «переживанием» существует настоящая пропасть. Можно без всякого преувеличения сказать, что Царство Божие — ключевое понятие евангельского благовестия — перестало быть цен-

тральным содержанием и внутренним двигателем христианской веры. Прежде всего, в отличие от ранней Церкви, христиане последующих времен стали постепенно все меньше и меньше воспринимать Царство Божие как «приблизившееся». Под Царством они стали понимать только б у д у щ е е Царство, то, которое начинается или придет после конца либо всего мира, либо земной жизни отдельного человека. «Мир сей» и «Царство», сопряженные в Евангелии в некоем напряженном сосуществовании и борьбе, стали мыслиться как бы в хронологической последовательности: с е й ч а с только мир, п о т о м только Царство, тогда как для первых христиан всеобъемлющей радостью и действительно потрясающей новизной их веры было как раз то, что это Царство приблизилось, я в и л о с ь, и хотя и незримое, и неведомое «миру сему», уже пребывает, уже светится, уже действует в нем... Затем, отодвинув приблизившееся Царство на конец мира, в таинственную и непостижимую даль времени, христиане постепенно перестали ощущать его и как ч а е м о е, т. е. как желанное и радостное исполнение всех надежд, всех желаний, самой жизни, всего того, что ранняя Церковь вкладывала в слова: «Да придет Царствие Твое». Характерно, что в наших ученых и многотомных курсах догматического богословия, не могущих, конечно, обойти молчанием изначальное учение Церкви, о Царстве говорится предельно скупо, вяло и скучно, весь же центр тяжести в эсхатологии, т. е. в учении о «конечных судьбах мира и человека», перенесен на учение о «Боге как Судии и Мздовоздавателе». Что же касается благочестия, т. е. личного опыта отдельных верующих, то и тут тоже эсхатология сузилась до предельного индивидуализма, до интереса только к своей личной «посмертной» судьбе. В то же самое время «мир сей», о котором ап. Павел писал, что «проходит образ его», и который для первых христиан был прозрачным для Царства, снова приобрел свою «устойчивость», свои, независимые от Царства Божия — ценность и существование...

Это постепенное сужение, ущемление и, наконец, почти перерождение христианской эсхатологии, ее своеобразный отрыв от темы и опыта Царства, имели огромное значение в развитии литургического сознания Церкви. Возвращаясь к тому, что было сказано выше о символизме христианского богослужения, можно утверждать, что богослужение Церкви родилось как, прежде всего, с и м в о л Ц а р с т в а и с и м в о л Ц е р к в и как в х о ж д е н и я в Ц а р с т в о, как пути к нему. Именно

потому, что Церковь в «мире сем» есть дар, явление, присутствие и предвосхищение Царства, ожидание и чаяние его, пронизанные явлением, явление, питающее ожидание — вся новизна, вся действительная «уникальность» христианского культа была в этой его эсхатологической природе, как присутствие будущего, как явление грядущего, как причастие «Царству будущего века». Мне незачем повторять здесь то, о чем я достаточно подробно говорил в моем «Введении в Литургическое Богословие». Достаточно просто напомнить, что именно из этого эсхатологического опыта родился «день Господень» как с и м в о л, т. е. явление во времени «мира сего» — Царства, что опыт этот определил христианскую рецепцию Пасхи и Пятидесятницы — основы «церковного года» — как праздников, прежде всего, «перехода» из настоящего «эона» в эон будущего века, как, опять-таки, с и м в о л Ц а р с т в а Х р и с т о в а. Но, конечно, символом Царства п о п р е и м у щ е с т в у, символом, т. ск., «исполняющим» все остальные символы — дня Господня и Пасхи, и Крещения, и, наконец, всей христианской жизни как жизни, «скрытой со Христом в Боге», (Кол. 3,3) была Евхаристия, таинство пришествия воскресшего Господа, таинство встречи и общения с Ним «за Его трапезой, в Его Царствии». Тайно и невидимо для мира «дверем затворенным» собиралась Церковь, «малое стадо», которому «Отец благоволил дать Царство (Лк. 12,32), и в отделении от мира, действительно в н е его, совершалось вхождение и восхождение ее в свет и радость, и торжество Царства. И можно без всякого преувеличения сказать, что из этого опыта, абсолютно единственного и ни с чем не сравнимого, из этого до конца исполненного, до конца воплощенного символа — родилось и развилось все христианское богослужение. Я прибавил бы здесь — и все христианское богословие и вся христианская жизнь, но об этом я буду говорить позже. Сейчас скажу только так: Евхаристия ничего не «изображала», но все я в л я л а и всему п р и о б щ а л а ...

Но теперь понятным становится и то, почему — когда началось указанное выше ослабление и затмение первоначальной эсхатологии, символизм Царства в богослужении стал постепенно как бы зарастать «дикой травой» вторичных объяснений и аллегорических истолкований, т. е. тем изобразительным символизмом, который, как я старался показать выше, является на деле распадом символа, ниспадением его, по терминологии проф. В. В. Вейдле, в категорию простого «знака». Чем дальше шло время, тем

этот основной символизм Царства все больше забывался. Поскольку же богослужение, весь «закон молитвы» Церкви, весь ч и н его, во-первых, уже б ы л, уже существовал как д а н н о е, а во-вторых, и, именно в силу своей «данности», воспринимался как самоочевидное и неприкосновенное предание Церкви, он естественно требовал нового объяснения в том «ключе», в котором начинало постепенно воспринимать христианское сознание роль и функцию Церкви в «мире сем». Это и было началом все большего проникновения «изобразительного символизма» в объяснение богослужения, вплоть до его почти безраздельного торжества в сравнительно недавнюю эпоху.

Надо со всей силой оговорить, однако, что указанный здесь процесс был именно процессом, долгим и сложным, а не какой-то мгновенной «метаморфозой», и что «изобразительному символизму», несмотря на его внешнее торжество, никогда не удалось до конца заменить собой изначальный, в самой вере укорененный, символизм литургического предания. Прежде всего, тот христианский мир, что родился из побед Христианства над Римской Империей, в ту меру и был подлинно, а не номинально, христианским, в какую он сам себя «относил» к Царству Божию, воспринимая как преддверие Царства и как земное вместилище Церкви. А в том, что вся средневековая теократия, т. е. восприятие государства, общества и культуры — окрашены были, как в Византии, так и на Западе, в такие эсхатологические тона, вряд ли можно сомневаться. Поэтому сколь бы ни развивалось, например, византийское богослужение в сторону того, что в моем «Введении» я назвал «внешней торжественностью», сколь ни обрастало оно декоративными и аллегорическими деталями, помпой имперского культа и терминологией мистериальной «священности» — богослужение в целом и первичная его интуиция в сознании верующих продолжали определяться символизмом Царства. И об этом лучше всего свидетельствует православное восприятие храма и неотрываемой от него иконописи, какими они сложились как раз в византийскую эпоху и которые, возможно, глубже выражают «святое святых» византийского опыта, чем никогда по-настоящему не преодолевшая поздне-античной риторики византийская письменность.

### III.

«В храме стояще на небеси стояти мним». Выше я говорил о возникновении христианского храма из идеи и опыта «собрания в Церковь». Теперь можно прибавить и то, что столь же не-

сомненно собрание это мыслится небесным, а храм — тем «небом на земле», которое собрание осуществляет, тем символом, который две эти реальности, два эти измерения Церкви — «небо» и «землю» — соединяют, одну являя в другой, одну претворяя в другую... И это ощущение храма, повторяю, проходит почти не меняясь и не ослабевая через всю историю Церкви, несмотря на все упадки и перебои в подлинной традиции церковной архитектуры и иконописи. Именно оно является тем «целым», которое объединяет и соподчиняет друг другу все элементы: пространство и форму храма, расположение икон и их соотношение между собою, все то, что можно назвать ритмом и строем храма. Таким же символом Царства, т. е. «эпифанией», преображенной и прославленной твари, является, конечно, в своем первоначальном замысле и воплощении икона, и как раз потому церковное учение запрещает превращение иконописи в «изобразительный символизм» и в аллеорию. Ибо икона не изображает, а я в л я е т, и опять-таки, являет в ту меру, в какую она п р и ч а с т н а являемому, есть сама присутствие и причастие... Достаточно один раз постоять в «храме всех храмов» — в константинопольской Св. Софии, даже в ее теперешнем опустошенном и кенотическом состоянии, чтобы всем существом у з н а т ь, что родились и выросли и храм, и икона из живого о п ы т а н е б а, из причастия «радости и миру в Духе Св.», как определил Царство Божие ап. Павел. Этот опыт, конечно, часто затемнялся. Историки христианского искусства говорят об упадке церковной архитектуры и иконы. И характерно, что упадок этот обычно состоит как раз в ослаблении и ущербе целого под влиянием разрастающихся деталей. Так отяжелевает храм, зарастающий постепенно самодовлеющими «украшениями», так — и в византийской, и в русской иконе, первоначальная целостность заменяется все возрастающим вниманием к искусно выписанным подробностям. Это все то же движение — от целого к частностям, от целостного опыта к дискурсивному «объяснению», от символа к «символизму»?.. И все же пока стоит этот «христианский мир» и плохо ли, хорошо ли, с падениями и изменениями, но «относит» себя к Царству Божьему как к своей цели и высшей ценности, пока — пускай только на самой своей глубине, в последних своих «прорывах» — живет он все же печалью по Боге и вздохом по «вождевленному отечеству» — этому центробежному движению не удастся пере-силить центростремительного. Можно сказать, что в течение долгого времени — «изобразительный символизм», будь то богослу-

жения, будь то храма, будь то иконы — развивается в н у т р и символизма онтологического, т. е., прежде всего, символизма Царства. Гораздо более глубокий, подлинно трагический разрыв между ними, почти замена одного другим, начинается с обрыва отеческой традиции и с длительного, и все еще длящегося, «западного пленения» православного богословия и церковного сознания... Не случайно, конечно, пышный и безудержный расцвет «изобразительного символизма» в объяснении богослужения соответствуют во времени торжеству — в богословии: западного юрицизма и рационализма, в иконописи: благочестивой и сентиментальной картины, в церковной архитектуре: разукрашенного и «красивого» барокко, в церковном пении — лирической чувственности. Все это явления одного и того же порядка, одного и того же упадка, одной и той же «псевдоморфозы» церковного сознания...

Но даже и этот, действительно глубокий и трагический упадок нельзя считать окончательным. На последней своей глубине церковное сознание остается им, в конце концов, незатронутым. Так ежедневный опыт убеждает нас в том, что «изобразительный символизм» остается чуждым всюду, где есть живая и подлинная вера и церковность, как чуждым в конце концов остается этой вере и «школьное» богословие. «Изобразительный символизм» остается уделом поверхностной, парадной, рутинной церковности, в которой широко распространенное, но неглубокое любопытство ко всякого рода «священности» легко принимается за религиозное чувство и за «интерес к Церкви». Но живой, подлинной и — в лучшем смысле этого слова — п р о с т о й вере все это попросту н е н у ж н о, ибо живет она не любопытством, а жаждой. Как тысячу лет тому назад, так и сейчас, «простой» верующий идет в храм для того, прежде всего, чтобы действительно «прикоснуться к мирам иным». В каком-то смысле он не «интересуется» богослужением, как интересуются им присяжные «любители» и знатоки всех его подробностей. И он не интересуется им, потому что он получает то, чего он жаждет и ищет: света, радости и утешения Царства Божьего, того сияния, которое, по слову Чехова, испускают «старика, только что вернувшиеся из церкви». Что ему до сложных, изысканных и красивых объяснений, что вот этот обряд «изображает» то-то, а это закрытие или открытие врат обозначает то-то. Ему не угнаться за всеми этими смыслами, а его вере они не нужны. Он твердо знает, что он на время ушел из своей обыденной жизни и пришел туда, где все

и н о е, но такое нужное, желанное, насущное, что им потом сияет и осмысливается вся жизнь. Он знает также, хотя м. б. и не сумеет этого выразить словами, что это и н о е и есть то, ради чего стоит жить, к чему все идет, к чему все отнесено, чем все судится — т. е. Царство Божие. И он знает, наконец, что если даже непонятны ему отдельные слова или обряды, Царство Божие даруется ему в «Церкви», в этом общем «деле», в этом общем предстоянии Богу, в «собрании», в любви, в единстве...

Так возвращаемся мы к тому, с чего мы начали, с чего начинается сама Евхаристия: к благословению Царства Божьего как своего содержания и своего всеобъемлющего смысла. Что значит б л а г о с л о в и т ь Царство? Это значит признать и исповедать его как высшую и последнюю ценность, как объект желания, любви и чаяния. Это значит провозгласить его как цель того «таинства» — странствия, восхождения, входа, который теперь начинается. Это значит устремить свое внимание, ум, сердце, душу и всю жизнь к тому, что действительно есть «единое на потребу». Это значит, наконец, утвердить, что уже сейчас, еще в «мире сем», возможно приобщиться ему, войти в его сияние, истину и радость. Каждый раз, когда христиане «собираются в Церковь», они свидетельствуют перед всем миром, что Христос есть Царь и Господь, что уже открылось и даровано людям Его Царство, что началась уже новая и бессмертная Жизнь. Вот почему начинается Литургия этим торжественным исповеданием и славословием Своего Царя, который приходит ныне, но пребывает всегда и царствовать будет во веки веков.

А м и н ь отвечает предстоятелю собрание. Это слово переводят обычно: «да будет так», но смысл его сильнее. Оно означает не только согласие, но и активное принятие. Да, это так. И так да будет. Этим словом собранная Церковь завершает и как бы «запечатывает» каждую молитву, произносимую предстоятелем, выражая тем свое органическое, ответственное и сознательное участие каждого и всех вместе в едином священнодействии Церкви. «Тому, что вы есть, скажите А м и н ь — пишет бл. Августин — и таким образом запечатайте это ответом своим. Ибо вы слышите: Тело Христово и отвечаете: аминь. Будьте же членом Тела Христова, осуществляемого вашим Аминь... С в я щ е н н о д е й с т в у й т е т о , ч т о в ы е с т ь...»

## ПИСЬМА БРАТЬЕВ-ЕПИСКОПОВ ИЗ ССЫЛКИ \*)

### ПИСЬМА АРХИЕПИСКОПА ВАРЛААМА \*\*)

Воистину Воскресе!

Взаимно приветствую Вас и деток Ваших, и родных с наступившим Светлым Праздником и желаю Вам и Вашим присным душевного мира, здоровья и радости. Простите, что не сразу отвечаю: устает голова и от обычного правила, и не может ясно выразить мысль.

Сочувствую Вам в Ваших скорбях и искушениях от больной: знаю, трудно их терпеть. Но Вы за послушание терпите и Г. Вам за это воздаст. Теперь, судя по сложившейся обстановке, пришло время переменить квартиру для М. Р. Довольно погостила у Вас. Пусть поживет у сестры, братьев, а еще лучше у М. В. Посмотрите сами, как и где удобнее будет ее устроить. И в будущем, если бы, паче чаяния, пришлось ее на время взять к себе, то выговорить себе и помощь от родных ее, в виде переводов, что ли, на которые можно было бы указать вопрошающим. Помогите Вам в этом Г., и я буду о сем просить.

Ее проделкам и озорству не удивляйтесь; она вроде одержимой, и за свои ли грехи, или для нашего испытания, а м. б. грехов у нее не больше, чем у нас, даже м. б. и меньше, если ей мало дано и талантов благодати — об этом ведает только Г-дь. Нам же сказано — ни пред каким грешником не превозноситься и не уповать на свою исправность и отсутствие озорства: самоцель может съест все наши подвиги и добродетели, если они есть. Кроткое терпение чужих грехов, хотя и самое трудное дело, но зато и самое прибыльное и верное. Так что и Вы не считайте время, проведенное с Р. для себя пропащим: где терпение, там больше спасения; сравнительно спокойная жизнь, хотя бы и с добрым молитвенным настроением все-таки ниже беспокойной, с плохим молитвенным настроением. Такова истинная расценка подобных вещей. Вероятно, Клавдюша Вам пишет. При случае располагайте ее к простоте, терпению, кротости, чтобы не заниматься помыслами (не беседовать с демонами), а стараться всем делать добро ради Г. и никогда

\*) Начало см. в "Вестнике" № 107, I. Письма Епископа Германа.

\*\*) Брат епископа Германа, умер в ссылке. Будем признательны всем, кто сообщит нам об них более подробные сведения.

не унывать: все прощается кающемуся. Унылый не верит в милосердие Божие, а основывается на своих гнилых подвигах и, якобы, исправлениях. Крестн. много ей об этом твердила, но она склонна забывать и носиться с собой, как курица с яйцом. Постоянно ставит термометр к своему настроению. Увы, плоды себялюбия. Я живу помаленьку. Прошу м. Всех вспоминаю и желаю всякого добра от Г. Храни М. Б.

Вторник Пятидесятницы 18/VI-35.

Приветствую Вас и М. Е. с Праздником Св. Троицы и желаю Вам от Утешителя всякого духовного утешения. Письмо Ваше получил в свое время и читал его с отрадой, будто въяве беседуя с Вами, и так вспомнилось дорогое время в Акат.! Получил и подарочек от Ан. и Сер., за что сердечно благодарю и вспоминаю их, как и вас всех. К Вашим духовным строкам хочу в пояснение прибавить некоторые свои. Вы скорбите о своих немощах и неисправностях и добавляете, что они «несомненно погубят нас». От себя скажу: может и случиться, если не будем сокрушаться и каяться. Если же будет сокрушение (и смирение), то сказано: «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит», т. е. не отринет, не осудит. Следоват.: надо бояться не погрешностей, а сердечной холодности, самодовольства, беспокоянного настроения. Дальше пишете: «отчаяться боюсь, но и исправления от себя не жду». Справедливо, а я к этому добавлю: «и не дождетесь», потому что от нас это и не может быть, а бывает от силы Б. с некоторыми избранниками, так что гордиться нечем даже и им, и чужим добром оправдаться не пристало. Поэтому и сказано: «если исполните (не своей, а силой Бож.) все написанное, то не гордитесь, а говорите: мы рабы неключимые». Мы все помешаны на самоцене, поэтому и при малой исправности в каком-либо отношении набиваем себе цену и незаметно делаемся тонкими фарисеями: хвалимся тем, что сотворила с нами благодать (не мы) по милости Б., а не за наши заслуги. Поэтому в духовном отношении исправность больше нам может повредить, чем неисправность с покаянным чувством. Вы скажете: «при исправности можно каяться». А в чем каяться, раз видим себя исправным. Тут один шаг и до прелести. Исправности истинной быть не может. Поэтому св. Отцы учат, что делами мы не оправдимся, хотя и обязаны их делать (силою Бож.), как птичка обязана петь, ибо на то и создана, а мы... «созданы на дела благая, такова наша природа, смешно, например, гордиться, что у нас две руки и

две ноги: такова природа; и делать добро природное дело души. И если мы не творим, то тяжко грешим, нарушая природу и волю Божию. Вот и нужно каяться и сокрушаться, и за сокрушение Господь прощает грехи по Своей милости. Если бы даже жили и без греха, вполне исправные, то Господь спас бы нас опять за смирение и любовь к Нему беззаветную, как было и с Богоматерью, а не за исправность. Поэтому подвизаться можно, но не для оправдания своими подвигами и делами, а для стяжания большего смирения и покаяния. Поэтому, если кто постится и молится не для стяжания смирения, а для богоугождения и своего оправдания, то ошибается. Поэтому подвизайся для смирения и сокрушения, и если этого не получается, а прошибает гордость и осуждение других, то лучше оставь подвиги, живи помалу и кайся во смирении. Так, немощей не бойтесь, а сокрушайтесь и, благодаря Бога, говорите: «благо мне, яко смирил мя еси». Буду рад, если все поймете у меня. Непонятное переспросите. До слез было жаль о Влад. Молюсь за него с любовью, сочувствую дочке. Он воодушевленно служил; как живой стоит в моих глазах. Одной молитвой заниматься нам не под силу и опасно от тяжести брани. Келейничать — спасительно. И Господь приходил послужить всем. И я с радостью пошел бы к кому-либо в келейники, но, увы, силы нет и возможности. Ногам легче стало. Всего доброго. Прошу святых молитв. Храни всех Матерь Божия.

---

Милость Божия буди с Вами! Д.М.И. Взаимно приветствую и Вас и желаю Вам телесного и душевного укрепления и радости о Господе. Правда, немощей у нас бездна и добрых дел нет, и страшит ответ Праведному Судии, но все это пусть покрывает с нашей стороны смирение и сокрушение как жертва, приятная Богу, и всецелое упование на милость Божию, без всякой оглядки на свои правила, дела и подвиги, п. ч. и они все у нас гнилы и оправдательной силы не имеют. Оправдывает нас всецело милость Божия и Любовь Его к нам. Спасение чрез веру, и сие не от вас, Божий дар. Вера твоя спасе тя, говорил Господь всем грешникам. Когда оглядываешься на дела и учитываешь их, то убавляется всецелое упование только на милость Божию, чем огорчится и Господь. Если оправдание за дела, то уже по праву, а не по милости (см. Римл. 4 гл.). Недаром и осужден за это фарисей; тут тонкое, но глубокое искажение духовной жизни и сыновнего отношения к Богу. Дела

должны быть по силе у каждого, как проявление живой веры и покаяния, и только. За недостатком времени или места может иногда даже и совсем не быть внешних вздвигов и дел, но оправдание последует, как было с разбойником, блудницей, мытарем.

Придавая известную ценность подвигам, Вы и ревнуете о них сверх меры и сил, отсюда мысли о сухоядении, недосыпании, отсюда перетомление головы, ног, полусонная молитва. Все это нуждается в исправлении и замене простым посильным режимом, без утомления головы и ног, с сокращением правил, с молитвой сидя и лежа, — и св. Пр. Давид умилялся на ложе, — с устремлением всего внимания на терпение, сокрушение, безгневие, сочувствие всем, неосуждение и духовную помощь ближним. И великие старцы вкушали суп с маслом на первой седмице В. Поста. Изнеможение есть признак неправильного поста, оно так же вредно, как и пресыщение. Так учат святые Отцы и опыт; поэтому часто исправность во внешних подвигах (пост, молитва, служба) соединяется и уживается с раздражительностью, сильным гневом, злобой, унынием, ропотом, самоценом. Кто в этом неповинен из нас, грешных? Таковы плоды неправильного настроения и действия. Св. прав. Евдоким мало подвизался во внешних подвигах, мало постился и вычитывал правил, а Богу угодил не меньше величайших подвижников. О чем и Господь засвидетельствовал открытием его мошей через 1-1/2 года, с обилием чудес. Итак, будем преуспевать главным образом в Евангельских заповедях (См. Матф. 5, 6, 7 гл.), возвращать в себе живую воду смирения и любовь к Богу с постоянным сокрушением о грехах и с всецелым упованием в оправдании на волю Божию и Его милость, а не на добрые дела, без всякого учета подвигов, даже совершенно забывая их и употребляя только как опору и подкрепление духу, но не в ослабление духа чрезмерностью и непосильностью совершаемого (внешнего дела и труда) нами. Забудем об исправности и взыщем Господа в смирении и покаянии, и посильном служении ближним, послужить им — выше постом и молитвы. Сладкое для нас с Вами — лекарство, и употребляйте без смущения, также и рыбий жир, и масло. Мое здоровье стало похуже, перед масляной был сердечный припадок, дважды был врач, сейчас, слава Богу, лучше, вредно всякое переутомление и правило свое еще посократил. Нужен воздух, а я могу выходить лишь на десять минут. О питании забочусь, и сейчас отеки реже. Псалтырь прочитываю один раз по весь пост, сокращаю и часы. «Вспомянух дни древние и поучихся» говорит Псалмопевец. И нам вспоминать святое очень полезно. Это не празднословие, а от-

дых душе, замена духовного чтения. С утешением и я вспоминаю ваш хутор. Всем желаю здравствовать и спастись о Господе. Благослови Вас Господь и храни Матерь Божию...

Дорогая М. И! Весьма был рад получить от Вас весточку, читать родные строки было, как праздник. Слава Богу за утешение. Настроение Ваше душевное мне весьма понятно и во многом, пожалуй, сходно: и у меня немощей не сосчитать. Некогда поймаю себя на счете добрых дел и успехов, — увы, бывает это как-то невольно, то укоряю себя за диавольский подвох и ложь сердца и стараюсь смириться всяко. А когда обратно видишь без счета свои немощи и придешь от них в безнадежие и уныние, то опять с укором себе скажешь: «Слава Богу, что не на что тебе уповать, нет своего доброго, не на чем успокоиться, все гнило и неладно, вот и уповай безраздельно на милость Божию, уповай сердечно со всем умилением, покаянием, смирением, как первый грешник и безответный. Чем полнее бывает такое сознание, тем мы ближе и милее Богу. Итак, не будем унывать в немощах, а, наоборот, через них приходите в еще большее смирение и преданность Богу. Всякий самоцен-гниль на духовном цветке, сердечная ложь, слепота и гордыня. Жаль болящих, но, с другой стороны, уповаешь, что это им всем во благо великое, только укрепи и помоги Господь. Думается, пришло время, Г. призывает своих и очищает скорбями для перехода в небесную жизнь, для этого ведь и живем. Буди воля Божия и милость Его! Будем на это уповать и готовиться предстать Богу ежедневно, жить, как в Страстную неделю. Клавд. помалу умнеет, и Бог даст, успокоится, когда будет постарше. Она все преувеличивает и вражьи наносы считает за свои. Вас она почитает, молитесь за нее. Прошу св. м. Бл-ви Вас Г. и М. Б.

Дорогая Матушка Игуменья! Молитвенно часто вспоминаю Вас и беспокоюсь о Вашем здоровье. Берегите остаток сил и не утомляйте сердце: лежите, кушайте и правило свое совершайте лежа, или сидя на постели, хотя бы и чувствовали облегчение в сердце: сидеть с опущенными ногами уже утомительно для слабого сердца. Говорю Вам все с опыта. Вредно Вам и нагибаться, и это учтите и не смущайтесь лежать. Богу нужно ваше сердце, а

не ноги. Из простых средств очень помогает сердцу, печени и почкам, если пить как чай и вместо чая овсяную соломку; настричь в чайник, погреть и пить, вкус приятный и цвет вроде чая. Она помогает при отеках. Пить раза 3 в день, хотя по чашке неполной, а вообще жидкости сократите. Это главное для сердца. Соломку можно с молоком пить и с чем хотите. Дай Вам Бог еще пожить! Сиротать детям Вашим будет трудно. И мое здоровье ухудшается. Лето было прекрасное, сухое, а я ничуть не поправился. Худосочие увеличивается и нервы неважные, стало и сердце пошаливать, еще и склероз сильный, хотя вина пил мало. Приходится подлечиваться и надеяться на милость Божию.

Скорби доказывают, а вместе прокладывают путь к вечным неземным радостям и переживаниям, идеже Господь, Матерь Божия и Святые. Спаси Господи за молитвы в памятные дни и в праздники. Я неизменно тоже переношусь к родным с лучшими пожеланиями. Да по слову П. Г. (\*) будем чаще встречаться у Матери Божией, постоянно взаимно прибегая к Ее всесильному покрову. Радуюсь, что Вам стало лучше, и Вы бродите. Просить смерти не надо бы, а лучше предоставить все воле Божией. М. б. мы нужны кое-кому, вот Господь и оставляет пока и за нашу помощь близким. Хотя бы и молитвенную — ведь она поднимает и укрепляет душу другого, за кого молимся. Господь простит и наши личные немощи. Вы оглядываетесь назад на прожитую жизнь и не видите за собой доброго, ценного. Не смущайтесь: хорошо, что не видите, будете искренне чувствовать себя, как мытарь, и несомненное будет к Вам благоволение Божие. Наоборот, видение и оценка каких-либо своих подвигов и дел увеличит греховный и лживый самоцен и умалит всецелую надежду на единое милосердие Божие: «дескать, я потрудился, а потому помилуй». Самое же верное и приятное Богу от нас следующее: «Господи, ничего не имею, не смею и очей поднять, помилуй мя по великой Твоей милости». И милость будет тем больше, чем больше будет сокрушения и упования на Бога, не на дела и что-либо свое. За М. Р. молюсь. Царство ей небесное. Сон про М. Е. знаменательный и похож во всем на истину. Слава бесконечному милосердию Божию. Жизнь есть подвиг и страдание для добра и Господа. Чем больше страдаем со смирением, тем больше очищаемся и духом просвещаемся.

(\*) «По слову П. Г.» — Преосвященного Германа.

Болезнь, слава Богу, не увеличивается, но и не уменьшается. Худосочие даже и прибавляется, но буди воля Божия. Надо же чем-либо терпеть за свое убожество и худость. Храни Вас Матерь Божия Своим покровом. Благослови Господи!

Поздравляю Вас со днем Ангела! Шлю привет Вам, Е. и сестрице Вашей. Пожить ей у Вас подходит и так сами обстоятельства складываются. Вы просите указать Вам, если есть что неправильное в Вашем настроении. Опять разъясняю Вам кое-что. Вы хотите видеть свое исправление от немощей и упущений и этим оправдаться; вот это-то и не совсем правильно, вчитывайтесь в то, что писал раньше: Ваша душа еще не восприняла всего там сказанного; сразу и нельзя, не удивляйтесь; уяснится постепенно с Божией помощью. Кратко повторяю: 1) оправдываемся не исправлением, не добрыми делами; все это бывает у нас подмочено общей нашей греховностью и все это обязаны мы делать по своей богоподобной природе, — а оправдываемся смирением и покаянием, «жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит». Об этом найдете кое-где в письмах Оптинского Старца Макария. Поэтому благо, что у Вас есть погрешности и немощи: при покаянии и сокрушении Вашем они введут Вас в рай. А если не окажется их, то упование на свою исправность может Вам сильно помешать тайным самоценом, фарисейским упованием на понесенные труды, добродетели: «заслужила, заплати». 2) Далее пишете: «боюсь часто причащаться, не исправляюсь, грехи одни и те же». Хорошо, а белье и платье свое стираете часто, не сердитесь на их неисправность, на то, что всегда покрывается одной и той же пылью и грязью? Не наоборот ли? Также смотрите и на чистоту души: чем больше заботится о ней человек, тем лучше; чем чаще смывает грязь, тем приятнее Господу: и не смущайтесь, что грязь одна и та же, лишь бы хуже не было, и то ладно. Безразлично, чем бы ни запорошилась чистота души; пришло время, и надо стирать, смывать нечистое покаянием. И Господу один кающийся грешник приятнее, чем десять самодовольных праведников. 3) «Хотелось бы быть похожей на М., а теперь боюсь не быть бы ниже мирских». Это значит, хотите опять в праведницы, не любите смирения, все хотите к высоте. Это все лукавый хочет из Вас на все лады сделать такую, чтобы Вы подумали о себе: «несмы, якоже прочии человецы». А почему

зазираете Вы мирских? Разве не знаете, многие мирские будут выше монахов. У мирских много бывает смирения мытарева, терпения, сокрушения, а у монахов очень часто — самоцен, черствость сердца, фарисейская праведность («потрудился — заплати»). Смиренный ни с кем себя не сравнивает, всех видит лучше себя и ближе к Богу, себя же в некоторых отношениях считает хуже демонов. Конечно, до такого смирения нам не дорасти, но хотя бы во всем и за все себя укорять в сердце (не на словах, это часто бывает лишь гордой рисовкой), никого не осуждать и ни над кем не возвышаться. 4) Упускаю правило, устаю... Ну и что же? Ведь спасаемся мы не правилом, а смирением и вздохами к Богу вообще. Вы же как будто придаете большое значение количеству поклонов и прочему читаемому. Нет, все это может оказаться медью звенящей: все дело в сокрушении сердечном. Вам полезно правило установить не количеством, а временем, например: утром можете помолиться один-два часа. Вот. неспеша, с сокрушением сердечным, а местами с остановкой, если усладилось и умягчилось сердце и совершайте что-либо из Вашего правила, не задумываясь выполнить все. Так может случиться, что Вы пройдете всего только 1/2 или 3/4 прежнего правила, и назначенное время кончилось, дальше дела послушания (уборка, печка и т. п.). И что же? Не смущайтесь, кончайте на том, сколько успели, и знайте, что Господь больше с Вас не спросит, а за спешку никогда не похвалит. Ему нужно ваше сердце, а не учет поклонов, не механизм вычитывания. Иной, быть может, один канон или акафист будет читать целый час, но с плачем и отрываясь для сердечных воззваний к Богу, вот это настоящая молитва. Можно и Евангелие и Псалтырь читать опять без глав и разметок, а по силе и по времени, заботясь о качестве, чтобы читать с самоуглублением, а не со спешкой. Ради дела послушания и заботы о ближних надо всегда сокращать время моления своего, так как послушание выше поста и молитвы, и не смущаться, а сознавать важность служения ближним. Количество поклонов и некоторая исправность в правиле необходимы для новоначальных, чтобы приучить их к молитве, а когда молитве навыкли уже до некоторой степени, то числом поклонов связывать свое чувство не следует, а лучше молиться свободно, сообразуясь лишь с количеством времени. 5) «Побраните меня и укажите недостатки». Прежде всего Вас надо похвалить за откровенность и ревность о спасении. А побранить Вас надо за преувеличенную любовь к исправности, за вычитывание добрых дел и подвигов и за упование на них, почему и не ви-

дите безграничной ценности смирения, превышающей все наши дела и хромлющие добродетели. Этот слабый фундамент, можно сказать из песка, и очень терпим только при начале духовной жизни, а дальше повредит подвизающимся; легко при внешней исправности (вычитка правил, соблюдение постов) и при свободе от внешних падений перейти к духовному самоцену и гордыне, а отсюда к святости или прозорливству с левой стороны. Скорее выбросьте этот фундамент из головы и из сердца, бросьте ценить подвиги, исправление правил и т. п. Делайте всякое доступное добро и не сите всякий подвиг, как приказ от Бога, ничуть не расценивая его, ибо ценность не в них, а в стяжании чрез них смирения, веры, глубокой чистоты, покаяния, сокрушения, наконец, любви к Богу и к ближним. Никто не хвалит ученика, когда он еще учится, но когда получит диплом. Все подвиги — это только уроки (подпорки), а диплом в смирении, сокрушении, чистоте (возможной). Другой придет во все это через скорби или болезнь, без особых подвигов и правил, и он будет не ниже подвизавшихся. Вот и делайте свой душевный фундамент, ища самоукорения, покаяния, терпения, сокрушения и надежды крепкой, необманной на милость Божию. И на Страшном суде праведники сознаются только в своем смирении и никчемности, а не в добрых делах, хотя их и делали. Вот истинное настроение. Ек. пусть много не плачет о храме, ведь у каждого из нас по милости Божией есть или должен быть свой храм-сердце: зайди туда и молись, сколько есть сил и времени. Если этот храм не устроен или будет в забвении (без внутренней молитвы), то и видимый храм мало поможет. Привет и благословение М. А. и С.

---

Приветствую Вас, дорогая Матушка Игуменья с Петровым днем и бывшим престольным Праздником в церковной школе. Помню, как молился у Вас тогда среди расцветшей природы. Слава Богу, есть что вспомнить. Читая Ваши строки, я радовался за Ваше простое доброе настроение. Берегите его. И пост у Вас правильный, посильный, ничего не меняйте, разве только в сторону ослабления, но не усиления, усилением принесете вред душе и телу тем, что внимание свое от Господа перенесете на еду и расценку ее и себя, а ослабевая в силах, исполнитесь всякого смущения. Все это будет неладно. Старец Гавриил, например, позволял себе и гостям своим вкушать с маслом даже на первой седмице Вел.

Поста, чтобы не ослабеть, помня слово Господа, что не человек для субботы, но суббота для человека. И Давид ел хлебы предложения, т. е. с нашей точки зрения, допустил как бы святотатство. Так что не занимайтесь вопросом о посте, делайте по силам и даже можете по немощи вкушать рыбу и елей накануне Причастия до всенощной, делая это со смирением, ради укрепления сил и с глубоким благодарением Господу. Бойтесь оценивать пост и количество молитв, свихнемся с сыновнего смиренного пути в ненавистное Богу фарисейство и самоцен. Где расценка, там наместничество, а не сыновство, хотя и грешное. Внимание держите не подле внешнего, а подле внутреннего: есть ли молитва в сердце, не огорчила ли кого, не помогла м. б. кому духовно, не рассердилась ли, не пристрастилась ли к чему, м. б. была нетерпелива, уныла. Большую плоть нечего распинать, а надо поддерживать. Вы нужны всем своим чадам и неправильно написали обратное. Сейчас в десять раз больше нужны, чем прежде. Пусть и немощей много. Господь за них не осудит, если будем смиренно взывать: «Господи, прости!» Даже наоборот, они ведут к смирению, т. е. самому главному и необходимому в деле спасения, почему и Давид славил Господа за допущение немощей: «благо мне, яко смирил мя еси». Поэтому не унывайте в немощах и не считайте их за своих врагов, наоборот, они, хотя и невзрачные, но наши духовные друзья — мытари. Таня подвизается, но пост у нее выше смирения и послушания, рыбу в великий пост не съест, хотя бы и ослабела до смерти. Не совсем это право, не по сыновнему смирению, а по рабьей оценке. Все же она, кажется, начинает внутреннее ставить выше внешнего. Клавдюша яркий пример извращения правого пути спасения через заботу о внешнем (пост, молитвы, поклоны, слезы), с забвением внутреннего — очищения сердца от злобы и всякой нечистоты. Привет всем. Будьте здоровы. Поживите еще. Храни Вас Матерь Божия. С уважением...

### ПИСЬМО ВЛАДЫКИ ГЕРМАНА

Простите, дорогая Матушка, что задержался ответом на Ваше утешительное письмо. О, как бы хотелось, чтобы хоть малая доля того, что сказали Вы о пользе теперешней моей жизни, соответствовала действительности. Конечно, не радостно думать, что все пережитое за одиннадцать лет является только наказанием за нерадение и те грехи, какие гл. обр. очищаются через лишения, но

еще более страшно подумать, что Господь ублажает за то, чем заполнены эти годы, когда сам по своей совести хорошо знаешь, как во всем этом мало и от Климента, и еще более от Студита. Со вне как будто и твердость и непреклонность, а внутри смятение и малодушие. Со стороны вера и самоотречение, а в действительности только краткие приливы веры, или точнее жажды веры и почти полное отсутствие самоотречения. По форме: жизнь, богатая тревогами, лишениями и всем, что называется несчастьем, а на самом деле почти постоянное упокоение плоти и пользование теми благами, какие отнимаешь от помогающих тебе... Но как всегда и в моей жизни и чрез мое положение действует та же сила, какая являет свое могущество в немощи, что и поддерживает бодрость и надежду, что Господь помилует. Надеюсь на эту милость Божию, несмотря на свое нерадение и устарелую плотность. Прошу Вас помолиться, чтобы ко благу и спасению моему послужило все бываемое со мною. Никак не могу спокойно и благодушно переносить частые перемены квартиры: волнуясь, раздражаюсь, унываю, поддаюсь многоболтливости и нетерпению, и не властвую, а подчиняюсь своим дурным нервам. О, как мне от них достается! Все почти время такая нервная напряженность и страх перед возможными неожиданностями и сюрпризами, что мирность помыслов и ровность настроений мало мне теперь известны. Это очень утомляет и безусловно препятствует тому, что нужно стяжать здесь, чтобы не оказаться нагим. Конечно, все это оттого, что слаба преданность Его благу Промыслу, сильна привязанность к миру, не крепка верность Его заветам и не положены еще основания подлинной любви, с которой приходит в душу и мир, и ясность, и презрение временного.

Слава Богу, что Ваш подвиг окончился и теперь начинается новая полоса жизни и возвращаются прежние болезни, чтобы чрез терпеливое несение их подготовить душу к вечному. Как отрадно слышать, что у Вас есть самое главное для утешения, и Господь еще хранит и самое место, и тех, кто Ему служит. Я одно только прошу у М. Б. Казанской, чтобы Она не отсылала от Себя и потерпела меня около Себя хотя бы до весны. Относительно скорбей будем помнить утешительное слово Ис. Сир. — «познается человек, — говорит он, — о котором особенно печется Господь, по непрестанно посылаемым ему скорбям». Да хранит Вас Господь.

«Горе нам, что не знаем душ своих. Не знаем и того, к какому житию мы призваны, но эту жизнь немощи, это состояние живущих, эти скорби мира и самый мир, и пороки его, и упокоение почитаем чем-то значительным» (Исаак Сир.). Мы знаем, что у нас должно быть «покаяние и раскаяние», т. е. постоянная скорбь и плач о грехах. Самый образ той жизни, какую мы возлюбили, есть постоянное покаяние. Что же для этого нужно, чтобы действительно, на деле, а не на словах, быть нам кающимися и чрез то детьми Божиими, «чадами света и дня». «Покаяние, — говорит тот же великий подвижник, — есть корабль, страх Божий его кромчий, любовь же — Божественная пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смраднему морю жизни и пристает к Божественной пристани». Итак, со страха за свое духовное здоровье, от страха за свою будущую судьбу начинается истинно постническое житие и через воздержание приводит нас к цели всех подвигов жизни — к любви. Люди мира и чувственности думают, что постническое житие противоестественная жизнь, п. ч. убивает тело. Им отвечает В. Пимен: «Мы учились, — говорит он, — умерщвлять не тело, а страсти». «От яств постись по временам, а от воздержания постоянно», — говорят Отцы. На первом плане у нас должна быть забота о душе. Потому мы во многом отказываем телу, кто «по той мере, как утучняется тело, истощается душа и, напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Для того и постоянное воздержание, а временем и пост как сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями. «Пост для тела есть пища для души» (И. С.). Пост есть не телоубийца, а страстоубийца. Макарий Великий говорил, что монах с таким рассуждением должен вести дело пощения, как бы имел пробыть в теле сто лет и так обуздывать душевные движения, забывать обиды, не предаваться печали (мирской), ни во что ставить скорби и лишения, как могущие умереть каждый день». «Неумеренное воздержание вреднее пресыщения, п. ч. от последнего в силу раскаяния, покаяния можно перейти к правильному действию, а от первого нельзя.» (Кассиан Р.). Как во всем, так и в этом, как будто не мудром деле нужен навык и умение. «Святые постились, в рай вселились, а мы постимся, никуда не годим-

ся» (Пословица). Если пост есть гл. обр. борьба со страстями, то надо их увидеть прежде. Это так важно, что подвижник говорит, что кто сподобился увидеть себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов (Ис. Сир.). Но это невозможно без помощи Божией, вот почему мы и просим: «даруй ми зрети моя согрешения». Но увидеть свои грехи еще не есть покаяние, надо почувствовать всю мерзость греха, признать свою виновность в нем, осудить себя. Всякое осуждение грешно, но это похваляется: «Если бы, говорит Апостол, так тебя осуждали, то не были бы судимы с миром». «Восчувствовать грехи свои выше того, кто своею молитвою воскрешает мертвых», говорит Ис. Сирии. Каким же образом пост ние всякой добродетели, предшественник добрых дел», и «кто не радит о посте, тот приводит в колебание все доброе» (Ис. Сир.). Через пост мы боремся со страстями и, в первую очередь, с плотскими. Наша душа так тесно связана с телом, что все бываемое в теле отражается в душе, как и душа, и ее состояние, в свою очередь, воздействует на тело. На этом законе базируется подвижническая практика. Как, например, бороться с похотливостью? Подвижники отвечают: «Возобладай над телом, пока оно не возобладало над тобой. Насыщение есть мать блуда, а утеснение чрева — виновник чистоты. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце, если же оно успокоено пищей, то сердце возносится» (Лествичник). Утесняй чрево воздержанием, и ты можешь заградить себе уста, ибо язык развязывается от множества яств (Лествичн.). Вот так телесный пост помогает нашему покаянию». Покаяние восставляет нас, плач ударяет в небеса, а смирение отверзает врата небесные» (Лествич.). «Ничто столько не соединяет и не сближает нас с Богом, как слезы в непрестанном сокрушении сердца, проливаемые о себе или о чужих грехах» (Злат.). Как огонь сжигает хворост, так чистые слезы истребляют всякие внешние и внутренние скверны». «Если не плачешь, то плачь о том, что не плачешь» (Леств.). Множество яств иссушает источники слез. Покаянный плач ударяет в небеса, а врата отверзает смирение. Смирение есть сознание своей немощи и бессилия. Если прибавить ко всему этому молитву-подругу поста, то станет страстям страшно. Говорю страстям, а не бесам, п. ч. страсти предвзряют бесов, а бесы последуют за страстями (Григ. Син.). Бесы приражаются, сообразуясь с господствующими и действующими в душе страстями. Страстной привычкой они обыкновенно пользуются к размножению в нас страстных воображений, от каких,

как и от бесов, да избавит нас Господь, шествующих теперь путем душеспасительного поста.

Милая Таня! Получил твое грустное письмо о скорбях с хозяевами. Как лучше? У каждого в жизни бывает свой крест и у всякого есть свой «пакостник плоти». «Пакостник плоти» — это постоянное искушение, то, от чего Господь часто не освобождает целые годы, а иногда и всю жизнь. Мне кажется, что и твой «пакостник плоти» — это вражонек, который всегда восстанавливает против тебя твоих хозяев и тем портит твоё настроение, вызывает на гнев, раздражение, осуждение и нетерпение. Пакостник всегда действует на нас из вне. В нас самих часто нет для него места, и не у тебя начинается нелюбовь или досада на живущих с тобой, а они под влиянием вражонка начинают так или иначе наседать на тебя, и тем отравляют твоё настроение, что и надо врагу. Куда ни уйдешь, туда за тобой и твой пакостник. Как же быть в таких случаях? Ясно, трудно ждать, чтобы он отстал через перемену квартиры. Если там будет более сносно, то что-нибудь в этом роде будет по службе. Апостол три раза горячо просил Господа, чтобы Он избавил его от вражонка, но Господь не внял его молитве, т. к. это искушение было полезно для самого апостола, и ему оставалось только смириться и терпеть. Врага ничем не победишь, как только смирением и терпением. Мирских не особенно слушай. Они почти все недугуют самолюбием и не знают, что если против самолюбия будешь ставить свое самолюбие, на чужую гордость вооружаться досадой, ненавистью, раздражением, то из этого, кроме постоянных огорчений и домашнего ада, ничего не получится. Мы с тобой иначе должны мудрствовать. В подобных неприятностях и искушениях надо так рассуждать: Все в нашей жизни от воли Божией. Всех Он нас любит и, как мудрый врач, лечит. Наши мудрые отцы и наставники учат, что самому не надо напрашиваться на скорби, унижения и страдания, но если по воле Божией они нас постигают, то их надо встречать не только спокойно, но и с радостью. «Всякий человек, о котором особенно печется Господь, познается, как говорит Исаак Сирин, по непрестанно посылаемым ему скорбям». Не будь скорбей и искушений, никто бы не спасся (Евграф.). Возведи умные очи в небесные селения, говорит св. Тихон Задонский, и посмотри на живущих там. Ни одного не найдешь, кто пришел бы туда не путем терпения. Благо тому, кто

терпеливо ожидает спасения от Господа (преп. Ефр. Сирин). Конечно, беда наша еще в том, что у нас самих нет внутреннего мира. «Умирись сам с собой, — говорит Ис. Сир. — и умирятся с тобою небо и земля». Поэтому наше доброе и справедливое в себе самом несет яд нашей нестойкости, гневливости и горячности, а ты по мне знаешь, что такой вспыльчивый, как я, возбуждает раздор, а терпеливый, как Варля и подобные ему, утишает распрю (Притч. 15) «Мягкий язык переламывает кость» (Притч. 25,15) «Злое слово и добрых делает злыми, а доброе и злых превращает в добрых» (Преп. Макарий Вел.). Не надо забывать, что и ты, и твои взбалмошные хозяева члены — одного тела Христа. Всем нам сказано: «Будьте братолюбивы друг другу, и с нежностью носите бремя друг друга». Это, конечно, требует постоянного самоотречения и терпения. Потому-то путь Божий есть повседневный крест. (Ис. Сир.). Никто не входит на небо, живя прохладно. А из сего познается, что он под Промыслом Божиим, когда Бог непрестанно посылает ему печали. Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что они живут в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем. Потому попускает Бог, чтобы святые Его искушаемы были всякою печалью, чтобы опытно изведали помощь Его и то, сколько промышляет о них Бог, п. ч. вследствие искушений приобретают мудрость (Ис. Сир.). «То угодно Богу, если кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо» (I Петр. 2-18). С радостью терпи то бесчестие, которое по Божьему усмотрению, а не по твоей воле, постигнет тебя, и не смущайся и не питай ненависти к тому, кто бесчестит тебя (Ис. Сир.). Будем помнить о великой награде, какую Бог обещал всем терпеливым: «Как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр. гл. 3). Так всего лучше бороться с «пакостниками плоти», каким Господь попускает всегда тревожить нас, чтобы через то побудить нас видеть свою немощь, постоянно вопиать ко Господу о помощи и защите, смиряться через скорби, приобретать через испытания духовной мудрости и накапливать терпение, каким только и можно спастись в наше время. Ты сама говоришь, что в прошлом году в это же самое время ополчились на тебя твои хозяева, а потом утихли. А как ни трудно было тебе зимой, зато сколько раз благодарила Господа за то, что у тебя было уединение и свой угол. Это ведь далеко не всем теперь доступное благодеяние. Но если терпеть нет сил, то поищи что-либо другое.

Быть может, что-либо можно достать в деревне. Только редко бывает так, что все будет хорошо. Везде будут свои шипы и искушения, и Господь потому попускает их на нас, чтобы мы не забыли своего настоящего отечества и того действительного и радостного покоя, куда приходят через скорби и лишения. Не мне говорить тебе о том, как мы терпим всевозможные неудобства и лишения в дороге на пути, когда стремимся к какой-нибудь одушевляющей нас цели. Вспомни, сколько ты перенесла, будучи всегда в поездках. Часто эти скорби земного пути не окупаются радостями, ради которых мы их предпринимаем. Скорби же пути к небесному отечеству всегда сторицею окупаются еще здесь на земле духовными утешениями от Господа, а там, куда идем, в Невечернем Свете Его Царства ничто не будет забыто и будет отерта всякая слеза, ради Господа здесь на земле пролитая, непрестанно веселием блаженной вечной жизни. Всегда прошу Господа, чтобы при умножении скорбей твоих в сердце твоём утешения Его услаждали душу твою (Пс. 93,19). Наша Матушка еще здорова, но с Ильина два тоже тормозят ее служащих, и еще неизвестно, пустяки это или что-либо серьезное. Как везде, так и здесь, еще не научились жить тихо и скромно. Любят попить за чарочкой, развязывают свои языки, забывая мудрое наставление псалмопевца: «Если хочешь видеть дни благи, удержи язык твой от зла». Сами себе вредят языками, а через то и затрудняют Господа, Который хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. Пока Господь хранит всех нас. Да хранит тебя Господь и поможет во всем.

#### Канун Татьянинного дня.

Сейчас вечер. Отпили чай. Старец (\*) затеял большую работу и стучит на повести. Поля (\*\*) кончила стирку после святок. Эти дни было очень тепло, хотя и не таяло, а сейчас холодает и в трубе воет, и свистит ветер. Почему-то вспомнились сейчас юрты, наша избушка, тишина, полная возможность делать, что хочешь, и спасаться. Завтра день твоего Ангела. Ты хорошо знаешь, как я люблю мученицу-диакониссу Татиану. Люблю ее и за то, что она послала на моем пути маленькую диакониссу, какая не только для

(\*) Старец — схиигумен Лука жил с Вл. Германом.

(\*\*) Поля — послушница В. Г. в с. Кочпоне.

меня, но и для многих моих братьев сделала немалые добрые дела и показала не раз свое христианское самоотречение. Да утешит тебя Христос за все, что ты делала в Его Имя, и да поможет тебе в твоей духовной жизни. Я чувствую, как теперь страшно трудно сохранить свой внутренний мир, как трудно хранить смирение, когда многое вокруг нас вызывает на осуждение, негодование и гнев, когда так все насыщено и напитано самолюбием и гордостью, как трудно быть кротким, как еще труднее любить и хранить внутреннюю тишину, среди которой только и возможно слышать благодатное веяние Св. Духа Божия! Но невозможное для человека возможно для Бога! Нам невозможно часто изменить внешние условия своей жизни, невозможно избежать многих повседневных неудобств и житейских скорбей, но Богу возможно все это обратить нам на душевную пользу и дать нам для этого терпение. Щедролюбивый Отец наш, говорит Ис. Сир., у истинных сынов своих, когда соблаговолит сотворить облегчение их искушений, не отнимает эти искушения, но дает им терпение во искушениях». Вот этого-то спасительного терпения, какое нужно в обычной нашей жизни и делах, и драгоценно в жизни духовной, я и желаю Тебе от Господа. Тот же святой и великий подвижник указывает, от чего зарождается терпение и как само оно, как благодатное семя, даст начало многим добродетелям, необходимым для спасения. «По мере смиренномудрия, говорит он, — дается тебе терпение в бедствиях твоих, по мере терпения приемлешь утешение, по мере утешения увеличивается любовь к Богу, а по мере любви увеличивается радость о Св. Духе». Ты и сама замечаешь, что когда смиришься пред обстоятельствами своей жизни и пред теми, с кем не без воли Божией живешь, то легче становится переносить их, и хорошо и тихо бывает на сердце. Вот подвижники и выясняют, как это связано одно с другим, и что все в духовной жизни начинается смирением и ничего не приобретается без терпения. Запомни слово отеческое: «Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что они живут в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем». «Бог и ангелы радуются, когда мы в нуждах, а диавол и делатели его, когда мы в покое». Вот почему и хорошо бы тебе оставаться там, где живешь, и только в крайнем случае уйти. Сколько раз ты хотела уйти, и пока на это нет благословения. Это подтвердил и жребий, который ты вытянула. Я не советую прибегать к этим жребиям, но раз ты, помолясь усердно (не менее трех раз), вынула, то надо исполнять. С этим шутить нелзя, а то попадешь из огня да в полымя. Молю Господа, чтобы Он Сам управил

путь твой и дела твои. Радуюсь, что встретила Св. Праздник, хотя и не без обычной болезни. Бог ничего не требует от болящего, кроме терпения, смирения и благодарения, говорит Авва Варсонофий. Поэтому когда они с тобой приключаются, то не смущайся, что приходится сокращать молитвенное правило и даже опускать Сион.. Болезнь сама за тебя молится, если не ропщешь и переносишь ее с терпением, в полной уверенности, что она обивает в тебе плотские грехи и пресекает много грехов. Терпи ее и старайся душу успокаивать краткими молитовками и сокрушенным сетованием о своих немощах. У папы маленькой все праздники прошли в большом торжестве, но были немного отравлены некоторыми страхами. Начали сильно наедать на домик Матушки, но пока они здоровы и домик цел. Были опасения, что придется куда-нибудь поехать в другой район, но пока этот страх миновал. Не знаю, жалеть Риму (\*) или радоваться, что Господь отводит от тяжелых искушений и ответственности. Если правда, что он уехал в Устюг, то там его ждут большие скорби, и ему придется очень смириться. На весь город остался только один настоятель собора, какой помог всем остальным, начиная с Кира (\*\*), их Николы, человека святой жизни, возжелать жить у Саруханова. Конечно об Риме надо молиться, тем паче, если он выходит на первые роли. Тот митрополит умер. Перед смертью освободился от своего недуга. Он очень любил твоего папу. Умер в Баку, и некому было его отпеть. Прошу тебя, ничего не трать на меня, а побалуй себя и молочком, и другим, что поддержит твое здоровье. Был бы очень рад, если бы ты на это брала из Папиных денег. Ему сейчас не нужны ни деньги, ни посылки.

#### День Пророка Даниила и 3-х отроков.

Молитвенно приветствую тебя, дорогая Т. с Великим Праздником Христовым и Новым Годом. Да дарует Тебе Господь по сердцу твоему и вся твоя прошения исполнит. Да обратит скорбь твою в светлую и спасительную радость; телесными болезнями и трудами да укрепит душевное твое здоровье и даст тебе свой

(\*) Рима — митрополит Питирим.

(\*\*) Кир — епископ.

сладостный мир. Только неделя до Праздника. Прошу Господа, чтобы дал Он нам свою милость, чтобы в мире и благополучии Его встретить и провести. Как бы хотелось, чтобы ушли из души и темные тучи всяких тревог, и гнилые туманы неподобных настроений. Как хочется, чтобы куша, как чистое дитя, в простоте и незлобии подошла к Его яслям, как Вифлеемские пастухи, чтобы все свои самые глубокие и заветные мысли подклонила к Нему, как свои души, мудрость и дары волхвы, чтобы все внутри пело, как славословили Его ангелы, чтобы благоукрасилось и прияло Его в себя сердце, как вертеп, каким не возгнушался Он — Творец, Царь мира, чтобы все внутри исполнилось Светом Его Истины, силы и любви, как от чудесной звезды, возвестившей всему миру, что Христос рождается, что воссияло Солнце Правды. Нас везде остается малое стадо. Что мы без Него? или кто, или что может утратить нас, если Он с нами, если пребываем в Его любви. «Бог и Ангелы, говорит один Св. Отец, радуются, когда мы в нуждах, а диавол и ангелы его, когда мы в покое». Не скудость страшна, а страшно, когда оскудевает любовь, когда исчезает смирение, когда остывает душа без молитвы, когда вихрь раздражения убивает кротость, когда меркнет свет веры, когда опускаются крылья души — надежда, когда эта земная жизнь с ее суетой, соблазнами и беззаконием вытесняет память о будущей, к какой всегда надо готовиться. Но Он Сам сказал: «не бойся, малое стадо», не только Его ближайшим ученикам, но и ученикам, и всем верующим. Им сказано: «Я с вами во вся дни до скончания века». «Не молю, чтобы взял их от мира, просил Он некогда Отца, но чтобы сохранил их от зла». Это буди, буди и с тобой и со всеми нами.

.....

## ХРИСТИАНСТВО И ИУДАИЗМ

*В мае этого года французский епископальный комитет по отношению католической Церкви к иудаизму, основанный французским епископатом в 1969 году, опубликовал обращение „Пастырская ориентация в сфере отношения христиан к иудаизму“. „Обращение“ вызвало бурную реакцию в католическом и еврейском мире и оживленную богословскую полемику. Против „Обращения“ выступил ряд крупных католических богословов современности, в том числе кардинал Жак Даниелу.*

*Они справедливо отметили, что в тексте смешение двух планов: историко-политического и духовно-богословского. Считать, что еврейский народ, собранный на своей земле, исполняет божественное призвание **н а р а в н е** с Церковью, это отказываться от коренного упования Нового Завета об обращении Израиля ко Христу, и тем самым от полноты спасения во Христе.*

*Не будучи согласной с рядом положений „Обращения“, редакция „Вестника“ все же считает своим долгом ознакомить с ним русского читателя, и в качестве православного ответа на него опубликовать статью о. Сергия Булгакова, хотя и написанную в другое время и по другому поводу, но ни разу не публиковавшуюся и не потерявшую своей богословской свежести и силы. В дополнение к богословской статье о. С. Булгакова мы печатаем прекрасное изложение Московского публициста М. Агурского об отношениях между евреями и христианами в дореволюционной России.*

### ОБРАЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЕПИСКОПАТА

**I. Существование евреев ставит проблему перед христианским сознанием.**

Нынешнее существование еврейского народа, часто шаткие условия его жизни в ходе истории, его надежда, трагические испытания, которые он познал в прошлом, и особенно в наше время, его частичное собрание на земле Библии — всё более и более составляют для христиан данные,

которые их могут привести к лучшему пониманию своей веры и осветить их жизнь.

Перманентность этого народа, проходящего через все эпохи и переживающего все цивилизации, его присутствие в качестве бескомпромиссного и требовательного партнера перед лицом христианства, являются фактом первостепенной важности, которым мы не можем пренебрегать.

Церковь, действующая от имени Иисуса Христа и через Него связанная с самого своего рождения и навеки с еврейским народом, видит в непрерывном существовании Израиля через века знак, который она должна понять во всей полноте.

## II. Постепенное развитие христианского сознания.

28 октября 1965 II-й Ватиканский Собор торжественно провозгласил декларацию "Ностра Этате", которая включала и главу о еврейском народе. Мы вновь подчеркиваем значение этого текста, в котором напоминает, что Церковь питается от корня природной маслины, к которой привились ветви дикой маслины, т. е. язычники. Как Епископский Комитет для Отношений с иудаизмом, мы обязаны выявить актуальное значение этой декларации и указать её применения.

Соборное положение следует рассматривать скорее как начало, чем как завершение. Оно знаменует поворот в христианском отношении к иудаизму. Оно открывает путь, и позволяет нам установить четкие измерения для нашей задачи.

Эта декларация базируется на возвращении к источникам Священного Писания. Она порывает с позицией всего прошлого. Отныне она призывает к новому взгляду христиан на еврейский народ не только в порядке человеческих отношений, но и в порядке веры. Невозможно в один день пересмотреть ни все заявления, которые делались в Церкви в ходе веков, ни все исторические отношения. Однако христианское сознание приступило к процессу, который напоминает Церкви её исторические корни. Главное в том, чтобы этот процесс начался, чтобы он проник во все слои христианского народа и чтобы последний следовал ему с честностью и энергией.

## III. Перманентное призвание еврейского народа.

Невозможно рассматривать еврейскую "религию" просто как одну из религий, существующих в настоящее время на земле. Через народ Израиля вера в Единого Бога запечатлелась в истории человечества. Через него возник монотеизм, являющийся с некоторыми различиями общим достоянием трех великих семей, объявляющих себя наследием Авраама: иудаизма, христианства, ислама.

Согласно библейскому откровению, Сам Бог создал этот народ, поставил его и научил Своим замыслам, установив с ним вечный Завет (Быт. 17,7) и возложив на него призвание, которое святой Павел квалифицировал как непреложное (Рим. II,29). Мы обязаны ему пятью книгами Закона, Пророками и другими священными книгами, которые дополняют его весть. Собранные устным и записным преданием, эти

поучения были восприняты христианами совсем не для того, чтобы быть экспропрированными у евреев.

Даже если для христианства Завет обновлен в Иисусе Христе, иудаизм должен рассматриваться христианами не только как историческая и социальная реальность, но как реальность религиозная; не только как реликвия почтенного, но минувшего прошлого, но как реальность, сохраняющая жизненность во времени. Главными знаменами этой жизненности еврейского народа являются: свидетельство его коллективной верности единому Богу, его ревность к исследованию Писания с целью раскрытия в свете Откровения смысла человеческой жизни, его поиск идентичности в среде других народов, его постоянное стремление воссоединиться в общину. Эти знаменания ставят перед нами, христианами, вопрос, который затрагивает существо нашей веры: какова собственная миссия еврейского народа в божественном замысле? Каково ожидание, которое её одушевляет, и в чём это ожидание отличается или же приближается к нашему?

## IV. Не учить ничему, что не соответствует Духу Христову (Ностра Этате 4 § 2).

а) Пора, чтобы христиане решительно прекратили представлять себе еврея согласно клише, измышленных в ходе вековой агрессивности; навсегда сведем на нет и мужественно будем бороться при всех обстоятельствах с карикатурными представлениями, недостойными честного человека, тем более христианина; например, с представлением о еврее, как "непохожем на других", как "ростовщике, честолюбце, заговорщике", или же с представлением, гораздо более грозным по своим последствиям, о еврее-"богоубийце". Мы настоятельно отвергаем и осуждаем эти позорные оценки, которые, увы, ещё имеют явное или прикровенное хождение и в наши дни. Антисемитизм есть наследие языческого мира, но он усилился в христианском климате благодаря псевдо-богословским аргументам. Еврей заслуживает нашего внимания и нашего уважения, подчас нашего восхищения, иногда же нашей дружеской и братской критики, и всегда — нашей любви. Возможно, именно в этом ему более всего отказано и именно в этом более всего виновна христианская совесть.

б) Было бы богословской, исторической и юридической ошибкой считать еврейский народ нераздельно виновным в страстях и смерти Иисуса Христа. Уже катехизис Тридентского Собора отверг это заблуждение (Pag I, cap. 5,11). Если верно, что исторически ответственность за смерть Иисуса была в равной степени разделена между представителями иудейской и римской власти, Церковь утверждает, что в результате греха всех людей Христос в Своей неизмеримой любви предал Себя Своим страстям и смерти, чтобы все достигли спасения (Ностра Этате, 6).

В противоположность утверждениям очень древней, но спорной экзегезы, нельзя вывести из Нового Завета, что еврейский народ был лишен своего избранничества. Наоборот, всё Писание понуждает нас признать в заботе о верности еврейского народа к Закону и Завету знак верности Бога своему народу.

с) Ложно противопоставление иудаизма и христианства как религии страха и религии любви. основополагающий символ иудейской веры, Шема Исраэль, начинается: "Возлюби Господа Бога твоего" и продолжается заповедью любви к ближнему (Лев. 19,18). Это отправная точка проповеди Иисуса и, таким образом, общая заповедь для иудаизма и христианства.

Сознание трансцендентности и верности Бога, Его правды, покаяния и прощения грехов, являются основными чертами иудейского предания. Христиане, признающие те же ценности, впали бы в заблуждение, полагая, что сегодня нечего черпать из иудейской духовности.

д) В противоположность прочно утвердившемуся мнению следует подчеркнуть, что учение фарисеев не противно христианству. Фарисеи искали того, чтобы Закон стал жизнью для каждого еврея, истолковывая его предписания таким образом, чтобы приспособить их к различным обстоятельствам жизни. Современные исследования с очевидностью показали, что фарисеи никоим образом не были чужды внутреннему смыслу Закона, как и учителя Талмуда. Совсем не эти предписания опровергал Иисус, когда Он обличал многих из них, либо же формализм их поучения. Впрочем вероятнее всего, что именно из-за того что фарисеи и первые христиане были близки во многих взглядах, они с такой энергией спорили друг с другом относительно предания, принятого от Древних, и толкования Закона Моисея.

#### V. Приблизиться к правильному пониманию иудаизма.

Христиане ради самих себя должны приобрести истинное и живое знание иудейского предания.

а) Подлинный христианский катехизис должен подтвердить актуальную ценность всей Библии целиком. В действительности первый Завет не превратился в ветхий под воздействием нового. Он остается его корнем и источником, основанием и обетованием. Если для нас Древний Завет обнаруживает свой конечный смысл в свете Нового Завета, это лишь предполагает, что его следует принять и признать в первую очередь в нем самом (ср. 2 Тим. 3,16) Не забудем, что Своим послушанием Торе и Своей молитвой Иисус, еврей по Своей матери Деве Марии, совершил Свое служение в недрах народа Завета.

б) Попытаемся представить особую миссию этого народа как "освящение Имени". Это один из основных аспектов синагогальной молитвы, которой еврейский народ, облеченный священнической миссией (Ис. 19,6), приносит всякое человеческое действие Богу и воздает Ему хвалу. Это призвание делает из жизни и молитвы еврейского народа благословение для всех народов земли.

с) Недооценкой было бы видеть в предписаниях иудаизма одну лишь стеснительную практику. Его обряды являются жестами, порывающими повседневность существования и напоминающими тем, кто их соблюдает, господство Божие. Верующие евреи принимают как дар Божий Субботу и обряды, имеющие целью освящение человеческой деятельности. Вне своего буквализма последние являются для еврея

светом и радостью на пути жизни (Пс. 118). Они представляют особый способ "построения времени" и воздаяния хвалы за все творение в целом. Ибо в действительности всё существование должно быть принесено Богу, как напоминал святой Павел своим собратьям (I Кор. 10, 30-31).

д) Рассеяние еврейского народа должно быть понято в свете его собственной истории.

Если иудейское предание рассматривает испытания и изгнание народа как наказание за его неверность (Иер. 13,17; 20,21-23), то тем не менее, согласно письму, адресованному Иеремией переселенцам в Вавилон (Иер. 29,1-23), жизнь еврейского народа в рассеянии также имела положительный смысл, через все испытания еврейский народ призван "святить Имя" среди других народов.

Христиане должны непрестанно бороться с антииудейским и манихейским искушением, которое состоит в воззрении на еврейский народ, как на проклятый под тем предлогом, что он упорно преследовался в ходе своей истории. Напротив, согласно свидетельству самого Писания (Ис. 53,2-4), перенесение преследования часто означает результат и знак пророческого призвания.

е) В настоящее время труднее, чем когда бы то ни было, вынести спокойное богословское суждение о движении еврейского народа за возвращение на "свою" землю. Перед лицом этого мы прежде всего как христиане не должны забывать дар, некогда данный Богом Израильскому народу — землю, на которой он был призван собраться воедино (см. Быт. 12,7; 26,3-4; 28,13; Ис. 43,5-7; Иер. 16,15; Соф. 3,20).

В ходе истории существование евреев было постоянно поделено между жизнью среди народов и страстным желанием национального существования на этой земле. Это вдохновение ставит многочисленные проблемы перед самим иудейским сознанием. Чтобы понять это вдохновение и тот спор, который по всем направлениям вытекает из него, христиане прежде всего не должны поддаваться объяснениям той экзегезы, которая не признает общинных и религиозных форм жизни иудаизма, или же великодушных, однако скороспелых политических решений. Они должны учитывать то истолкование, которое дают сами евреи своему собиранию вокруг Иерусалима, которое они во имя своей веры рассматривают как благословение.

Этим возвращением и его последствиями сама справедливость подвергнута испытаниям. В политическом плане происходит столкновение разных требований справедливости. Но вне всякого законного многообразия политических альтернатив вселенское сознание не может отказать еврейскому народу, который перенёс столько превратностей в ходе истории, права и средств собственного политического существования наряду с другими народами. Тем более в этом праве и этих возможностях существования нации не должны отказывать тем, кто в результате местных конфликтов, вытекающих из этого возвращения, являются в настоящее время жертвами жестокой несправедливости. Потому с вниманием обратим взоры к этой земле, посещенной Богом, и выразим живую надежду, чтобы она стала местом, где смогли бы жить в мире все её обитатели, евреи и не-евреи. Так что основной вопрос, перед которым поставлены

христиане, как и евреи, состоит в том, будет ли в конце концов или нет, несмотря на весь драматизм, собрание рассеянного еврейского народа, которое совершается под принуждением гонений и посредством игры политических сил, одним из путей правды Божией в равной степени как для еврейского народа, так и для всех народов земли. Как христиане могут остаться безразличными к тому, что теперь решается на этой земле?

#### VI. Возрастать во взаимном познании и уважении (Ностра Этате, 4 § 2).

Большинство встреч между иудеями и христианами ещё и сегодня отмечено взаимным незнанием и подчас некоторым недоверием. Это неведение и недоверие были в прошлом и могут ещё быть в будущем источником тягчайших непониманий и многих зол. Мы считаем основной и настоящей задачей, чтобы священники, верующие и все ответственные за образование, на разных уровнях, работали над тем, чтобы привести христианский народ к лучшему пониманию иудаизма, его предания, его обычаев и его истории.

Первое условие требует от всех христиан уважения к еврею, какой бы ни была его манера быть евреем. Чтобы они стремились его понять, как он понимает сам себя, вместо того, чтобы его судить согласно своему собственному образу мысли. Чтобы они уважали его убеждения, его упования, его обряды и привязанность, которую он к ним питает. Чтобы они также признали, что могут быть различные манеры быть евреем, или признавать себя евреем без ущерба фундаментальному единству еврейского существования.

Второе условие состоит в том, чтобы во встречах между христианами и евреями было признано право каждого в полноте свидетельствовать о своей вере без того, чтобы быть заподозренным в желании оторвать нечестным образом личность от её общины и присоединить её к своей собственной. Такое отношение должно быть исключено не только ради уважения к другому, которое обязательно во всяком диалоге со всяким человеком, каков бы он ни был, но более того, по частному соображению, к которому как христиане, так и пасторы должны быть внимательны. Эта причина в том, что еврейский народ, как народ, был объектом "вечного Завета", без которого не смог бы возникнуть и "Новый Завет". Потому будучи далекой от того, чтобы стремиться к исчезновению иудейской общины, Церковь осознает себя пребывающей в поисках живых уз с нею. Великая открытость духа, недоверие по отношению к собственным предрассудкам и острое чувство психологической обусловленности индивидов являются перед лицом этих проблем необходимыми качествами пасторов. Если и имеют место в современном контексте "цивилизации без границ" личные шаги, выходящие за пределы детерминант двух общин, уважение, которое они друг ко другу питают, не должно быть этим поколеблено.

#### VII. Церковь и еврейский народ.

а) Еврейский народ обладает сознанием, что он через свое особое призвание получил универсальную миссию по отношению к другим народам. Со своей стороны Церковь полагает, что её собственная миссия может вписаться только в ту же самую вселенскую цель спасения.

б) Израиль и Церковь не являются дополняющими институтами. Перманентность Израиля и Церкви служит знаком незавершенности плана Божия. Еврейский народ и христианский народ находится таким образом в положении взаимного оспаривания, или, как говорит святой Павел, "ревности" в виду единства (Рим. II,14; ср. Втор. 32,21).

с) Слова Самого Иисуса и учение Павла свидетельствуют о роли еврейского народа в исполнении окончательного единства человечества как единства Израиля и народов. Так что сегодняшний поиск иудаизмом своего единства не может быть чужд божественной цели спасения. Тем более он не может быть чужд поиску христианами своего собственного единства, хотя эти два предприятия реализуются различными путями.

Но если евреи и христиане исполняют свое призвание, следуя различным путям, история показывает, что эти пути непрестанно пересекаются. Их общая тревога не относится ли к мессианским временам? Потому следует пожелать, чтобы они наконец вступили на путь взаимного признания и понимания и чтобы, отергнув свою древнюю вражду, они обратились к Отцу в едином порыве надежды, которая будет обетованием для всей земли.

## ГОНЕНИЯ НА ИЗРАИЛЬ (1942) \*)

(Догматический очерк)

Снова гонимыми являются сыны Израиля, вчера еще как будто торжествовавшие, правда, гонимыми не во всем мире, по крайней мере не в Америке, где они скорее еще торжествуют, однако в Европе, и снова уже в России. Неизвестно, когда оно, это гонение, остановится и чем кончится. Но сейчас уже оно становится жестоким и губительным, причем главными вдохновителями его и гонителями являются Гитлер и расисты. Гонение распространяется не только на взрослых, мужчин и женщин, но и детей, которые отделяются от родителей или же вместе с ними берутся в лагерь и ссылку, обрекаются на истребление. Снова и снова исполняются слова Христовы: «плачьте о себе и о детях ваших» (Лк. 23,29), «ибо, если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет» (31). А над всем этим снова и снова звучит страшный самоприговор Христовых распинателей: «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27,25). Однако ответом на это является и слово Павлово, что «ожесточение пришло в Израиле отчасти» (Р. 11,23), ибо наступит время, когда «весь Израиль спасется» (26). Есть начало и конец, избрание и призвание Израиля, как его новое возрождение после ожесточения, ибо «дары и призвание Божие непреложны» (Р. 11,29), и все обетования Бога, данные Аврааму, сохраняют всю свою силу. Но перед лицом этого гонения снова и снова возникает вопрос о судьбах избранного народа в его отвержении. Что оно означает для самого этого народа и чад его, о которых сказано самим Христом: не плачьте обо мне, но о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: «блаженны неплодные и сосцы не питавшие» (Лк. 23,29)? А далее и для всех: «тогда начнут говорить горам: «падите на нас», и холмам: «покройте нас». Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» (30,31). Такова мука и недоумение пред лицом происходящего, которые являют собой «тайну» (Рим. 11,25). Ибо они являют собой, с одной стороны, наказание Божие и отвержение, роковое последствие избранничества, не оправдавшего себя, но с другой, — и таинственное возрождение. Израиль и в отпадении своем не перестает быть народом избранным, сродником Христа и Пречистой Матери

\*) Публикуется впервые.

Его, и это кровное родство не прерывается и не прекращается и после Рождества Христова, как оно имело силу и до него, — вот факт, который надо продумать и постигнуть во всей силе его, в его догматическом значении, в применении к судьбам Израиля. Эта связь крови нерушима так же, как дары и избрание Божие непреложны, и даже в состоянии отвержения, — однако лишь временного — таково прямое свидетельство апостола Павла из Рим. гл. 11. Каковы могут быть основания для принятия этой истины и какие отсюда следуют из нее выводы? Надо понять идею родословной Христа как «Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф. 1,1), как Сына Богоматери, глубже и шире в применении к Израилю, как народу избранному, народу Божию, земным предкам Спасителя, но и не только к предкам, но и единоплеменникам в применении не только к прошедшему, но и настоящему, и будущему. Надо принять всю неразрывность этой связи, с начала человеческого рода, от Адама (согласно родословной Евангелиста Луки) и до конца истории. И эта связь не разрывается и не упраздняется отвержением Израиля, поскольку в нем, по апостолу Павлу, «если корень свят, то и ветви» (11.16) сей маслины Божией. Эта связь корня и маслины со Христом проявится в тот урочный срок, когда «весь Израиль спасется». Но вот основной вопрос, который при сем возникает: если земные предки Спасителя, участвуя в Боговоплощении по человечеству своему, тем самым имеют свою долю участия и в искуплении и со Христом состраждут, то сродники его по плоти после Его воплощения сохраняют ли эти связи, это свое участие в искуплении? Отделяется ли Христос от народа Своего, после того как он в Богорождении в Рождестве Богоматери как будто уже совершил свое дело, или же Он остается с ним соединенным?

### Родословная Христа.

По человечеству Своему Христос свидетельствуется евангелистом (Мф. 1,1) как «Сын Давидов, Сын Авраамов». Генеалогия св. Луки, излагаемая в обратном, восходящем порядке, также включает в себя оба имени: Давидово и Авраамово и постольку не отличается от первой. Обе генеалогии, как известно, различаются между собой в деталях, в общем числе перечисляемых предков, их имен, и вообще представляют собой известную схематическую стилизацию разного характера. Конечно, обе генеалогии не ставят целью историческую точность и полноту, и объяснение их известных различий представляет непреодолимые трудности. Однако при

всей этой разности исторической схемы и ее особой стилизации в первом и третьем Евангелиях, обе генеалогии содержат в себе определенные **догматические** идеи, хотя и выраженные в различной форме. Первая генеалогия Христа как сына Авраама, сына Давида, выражает мысль о принадлежности Христа к избранному народу, имеющему праотцем Авраама, отца народа, с которым Бог заключил Завет и дал ему обетование о том, что в нем «благословятся все племена земные» (8, 12, 37, 22, 18). Это есть свидетельство *особой избранности* Израиля, к которому по человечеству принадлежит Христос. Однако у Мф. этот Богоизбранный народ берется в своей особенности **вне** как бы общего контекста всемирной истории, всего человеческого рода. Здесь можно сказать самое большее, что он есть **один среди других**, из многих исторических народов, хотя и Богоизбранный. Генеалогическая схема 3 частей, каждая из 14 колен, построена на факте внешне-исторического значения пленения вавилонского, до него и после него (именно вторые и третьи 14 родов. Мф. 1, 17). Это есть схема национально-историческая, она дает удовлетворение иудейскому патриотизму, можно даже сказать, национализму.

Иного рода схема второй генеалогии (Лк. 3, 22-38). Она чужда национально-исторических и хронологических граней, также и того подчеркнуто царского и патриархального характера, собственного Евангелисту Матфею. Последняя, в силу того, в сущности своей может быть выражена в этих двух определениях: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова сына Авраамова» (1,1), причем это «сыновство» Давидово и Авраамово раскрывается в трех 14-коленных схемах в истории. Оба эти имени предков Христовых хотя и названы у Луки, но они здесь не выделены в качестве главной темы генеалогии, как у Матфея, но лишь включены в **общее** перечисление земных предков Спасителя (III, 31, 34). Но зато эта генеалогия продолжается **за** обоих этих предков или, соответственно ее восходящему характеру, восходит выше их. Куда же? Она возводится к патриархам послепотопным и допотопным, конец которых упирается в первочеловека Адама. Конечно, исторически эта генеалогическая схема не выдерживает прикосновения рациональной критики. Самый переход от истории к доисторической (и допотопной) эпохе есть догматическое **построение**, основанное на заведомо не-исторических, метаисторических, мифических (для эмпирического историзма) главах кн. Бытия (1-11). Однако верна не эта спорная или, вернее, даже бесспорная неточность этой генеалогической схемы, но ее **догматическая идея**. А идея эта состоит

в том, что еврейский народ, имеющий в гранях истории свою особую генеалогию, здесь через это его включение в историю всего человеческого древа, молчаливо провозглашается **сверхисторическим** или **внеисторическим**. Хотя он в истории эмпирически проявляется лишь в определенную эпоху, но его бытие восходит далеко за ее грани, и вообще он присущ бытию человеческого рода с самого его начала в Адаме. Хотя до Авраама история не знает еврейства, как особого народа, однако оно существует как основной ствол всечеловеческого древа, оно есть, можно сказать, сама онтология человечества. Древо это имеет разные ветви и отпрыски, но ствол его один, и в том нерасчленном, недифференцированном состоянии человечества, которое предшествует истории, этот ствол имеет в себе прямых предков Авраама и Давида, т. е. еврейство возводится к Адаму как первочеловеку. Таким образом догматическая идея генеалогии Луки состоит в том, что все человечество происходит от еврейского корня, или, вернее, в себя его включает. В этом смысле приходится сказать, что и сам первочеловек, Адам (конечно, вместе с Евой) был еврей, не в смысле принадлежности к этому одному из многих других племен и народностей, но в смысле универсальной единственности своей: все народные ручьи и потоки вливаются в него или из него исходят. Адам есть всечеловек, но он же есть и еврей, каковое еврейство и раскрывается в его историческом бытии, уже в образе Авраама, отца народов, и царя Давида. Угодно ли нам это или не угодно, но именно это свидетельствуется в евангельской родословной, включая в нее и книгу Бытия. Историческим сюда комментарием может явиться следующий факт. Хотя для еврейского народа устанавливается историческое бытие лишь со второго тысячелетия до Р. Х. (и в этом смысле он, конечно, представляет собой в этой древности своей настоящее чудо истории), однако он не является древнейшим из тех народов, которые знает история: египтяне, вавилоняне хронологически ему предшествуют (на основании, по крайней мере, существующих источников) на добрую тысячу лет.

Но эта историческая хронология может, конечно, и не противоречить тому строению человеческого рода, которое сокрывается в глубинах метаистории или онтологии человечества. Можно, во всяком случае, допустить, что исторически засвидетельствованное появление на арене истории древнейших народов еще не является изначальным, но имеет для себя предшествующее ему происхождение от изначального корня перво-Адама. Здесь, конечно, умолкает история, но свидетельствует откровение. Эта мысль, так сказать,

об еврействе перво-Адама, а вместе и всеАдама, всечеловека, совершенно и в точности соответствует христологическому догмату о Боговоплощении Христовом. Ибо человечество Христово исторически и конкретно и даже эмпирически соединяет Его именно с еврейством, Христос во плоти, по человечеству Своему, согласно Евангелию, был иудей, а вместе с тем воистину всечеловек, который в человечестве Своем в себе соединяет, в себя включает все народности всего человечества. Таким образом, это говорит одинаково как о личном еврействе самого Христа, так, вместе с тем, и о со-еврействе всего человечества в Нем. Во Христе, как в Богочеловеке, иудей во плоти, несть эллин или скиф, но все соединены во Христе.

Но она (историческая хронология) восходит у Луки (3,38) еще выше, к самому последнему основанию, именно, что Христос, как сын Адамов, есть сын «Божий». Иными словами, человеческая генеалогия возводится в небеса и утверждается в них. Бог, как Творец человека, творит его по образу и подобию Своему. И это есть Адам, который является в конкретном бытии своем как еврей. Отсюда необходимо заключить, что и полнота образа Божия в человеке дана в иудее, небесный первообраз человека на земле выражен в иудействе. Вот что содержит в себе генеалогия Христа и церковная догматика, в частности, и Халкидонский догмат.

### Тайна Израиля.

Сказанное участие Израиля в искуплении свидетельствуется одним Евангельским событием в церковном его истолковании, это именно избиение первенцев иудейских Иродом (Мф. 2, 13, 17). Событие это по ссылке Евангелиста предуказано было в пророчестве Иеремии, которое применимо к данному случаю. Этим свидетельствуется, конечно, его особая важность. Замечательно и его истолкование Церковью, которая прославляет младенцев (29 декабря), как мучеников за Христа. Что это истолкование в себе содержит? Согласно этой канонизации убиенных младенцев в чине мученическом, на них еще ранее страсти Христовой распространяется сила искупления: — Ирод их «содела мученики ... и граждане вышнего царствия», «лик младенцев приведеся мученическою кровию ... еже вселил их если во обители присноживотные» (стих. на Гос. воз.) ... «младенцев множество мученически, по Бози всех пострадавши, по чести страдания от него приемлет» (канон, п. 4), «сверстици дети страдальцы Христова воплощения» (п. 2).

Эта канонизация содержит в себе мысль огромного догматического значения, и именно в отношении к интересующему нас «еврейскому вопросу». Младенцы эти явились жертвой жестокости Иродовой, будучи чужды сознательности уже в силу своего возраста, к тому же и при отсутствии связи с Христом в его младенчестве. Конечно, есть особое таинственное избранничество этих младенцев (о нем дается намек в церковном песнопении: о Рахили здесь говорится, что она «веселится в недрах ныне видящи»). Но, помимо тайны этого личного избрания, остается еще факт общего значения, который относится к особой связи, существующей между избранным народом, как призванным нарочито послужить делу Боговоплощения, и самим воплотившимся Господом. Еврейский народ является живой родословной Христа Спасителя, которая свидетельствуется в первом и третьем Евангелии, как и всем вообще соотношением между Ветхим Заветом и Новым. Оба они в совокупности своей представляют собой две части евангельского повествования о пришествии в Мир Сына Божия, причем первая часть относится ко времени до Боговоплощения, вторая же к нему самому со всеми его последствиями. Хотя сама родословная Христа определяется и исчисляется лишь в ряду определенных лиц и поколений, однако это не замыкает ее, напротив, она должна быть понята в применении ко всему Израилю, что явствует из содержания ветхозаветных пророчеств, сюда относящихся. Личные предки Спасителя являются только **представителями** всего своего народа, носителя священной крови, таковой страшной тайне послужившей. Ветхозаветная святость предков Спасителя свидетельствуется церковью о многих и не входящих в список прямой родословной. Еврейство, как и все народы, состоит из совокупности разных индивидов, которые различаются между собой личными свойствами, однако эти индивидуальные различия не упраздняют органического единства крови и судьбы. Мало того, необходимо отнести принадлежность избранного народа, в качестве родословной Христа Спасителя, ко всей ветхозаветной его части: **все** ветхозаветное еврейство принадлежит к предкам Спасителя, прямо ли или косвенно. Об этом свидетельствует факт церковной канонизации, причисление к лику **христианских святых** многочисленных ветхозаветных праведников от Адама: патриархов, пророков, судей и различных угодников Божиих, о которых повествует ап. Павел в 11 гл. послания к Евреям (об этом же свидетельствует церковь их богослужебным почитанием в месяцеслове и проскомидийном чине). Вся же сила избранности и святости Израиля находит для себя личное выра-

жение в Приснодеве. Однако и она почитается церковью как даровавшая человечество Богочеловеку, не в личном только качестве своем, но и как Новая Ева, Дщерь и Матерь избранного народа. Израиль, от которого воспринял человечество Свое Богочеловек, есть единство и органическая связь — телесная, душевная и духовная, **всего** еврейского народа. В этом избранность избранного народа не отменяется всеми его падениями, единоличными и народными. Об этом свидетельствуют непререкаемо книги пророческие, с их беспощадными обличениями еврейскому народу, которые соединяются, однако, с неотменно данными ему обетованиями, «Заветом» Бога с Израилем во всей его непреложности, с такой энергией засвидетельствованные ап. Павлом. Израиль как ветхозаветная церковь принадлежит Христу, есть Его тело, Его человечество ветхозаветное, которое становится и новозаветным, включается в Церковь Христову силою самого Боговоплощения. Отсюда является очевидным, что это включение совершается не только здесь, на земле, но и за пределами земной жизни, силою «проповеди во аде», так сказать, загробного его крещения.

В контексте этого органического единства Израйля ветхозаветного только и может быть воспринимаемо и значение убиения младенцев Иродом, которые, как будто вопреки всякой внешней очевидности, признаются церковью мучениками Христовыми, с Ним и за Него пострадавшими. Здесь указывается наличие этой таинственной связи, соединяющей Христа с человечеством в избранном Его народе. Однако такая связь одним этим случаем не ограничивается и не исчерпывается, поскольку младенцы Израйля избивались и избиваются не одним только Иродом. По силе этой связи возникает общий вопрос о дальнейшем соотношении, существующем между Христом и Израилем в его избранничестве, уже после пришествия Христова в мир и отшествия из него, после совершившегося искупления. Оканчивается ли эта связь и это избранничество в Боговоплощении одним лишь пришествием Христа в мир и с основанием на земле церкви из всех языков? Отходит ли оно в прошлое, в Ветхий Завет уже упраздненный, или же сила его сохраняется, хотя уже в образе новозаветного, нового избранничества? Отменено ли и отменимо ли оно? На этот вопрос имеем прямой и категорический ответ у ап. Павла именно в том смысле, что «дары и избрание Божии непреложны» (Р. 11,12). Именно таковое соотношение сохраняется и теперь между избранным народом и всем христианским миром: «если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви» (16) и «не ты (говорит Апостол, обращаясь к

церкви языков) корень держишь, но корень тебя» (18). «Итак спрашиваю: неужто Бог отверг народ Свой? Никак. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал» (1-2). «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток» (5), чрез которого и весь Израиль спасется» (26).

О такой **непрерывности** избрания Израйлева свидетельствует Апостол, в свете этого свидетельства надо понимать другие, как будто ему противоположные указания, говорящие об отвержении Израйля.

Что же изменилось, что произошло в отношении Христа к избранному народу после того, как последний отрекся от Него? Вникнем в сказанное об этом в Евангелии и прежде всего в слова Самого Христа. После страшного обличения книжников и фарисеев, духовных вождей Израйля (Мф. 23) Господь обращается к Иерусалиму с приговором: **«сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен грядый во имя Господне» (23, 37-39. Лк. 13, 31-35).** Есть ли это разрыв и окончательное отчуждение? Или же это есть вынужденное разлучение, со всею его скорбностью, однако временное и в себе уже содержащее обетование грядущего воссоединения — в некоем апокалиптическом свершении? Последнее остается не открытым в образе своем, но не оставляет сомнений относительно своего наступления, и оно созвучно по смыслу указанному обетованию ап. Павла, его апокалипсису об Израйле, что «ожесточение произошло в Израйле отчасти (Рим. 11,25) и лишь до времени».

Далее идет страшное повествование о предании Христа на распятие по настоянию вождей израильских и наушаемого ими народа: «распи, распи Его». Может показаться, что это требование является всенародным: у Мф. 27,22 сказано: «говорят ему (Пилату) все: да будет распят» и, далее, отвечая ему, весь народ сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших». Однако надо взвесить все слова этого страшного и рокового текста: звучащего как самоприговор над Израйлем: есть ли это действительно полное самосознание всего народа, в котором, однако, таится грядущее иудео-христианство апостольской церкви, или же это есть голос части его, городской иерусалимской толпы, настроенной ее вождями (1). Но тогда он был голосом всего народа даже здесь в Иеру-

(1) Об этом прямо и говорится у Мф. 27,20: «но первосвященники

салиме: ведь среди него было столько свидетелей чудес и учения Христова, толпами следовавшими за Ним во время Его служения. Об этом достаточно свидетельствует евангелист Лука (2), так повествующий о распятии: «и весь народ, шедшийся на сие зрелище, возвращался, бия себя в грудь. Ранее же так говорится о шествии ко кресту: «и шло за ним множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем» (Лк. 23,48,27).

И к Нему-то обратясь, изрек Господь Свои милосердствующие и вместе пророческие слова: «Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших» и так далее (23, 27-31).

Итак, прежде всего здесь происходит в народе разделение и даже до противоположности: одни плачут и рыдают о Нем, другие неистовствуют: «кровь Его на нас и на детях наших». Это же разделение простирается и на грядущую судьбу Израиля, которая для одних является неизбежным последствием принятой ими вины, как «строгости к отпадшим» (Р. 11,22), а для других же судьбой печальной и страшной, хотя и спасительной. Это единые судьбы **единого и избранного народа Божьего**, «который Он наперед знал», даже в его ожесточении, которое описывается самыми тяжелыми чертами, заимствованными из ветхозаветных пророков: XI, 3, 8-10. Падение их есть (подобно как и падение Иуды) богатство миру, и оскудение их богатство язычникам (11). И хотя Бог проявил строгость к отпадшим» (22), но «они, если не пребудут в неведении, привьются, потому что Бог силен опять привить их» (23) и «ожесточение произошло из Израиля отчасти, до времени ... и так весь Израиль спасется» (25-26). Такова трагическая антиномия судеб избранного народа в истории. В ней соединяются последст-

и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить». И вот об этой-то городской черни, жертве демагогии вождей и сказано ниже: «весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших», из всего общего евангельского контекста (у Матфея и Иоанна совсем отсутствуют аналогичные данные о народе) с необходимостью следует, что весь народ как здесь, так и ниже, означает лишь «все окружающие здесь и присутствующие».

(2) Это же разделение среди иудейского народа выражено и в повествовании о шествии в Эммаус, во время которого говорят Своему спутнику ученики: «Иисус Назарянин был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиль» (Лк. 24, 19-21)

вия вины, вольно принятой в ожесточении, но ставшей судьбою и роком («на нас и на детях наших»). При этом по слову Господа эта вина ложится на плечи как принявших вину, так и не принимавших ее и ей даже чуждых.

Однако эта единая судьба связана и с духовным обращением Израиля, которое, однако, может быть лишь делом свободной его воли. Он в отпадении своем является виновным и невиновным одновременно, но «дары и избрание Божие остаются непреложными» (29). И самой таинственной стороной из судеб Израиля остается именно его единство. Благодаря ему вина одной лишь его части, вождей, является **судьбой** и для всего народа, и эта часть говорит от лица своего народа, призывая на себя проклятие христубийства и христорборчества. Но это же единство имеет для себя и другую положительную сторону: **весь** Израиль спасется силою спасения его «святого остатка», хотя и до времени этот остаток и сокрыт в Израиле **отпадением**. Таким он и ныне предстоит пред лицом мира. В теперешнем его состоянии его самосознание вырождается в еврейский расизм, национальное идолопоклонство, завистливую пародию на который представляет собой расизм германский. Безбожный или же христорборческий национализм избранного народа есть, конечно, жуткая картина, но сила его все-таки состоит в единственности его избранничества, которое остается непреложным, даже пребывая в состоянии вырождения или искания. Так трагично и антиномично самое бытие Израиля, еще не осуществившего своего призвания и не явившего своего святого остатка. Потому он есть камень преткновения для всех народов, страшное искушение о христианстве для христианствующих помимо и без Израиля. Ибо болезнь Израиля есть болезнь и всего христианства, которое не может и не должно от него отвернуться, не отвернувшись тем самым и от сына Давида и Авраамова.

### Христианство без Израиля.

Христианство без иудеохристианства себя до конца не осуществляет, остается неполным. Оно может обрести свою полноту лишь соединившись с иудеохристианством, каким это и было в церкви апостольской, ибо эта последняя была именно таковою. Господь избрал своими апостолами и послал на проповедь научить и крестить **все** языки — именно своих единокровных соплеменников, но не кого-либо другого. И первенствующая церковь иерусалимская была иудеохристианская. После этого и не взирая на это, Из-

раиль Христа отвергся, церковь же оказалась церковью языков без Израиля. Это обрекло мир на христианство без центрального своего ядра, а отвергшийся Христа Израиль на агасферизм и на христорборчество духовное. Образ Израиля в этом состоянии является роковым и страшным. С одной стороны, он является гонимым именно со стороны христианских народов, причем это гонение принимает время от времени жестокие и бурные формы, — преследования и ненависти до истребления, таковы еврейские погромы даже до сего дня, а с другой стороны, он сам остается явным или тайным гонителем Христа и христианства, до его прямого и лютого преследования. Но то и другое есть еще не самая тяжелая сторона в его судьбе. Худшая же заключается в том, что отвергшийся Христа Израиль вооружается оружием мира сего, занимает его престол. Вся неодолимость стихии еврейства, его одаренность и сила, будучи направленными к земному владычеству, выражается в культе золотого тельца, ведомого ему еще изначально в качестве ветхозаветного искушения еще у подножия Синая. Власть денег, маммона являются всемирной властью еврейства. Этот неоспоримый факт не противоречит тому, что значительная, даже большая часть еврейства и донныне пребывает в глубокой нищете, нужде, в борьбе за существование, которая не находит для себя естественного исхода за отсутствием собственной страны, в силу агасферического рассеяния, состояния «вечного жида». Другое же проявление власти князя мира сего выражается в лжемессианском пафосе, в ожидании будущего, земного мессии на месте Отвергнутого и Распятого. По силе этого мессианства и всей его пламенности сыны Израиля оказываются в ряду вдохновителей безбожного материалистического социализма наших дней.

Столь же противоречиво и духовное состояние Израиля. С одной стороны, в состоянии антихристианства и христорборчества Израиль представляет собой лабораторию всяких духовных ядов, отравляющих мир и в особенности христианское человечество. С другой же — это есть народ пророков, в которых никогда не угасает дух пророчества и не ослабевает его религиозная стихия. Однако в состоянии ослепления это есть христианство без Христа и даже против Христа, однако Его лишь одного ищущее и чающее. В этой духовной аберрации сохраняется чаяние грядущего мессии при неведении о Пришедшем. Эта сила и вдохновение, живущая и действующая в избранном народе даже и в состоянии отверженности, есть Ветхий Завет, продолжающийся при Новом и вопреки ему. Это есть продолжающееся странствие в пустыне в

землю обетованную, искание Христа в борьбе с Ним и неведении Его.

Такова судьба Израиля в ее единственности и целостности, в которой соединяется материализм и высота духовного напряжения пророческого, не находящая для себя равного. И все это оказывается одна общая судьба одного народа.

Такова историческая и эмпирическая очевидность, имеющая для себя силу факта. Но за этим фактом стоит некая высшая действительность, которая и есть **тайна** судеб Израиля, а с ним и всего мира. И тайна эта есть сила «родословной» Христа, который Израилю единоплеменен, и в этой своей единоплеменности «не совлекся и не отрекся». «Им принадлежит усыновление, и обетования, их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки» (Рим. 9, 4-5).

Еврейство и в состоянии отверженности находится в нерушимой связи с христианством, с единством **конечной судьбы**, которая, однако, не может совершиться, пока не осуществится это единство, не раскроется его сила. Христос не придет в мир, доколе не будет призван воплем всего мира: «ей, гряди, Господи, Иисусе», но в этот вопль ранее должно включиться и Израилево: «осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!». Но это не может явиться как бы внезапным и неожиданным событием, которое противоречило бы всей его истории и ниспровергло бы все его судьбы, напротив, оно будет зрелым плодом, который таинственно созревает на корне маслины природной. Это-то сокровенное созревание вносит **непрерывность** в историю Израиля, которая ведет к тому, что «весь Израиль спасется», но, следовательно, уже и **спасается и ныне**. Такова эта **тайна** о его спасении. Иногда тайна эта не выходит на поверхность, не становится постижимой и осязаемой, однако дается ее **откровение**. Почему, чем и как спасается Израиль, в чем этот «святой остаток», как понимают эту непрерывность избрания Божия? Будем искать ответа на этот вопрос в Евангелии.

У креста совершалось разделение Израиля на две части. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем» (Лк. 23,27). Напротив, другие в злом единогласии «говорят ему — Пилату — все — да будет распят» (Мф. 27,22), и «отвечая, **весь** народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (25). И изрек Свое пророчество: «сколько раз хотел я собрать детей твоих ..., но вы не захотели ... не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: «Благословен Грядый во имя Господне» (Мф.

23,39), но они еще не воскликнули. И это была определена Судьба Израиля. И тогда же Господь, обращаясь к плачущим и рыдающим о Нем, произнес Свое слово: «Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях наших» (Лк. 23,29). Это значит, что судьба **всего** Израиля достойна слез, одинаково как распинающих Христа, так и плачущих о Нем, ибо Израиль один, но есть единая маслина, о которой говорится далее Господом «если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет» (31). К чему относится это противопоставление зеленеющего и сухого? Очевидно, первое относится к пребыванию Христа на земле и к Его приятию, последнее к Его удалению от земли и отвержению и, однако, все «сухое» дерево ожидает одна общая судьба, которая и изображается с такой неумолимостью в словах Господа. Для одних, отвергающихся это есть возмездие, для других же, в том неповинных, — роковая судьба единого Израиля.

Это раздвоение именно продолжается и после пришествия Христова в состоянии отверженности Израиля, его христорства и служения князю мира сего. Оно содержит и земное торжество, земные победы, но и роковые его судьбы. Спрашиваем себя, что же таится в этих судьбах. Если родословная Христа была предварением боговоплощения, которое она собой предуготовляла, то каково же в нем участие Израиля после уже совершившегося, но и продолжающегося, пребывающего боговоплощения? Здесь необходимо не только разделить, но и отождествить это участие всего единого Израиля. Он не стал чуждым и посторонним делу Христова воплощения, но сохраняет неопознанную и таинственную с Ним связь. Если «свет и откровение языков и слава людей твоих Израиля» явлены были праведному Симеону, державшему на руках уже родившегося младенца Христа, то это значит, что они распространяются на Израиль и после этого рождения. Такая слава, однако, не есть даровое преимущество, данное этому народу, но это есть его избранничество для участия в деле **искупления человечества**. Это-то участие и есть тайна его судьбы, совершающаяся в истории, в жизни древа сухого и зеленеющего. В нем неизменно сохраняется «святой остаток», «силою коего» весь Израиль спасется.

Как понять эту антиномию: **совершившееся** уже искупление человечества крестною жертвою Господа Иисуса Христа и совершающееся, еще продолжающееся? В ней проявляется соотношение времени и вечности, становления и бытия. **Полнота** спасения включает не только силу его, но и образ совершения, Ветхий Завет и Новый, а в нем и еще новейший, «последние времена», всю

священную историю Нового Завета. Христос прославленный и воскресший и одесную Отца сидящий, пребывает и на земле и людях Своих, с Ним соединенных через вочеловечение Его, с ними Он и еще состраждет, сораспинается. Воскресение, вознесение и прославление Христа не означает ни оставления Им человечества, ни разрыва с ним! Относительно Успения и Вознесения Пресвятой Богородицы Церковь прямо учит не только о неусыпающей молитве о нас Богородицы, но и о плаче Её о мире и с миром и даже схождения в мир с участием Ее в его муках. Отсюда делаем применение к судьбам Израиля как особом кресте Богоматери (см. мой очерк на эту тему в приложении к «Крест Богоматери»). Применимо ли аналогичное заключение и к Господу? Сила искупления должна быть понята не только интенсивно, в его средоточии в земном служении в **едином** акте Гефсиманского борения и Голгофской смерти, но и экстенсивно, в смысле сострадания Христа со страждущим человечеством, и постольку с избранным народом, с ним нарочито связанным. Основная идея церковного года с его временами и сроками, памятями и празднованиями ведь в том именно и заключается, что земная жизнь и земная страсть Христова не только закончилась в своем совершении, но и повторяется в своем **как бы**, его и на самом деле надо и буквально понять, как соединение земного пути воплощения Господа с небесной славой Его. Одним словом, искупление продолжается вместе с историей мира, и будет продолжаться, доколе она не совершится в полноте своей. Как понять это соединение совершившегося с совершающимся, небесной славы и земной страсти, это есть тайна смотра Божия и жизни Божией, кенозиса Христова, во всей его широте и глубине (1). Но он должен быть понят именно так. Да как же иначе и можно понять то самоотождествление Христа с каждым из страждущих и болезнующих, о котором Он сам свидетельствует на страшном суде Своим по отношению ко **всему** человечеству. Однако в нем, этом последнем, по прямому свидетельству откровения, как и самого Господа, особо выделена избранная часть человечества. Господь свидетельствовал во дни Своего земного служения, конечно, как и после него: «сколько раз хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья» (Мф. 23,37). И,

(1) Не об этом ли свидетельствует кондак Вознесения: яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и волия любящим Тя: аз есмь с вами, и никтоже на вы.

конечно, с этой избранной частью Господь нарочито состраждет, делит судьбы его, доколе не совершится его спасение.

Такова христологическая сторона судеб Израиля. Ясны те выводы, которые могут быть отсюда сделаны относительно гонителей Израиля: они гонят Самого Христа в нем, так же как и сами евреи, поскольку последние христорствуют, противясь своему собственному избранию ... Поистине «всех заключил Бог в непослушание — каждого по-своему, — чтобы всех помиловать» (Р. 11,32).

Так и должны мы, христиане, чувствовать и переживать судьбы Израиля, чувствуя и здесь прикосновение к непостижимой тайне смотрения Божия, и такова должна быть непрестанная христианская молитва о спасении Израиля, образ коей явил сам Господь, молившийся о своих распинателях: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23,31).

Однако в самом том гонимом и страждущем Израиле мы не можем не различить как слепотствующих и, в свою очередь, гонящих Церковь и распинающих Христа, так и ту избранную часть «святого остатка», которая, будучи гонимой вместе с Израилем, в то же время является гонимой за Христа, подобно младенцам Вифлеемским. Мы разумеем то **иудеохристианство**, которое уже существует в начатках своих, неся миру явление Церкви Христовой в ее силе и славе, обетованной пророками и чаямой христианами, не ослепленными враждою. Этим нарочитым избранником Христовым дано понести тяжесть двойного креста: своего христианства по отношению к его гонителям, как и своего христианства по отношению к своим же единокровным, но не единоверным братьям, к своему народу, от Христа отвергшемуся. Удел их есть поистине пророчесственный, но вместе и мученический. Им дано распинаться за Христа и со Христом. Они не имеют здесь пребывающего града, но грядущего взыскуют. В них открывается сила грядущего.

М. С. АГУРСКИЙ

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ЖУРНАЛ «ВЕЧЕ»

Среди различных течений, наблюдаемых в современной общественной жизни России, не могло не появиться течение, взявшее своею целью отстаивание русских национальных интересов. Это течение группируется вокруг журнала «Вече». Сам факт того, что в условиях огромной страны с преобладающим русским населением, что, казалось бы, само по себе обеспечивает русские национальные интересы, могло возникнуть вне официальной поддержки такое течение, говорит о том, что в существующей политической линии страны эти интересы приносятся в жертву другим целям, зачастую чуждым коренным интересам русского населения.

Это и обуславливает характер русского национального движения, хотя, в отличие от всех других неофициозных течений, его программа меньше других расходится с существующим порядком вещей.

Это течение еще очень молодо и находится лишь в стадии формирования. Поэтому было бы крайне желательным указать ему на возможные ошибки, которые могли бы оказаться вредными как для него самого, так и для других течений, которые в противном случае могли бы явиться его союзниками. Одной из таких ошибок, по нашему мнению, является отношение к еврейскому вопросу, и к сионизму в частности, где русское национальное движение по инерции пытается следовать скомпрометировавшими себя путями дореволюционных национальных партий: Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела.

Попытаемся объективно показать, в чем именно ошибочность такого отношения. Как известно, русское национальное движение имеет свою историю, уходящую корнями в славянофильство. Однако, раннее славянофильство, впервые провозгласившее лозунг: «Православие, самодержавие, народность», не имело никаких организационных форм и существовало лишь в виде идеологичес-

(1) Михаил Самуилович Агурский, примерно 41 год, инж.-кибернетик, автор рецензии на кн. Ю. Иванова «Осторожно, сионизм!» (М., 1969), англ. перевод см. «Нью-Йорк ривью оф букс», 16.11.72. Агурский выступал в защиту Евгения Барабанова (см. ЮПИ, 22.9.73) и Солженицына (14.2.74).

кого течения. В начале 20 века, в момент разгара революции 1905 г., впервые в русской истории появилась национальная политическая партия, использовавшая вышеуказанный лозунг как свою политическую программу. Эта партия, получившая название — «Союз Русского Народа», ставила себе целью борьбу с революционным движением в стране; борьбу с либеральными течениями и, особенно, с попыткой установления в России парламентского строя; укрепление русского государства на всех национальных окраинах; сплочение русского народа вокруг престола. Союз Русского Народа выдвинул также и ряд умеренных социальных требований, направленных на облегчение положения рабочих и крестьян. Однако, всю сложность политических, экономических, социальных и национальных факторов, вызвавших революционный кризис, Союз Русского Народа, а затем отделившийся от него Союз Михаила Архангела сводили фактически к одному, а именно, к борьбе против еврейского населения страны, которое одно, по мнению руководителей этих партий, было виновно в создавшемся положении. Идеологи Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела усматривали также наличие всеобъемлющего масонского заговора, направленного против России, причем евреи отождествлялись в их представлении с этим заговором, который они называли «жидо-масонским».

В своей борьбе против евреев руководители СРН и СМА не останавливались ни перед какими средствами. Их антиеврейская пропаганда носила самый разнузданный и прямо хулиганский характер, причем полностью противоречила слову «Православие», стоявшему на первом месте в их основном политическом лозунге. На страницах печати этих партий прямо отрицался Ветхий Завет, являющийся неотъемлемой частью христианской религии; допускались кощунственные выходки в адрес ветхозаветных пророков, царей и патриархов; подвергалось нападкам православное духовенство, осуждавшее подобное отношение этих партий к религии и церкви.

Вследствие этого подавляющее большинство духовенства было настроено враждебно по отношению к этим партиям, что вызвало длительный конфликт между ними, главной причиной которого было откровенное неуважение СРН и СМА к религии и церкви. В то же время немногие антиеврейские агитаторы из среды духовенства, примкнувшего к национальным партиям, впоследствии тем или иным образом скомпрометировали себя. Что, например, можно сказать, о архимандрите Виталии (Максименко), на-

местнике Почаевской Лавры, который, ставши в эмиграции епископом Русской Православной Церкви в изгнании, обратился в 1941 г. к президенту США Рузвельту с призывом не помогать СССР в войне против Германии? Или же о печально известном иеромонахе Илиодоре (Труфанове), который страстно призывал к еврейским погромам, а затем, в 1912 гг. отказался от сана и религии и стал поклоняться Солнцу, а впоследствии, в тридцатых годах, находясь в эмиграции в США, вступил в Ку-Клукс-Клан? А эти лица были самыми резкими антисемитскими агитаторами. Так, например, на страницах издаваемых архим. Виталием «Почаевских известий» заурядным явлением были статьи с заголовком: «Куда суешь свое жидовское рыло?». Напомним, кстати, что наиболее одиозные статьи Илиодора часто публиковались именно на страницах газеты «Вече», название которой было выбрано за прообраз для современного русского национального движения.

Невозможно отрицать несомненный факт наличия глубокого национального конфликта между русским и еврейским населением страны.

Однако, если объективно рассматривать причины этого, легко видеть, что еврейский вопрос в России, равно как и другие национальные конфликты, был порожден территориальными захватами русского государства, начатыми Петром I, хотя они отнюдь не были единственной причиной в развитии революционной ситуации в стране. Вплоть до царствования Екатерины II и раздела Польши на территории России евреев не было. Они в больших количествах поехали в нее благодаря присоединению бывших польских территорий. Захватив Польшу, Россия тем самым унаследовала две бомбы замедленного действия: польский и еврейский вопросы, которые в течение 19 и 20 веков сотрясали страну и существенно ее расшатали.

Хорошо известно, что вплоть до середины 19 века русское правительство старалось теми мерами, которые оно считало подходящими, вывести евреев из состояния замкнутости и просветить их, чему евреи долгое время упорно сопротивлялись. В этот период евреи не только не стремились к равноправию с русскими или к тем или иным гражданским правам, но, напротив, всячески старались изолироваться от них.

Однако, увеличение неизбежных контактов с образованной частью русского населения, настроенной, как правило, либераль-

но; влияние примера западноевропейских евреев, вышедших уже из состояния самоизоляции, породило стремление к просвещению и среди русских евреев. Однако, это стремление, ранее безуспешно культивировавшееся сверху, сразу натолкнулось на враждебное отношение, ибо оно не могло быть реализовано в рамках тогдашней черты оседлости. Для того, чтобы получить образование и применить его на практике, евреи были вынуждены стремиться за пределы черты оседлости, в которую даже не входил Киев. Кроме того, в условиях развития капитализма в послереформенный период стали активизироваться и еврейские капиталисты, захватившие к концу 19 века доминирующее положение в западных районах России. При этом подавляющее большинство остального еврейского населения жило в условиях страшной нищеты.

Все это усугубило глубокий национальный конфликт, питавшийся старинным религиозным отчуждением, ибо с одной стороны ломка старых общественных отношений, развитие образования и т. п. резко противоречили черте оседлости, оставшейся в наследство от раздела Польши, а с другой стороны внезапное появление большого количества евреев в тех сферах русской жизни, в которых они ранее не участвовали, вызвало недовольство широких слоев населения.

Помимо черты оседлости, огромное влияние на еврейское население оказывало и резкое его ограничение в правах по сравнению с другим населением страны. Еврей мог перешагнуть этот барьер путем крещения, но ежегодно число крещений никогда вплоть до 1916 г. не превышало 1500 человек, причем, разумеется, большая часть этих людей оставляла иудаизм не в силу внутреннего убеждения. Подавляющее большинство евреев не желало покупать гражданские права ценой религиозного отступничества.

Падение религии в стране, начавшееся среди русского дворянства еще в 18 веке, постепенно захватило и еврейскую молодежь. Ортодоксальные еврейские круги были бессильны против массового влияния атеизма русской интеллигенции на еврейскую молодежь, как бессильно было против атеизма русской молодежи православное духовенство. Ярким примером тому служит то, что первое поколение русских нигилистов, а также широкие круги революционной интеллигенции формировались преимущественно из семинаристов, т. е. лиц, воспитанных в семьях духовенства и в духовных школах.

Иногда еврейские религиозные круги старались сблизиться с православными в попытке сопротивляться атеизму, но встреча-

ли полное непонимание. Так, например, в 1870 г. евреи г. Кременец, где имелась православная духовная семинария, направили прошение в Синод с тем, чтобы их детям разрешили учиться в этой семинарии без принятия христианства, поскольку семинария давала те же права, что и гимназия. Причиной этой странной просьбы является то, что кременецкие евреи считали гимназии рассадниками безбожия. Однако им было в этом отказано.

Начиная с раздела Польши, в России, несмотря на старинную религиозную отчужденность и враждебность к евреям, еврейских погромов не было. Однако в 1881 г., когда влияние религии и церкви сильно упало, а национальные конфликты усилились, началась волна погромов, бушевавшая в течение нескольких лет, несмотря на резкое противодействие властей и широкую проповедническую деятельность духовенства. В результате погромов пострадали беднейшие слои еврейского населения Украины, в то время как богатые евреи сумели спасти свое имущество. В ходе погромов погибло много людей.

Именно тогда наиболее дальновидным представителям еврейского народа, к которым, в частности, принадлежал Перец Смоленский, стало ясно, что с течением времени конфликт между русским и еврейским населением страны будет усиливаться, а не ослабевать, как полагало большинство русских и еврейских либералов. По мнению Смоленского и его единомышленников, единственно правильным выходом из создавшегося положения явилось бы возвращение евреев в Палестину, на землю своих отцов, где они смогли бы, несмотря на все трудности, начать полноценную национальную жизнь.

Это и было началом того, что впоследствии было названо сионизмом. Однако, лишь немногие евреи откликнулись на этот призыв в то время. Тому были две причины. Первой из них было господство либеральных иллюзий в среде русского общества, что только недостаток просвещения и, более того, наличие религиозной веры — является причиной враждебности к евреям. Как только, считали либералы, просвещение воссияет на всей территории России, а религия исчезнет, исчезнут и всякие корни национальной вражды. Этими иллюзиями была охвачена и образованная часть евреев, которая к тому же жадно стремилась к ассимиляции среди русского населения и культуры.

Что касается необразованной части еврейского населения, она в своем отношении к сионизму находилась целиком под влиянием ортодоксального раввина, который в тот период категори-

чески возражал против сионизма на том основании, что евреи должны вернуться в Святую Землю не иначе, как по непосредственному личному призыву Мессии. Раввины считали сионистов богоборцами.

Именно поэтому сионизм на первых порах имел столь слабое влияние среди еврейского народа России. Лишь немногие энтузиасты-интеллигенты ехали в Палестину, организуя там первые земледельческие колонии, потом и кровью возделывая запущенные земли. Сионизм стал вырастать в реальную силу лишь в 1896 г., после взрыва антисемитизма в Западной Европе против, казалось бы, почти ассимилированных евреев в странах с гораздо более высоким уровнем просвещения, чем в тогдашней России. В этих условиях один совершенно ассимилированный австрийский журналист Теодор Герцль под впечатлением волны антисемитизма выступил с идеей создания Еврейского государства. Герцль, как и все основоположники политического сионизма, был безразличен к религиозным вопросам. Ему было все равно, где будет такое государство: в Палестине или Уганде. Первый сионистский конгресс состоялся в Базеле в 1896 г. От него и ведут отсчет истории политического сионизма.

С самого начала своего возникновения политический сионизм поставил своей целью неучастие в политической жизни стран еврейского рассеяния с тем, чтобы искать там улучшения положения евреев. Все усилия сионистов были направлены на еврейскую эмиграцию в Палестину, для чего требовалась огромная дипломатическая подготовка, поскольку хозяином Палестины являлась в тот момент Турция. Герцль и его соратники пытались заручиться поддержкой всех тогдашних великих держав, включая Россию. Первые два-три года политического сионизма прошли практически незамеченными в России.

Лишь примерно в 1899 г. появились первые отклики на возникновение сионизма. Либеральные и левые круги отнеслись к нему крайне враждебно, как к опасной политической утопии. В то же время националистические и правые круги говорили о сионизме с недоверием и насмешкой. Так например, известный русский националист С. Шарапов писал: «Еврей в земледельца не превратится, а без того, на что же ему старая родина?.. Предоставленные себе, скученные в одном месте, евреи погибнут или разбегутся... Если в эту новую Палестину мы не пустим наших христианских рабочих, она не просуществует и года, ибо ее

обитателей ничем на месте не удержишь» (С. Шарапов, «Мирные речи», М. 1901).

Правая газета «Свет» писала по поводу съезда сионистов в Минске: «Кагал, прикрываясь именами сионизма и затемняя свои стремления к обособлению шумихой выкупа Палестины в неизвестном будущем, растет и растет». (Цитируется по «Церковному вестнику», 1901, № 36).

Единственными нееврейскими кругами, где сионизм был встречен всерьез и с сочувствием, оказались некоторые церковные круги. Так, в 1902 г. в журнале С.Петербургской академии «Церковный вестник» появилась достопримечательная редакционная статья (№ 37). В ответ на заявление газеты «Свет» было сказано: «Хотя сионизм и не чужд той оборотной стороны, на которую было указано на страницах нашего журнала, однако было бы непозволительной односторонностью, противоречащей всем законам философии истории, смотреть на него только с этой именно точки зрения».

«Было бы странно, — говорилось в статье, — если бы народ, несомненно один из самых замечательных в истории, имевший необычайное влияние на все человечество и привыкший считать себя избранным народом, навсегда удовлетворился тем положением, в котором он находится. Несмотря на все превратности своего исторического бытия, на все унижение, которому он подвергался от других народов, он никогда не переставал смотреть на себя как именно на народ избранный, предназначенный к высоким задачам исторической жизни. Поэтому в его душе никогда не погасала мечта, что настанет время, когда разбросанные мертвые, так сказать, кости народа опять соединятся в один целый организм, который потребует для себя особого государства, особой территории, где он мог бы вновь начать историческую и государственную жизнь. И вот, по-видимому, теперь наступило время для осуществления этой мечты, и она нашла себе замечательное выражение в движении, получившем название сионизма».

Главная задача сионизма, как показывает само его название, заключается в том, чтобы израильский народ, теперь рассеянный по всему миру, опять собрать к центру его исторической жизни, именно к Сиону, и так или иначе вновь водворить его в обетованной земле, или в Палестине. Уже то, что взоры всего еврейского народа вновь обращаются именно к Сиону, а не к какой-нибудь другой стране, хотя бы представлявшей более земных

благ, показывает, сколько возвышенного идеализма заключается в этом движении».

«Что с христианско-богословской точки зрения, — говорилось далее, — сионизм не заключает в себе никакого противоречия со Св. Писанием, как это хотели доказать берлинские раввины, это доказать не трудно. Народ, избранный для великой мировой задачи, — распространения истинной веры в мире, каковую задачу он в значительной степени исполнил, подготовив языческие народы к принятию христианства, не мог навсегда сойти с исторической сцены, даже после великого и тяжкого преступления, совершенного им на Голгофе. Об этом прямо свидетельствует ап. Павел, который посвятил судьбе родного ему народа XI главу своего Послания к Римлянам».

Журнал, отражавший взгляды богословов Петербургской духовной академии, давал сионизму исключительно высокую оценку. «И с высшей провиденциальной точки зрения, — утверждалось в статье, — что может быть выше зрелища народа, который, воспрянув от многовековой спячки и сбросив с себя иго рабства, — политического ли, или нравственного, — вновь становится свободным в своей собственной земле? Не единственное ли в своем роде будет в истории зрелище, что после пребывания в рассеянии и в плену у чужих народов, Израиль, этот народ Божий, вновь восчувствует свою историческую задачу, сознает себя одним народом и, одушевленный одной идеей, соберется со всех концов земли и возвратится в принадлежащую ему, в силу вечного обетования, землю?»

За развитием сионизма с большим вниманием следило все тогдашнее академическое богословие. Так, например, в «Трудах Киевской Духовной академии» регулярно помещались отчеты о сионистских конгрессах профессора-протоиерея А. Глаголева, который, как и другие православные богословы, в первое время надеялся, что сионизм приобретет религиозную окраску, и как религиозное еврейское движение, явится предзнаменованием эсхатологических событий. Тем не менее, он давал сионизму положительную оценку. «Если вообще религиозный момент выступает в сионистском движении весьма слабо, то мессианская идея едва ли не совсем чужда этому движению, хотя бесспорно национальный характер сионистского движения роднит его с религиозно-национальными движениями евреев прежнего времени», — говорил Глаголев (Тр. КДА, 1905, № 4). Глаголев сожалел, что у большинства сионистов имеется «индифферентное отноше-

ние к религии, полное пренебрежение к «сионизму молитвенников». Между тем, только религия и богослужение поддерживают в евреях живое стремление к Сиону и будят в евреях воспоминание о прошлом мироисторическом значении еврейского народа» (там же).

Позднее Глаголев писал (Тр. КДА, 1906, № 2), что «под флагом сионизма соединились два совершенно несовместимых одно с другим мировоззрения: идеалистическое с религиозным и романтическим тяготением к Палестине и с верою в мировое призвание еврейского народа и материалистическое, совершенно игнорирующее те психологические невесомые факторы, и склонное действовать лишь средствами материально-культурными».

Проф. Петербургской духовной академии И. Г. Троицкий, возражая против передачи святых мест исключительно в руки евреев, вместе с тем видел положительное значение сионизма в том, что он пробудит в еврейском народе национальное самосознание. «Благодаря сионизму, — говорил Троицкий, — иудейская нация, разбросанная в разных концах земного пространства, начинает вновь сознавать себя единым организмом, не только национальным и религиозным, а также и прежде всего — политическим» (И. Троицкий, «О сионизме в современном иудаизме», СПб, 1903).

По мере того, как сионизм приобретал все более светский характер, богословские круги стали утрачивать к нему интерес. Однако, в 1911 г. Е. Полянский в журнале Казанской духовной академии «Православный собеседник» уже признавал полную реальность Еврейского государства, считая, однако, его неустойчивым из-за возможных трений между отдельными еврейскими фракциями. Кроме того, Полянский отдавал дань прежнему недоверию по отношению к способности евреев заниматься земледелием (1911, № 9, 11).

Большой интерес к сионизму существовал и среди широких кругов верующих, что показывает возникшее в Петербурге в начале века эсхатологическое течение, созданное отставным полковником русской армии Ф. Ван-Бейнингенем, который связывал весь ход дальнейшей мировой истории с перспективами создания еврейского государства. Ван-Бейнинген на основании пророчеств книги пророка Даниила предсказывал, что 1933 год должен быть моментом полного прощения евреев, но этому должно предшествовать возвращение евреев в Палестину в 1912-1913 гг. в количестве 144 000 человек. Разумеется, Ван-Бейнинген был осуж-

ден в церковной печати за подобные вычисления, чуждые христианскому учению, но он тем не менее имел большой успех среди верующих, интуитивно ощущавших исключительное религиозное значение сионизма.

Следует, однако, отметить, что среди православного духовенства были и противники сионизма, как, например, протопресвитер армии и флота Е. Аквилонов, но и он не отрицал того, что «настанет пора истинного сионизма, в числе вкладчиков которого едва ли суждено будет оказаться современным сионистам» («Христианское чтение», 1903, №) (7).

Как известно, русское правительство не препятствовало деятельности сионистов и даже благоприятствовало ей. Так, 27 июня 1908 г. президент Всемирной сионистской организации Д. Вольфсон был принят председателем Совета Министров П. А. Столыпиным, который «выразив свое полное сочувствие сионистскому идеалу, заявил, что правительство не намерено ставить препятствий сионистам России в их работе, поскольку она направлена на осуществление программной цели сионизма — создание правоохраняемого убежища для еврейского народа в Палестине» («Коколок», 1909, 1 июля).

Сионизм как политическое движение в дореволюционной России вызвал резкую враждебность всех левых партий, включая еврейский Бунд, вся программа которого была направлена именно на благоустройство евреев внутри России, на правах культурной автономии. Между бундовцами и сионистами то и дело происходили острые столкновения, кончавшиеся нередко даже стычками с применением оружия. Об этом, например, говорит донесение минского губернатора от 12 ноября 1905 г. министру внутренних дел (см. «1905 год у Беларуси», Минск, 1926, стр. 63), где описывается кровопролитная стычка между бундистами и сионистами в м. Ляховичи, в результате которой был убит сионист Буссель.

Среди сионистов существовало свое левое крыло, как, например, партия Поалей-Цион, на почве которой впоследствии образовались современные левые правящие партии Израиля. Но даже и эти левые течения были органически враждебны Бунду, полностью отрицавшему самые устои сионизма.

Как известно, именно в России впервые возник миф о существовании всемирного еврейского заговора с целью захвата евреями мирового господства. Этот миф в виде т. н. «Протоколов сионских мудрецов» впервые увидел свет в январе 1906 г. (2). Согласно версии издателя, эти «Протоколы» явились выкраденным стенографическим отчетом тайного заседания «раввинов» на I Базельском сионистском конгрессе в 1896 г. Как уже говорилось выше, ортодоксальный раввинат десятилетиями относился к политическому сионизму с нескрываемой враждебностью, а на Базельском конгрессе раввинов почти не было. Если принять версию издателя, официальные заседания Базельского конгресса были лишь камуфляжем. Но анализ текстов «Протоколов» явно показывает, что они есть не что иное, как малограмотная фальсификация, компилятивно составленная из нескольких источников, точные названия которых хорошо ныне известны. Чего стоит, например, предложение одного из «раввинов» строить всюду метро с тем, чтобы в последствии удобнее было взрывать города снизу!

Фальсификаторы из заграничного отдела департамента полиции, составившие «Протоколы» по указанию нач. отдела Рачковского, для придания им авторитета решили воспользоваться именем церковного журналиста С. Нилуса, за несколько лет до этого впервые опубликовавшего запись известной беседы преп. Серафима Саровского с Н. Мотовиловым. «Протоколы» были переданы легковерному Нилусу, как якобы похищенные кем-то, скрывающим свое имя и не желающим подвергнуться преследованию евреев. Однако имя Нилуса не помогло издателю «Протоколов» Г. В. Бутми-де-Кацману, члену главного совета Союза Русского Народа, придать им достоверность. Не говоря уже о либерально настроенной публике, «Протоколы» не были приняты всерьез, как подлинный документ, и в Русской Православной Церкви за редкими исключениями, как архиепископ Никон (Рождественский), и проф. А. Бронзов. «Протоколы» бы-

(2) Первый неполный вариант на рус. яз. появился в газ. «Знамя» (СПб), 26.8 по 7.9.1903 (см. Norman Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World-Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion, Лондон изд. Penguin, 1970, с. 72 и 323). Первый полный текст появился в гл. 12 3-го изд. книги С. А. Нилуса «Великое в малом и антихрист», Царское село, дек. 1905 (см. там же, т. 73 и 323). В янв. 1906 «Протоколы» были изданы в кн. Г. П. Бутми «Враги рода человеческого» (СПб) (см. там же).

ли окружены молчанием церковной прессы, а сам Нилус был удален из непосредственной близости с Оптиной пустыней, где он проживал, за то, что сеял смуту среди монахов, предсказывая предстоящее пришествие Антихриста.

Причины замалчивания церковной прессой «Протоколов» достаточно ясны, как с точки зрения характера их очевидной фальсифицированности, так и с точки зрения христианского религиозного сознания, ибо в них евреи, а точнее сионистское движение, превращается в некую космическую силу зла, противостоящую всему человечеству. Автор приписывает евреям чисто божественные функции: вездесущность, всеведение, полное знание будущего, исключительное хитроумие и коварство космического масштаба. В «Протоколах» евреи выступают в виде одного из космических начал, намного превосходящего противоположное хитроумием, коварством и злобой.

Для христианского сознания было очевидно, что подобная трактовка еврейского вопроса есть возрождение осужденного еще древней Церковью гностицизма, который в России в начале века стал замещать духовный вакуум, образовавшийся в сознании правящих классов страны.

Кроме того, как могли относиться религиозные люди к «Протоколам», когда они были изданы в книге Г. Бутми-де-Кацмана «Враги рода человеческого», в которой, в частности, всячески поносился Ветхий Завет, о «первородном грехе» говорилось, как о воспоминании евреев о своей испорченной в египетском плену расе, и даже оправдывались гонения на первых христиан, ибо по словам Бутми-де-Кацмана, «гонения вызывались открыто враждебным отношением к государственной религии и поруганием предметов народного поклонения со стороны первых христиан, унаследовавших религиозную нетерпимость от иудеев».

После Октябрьской революции влияние сионизма среди русских евреев стало быстро падать, ибо еврейское население страны оказалось в плену иллюзий, полагая, что выбросив за борт свою национальную культуру и свою религиозную основу, оно сможет легко ассимилироваться среди окружающего населения. Еврейские большевики резко осуждали сионизм. При этом русские евреи, вернее еврейская молодежь, обратили весь свой

вытесненный мессианский пыл на создание нового земного рая, который, однако, превратился для них в полную противоположность.

Поскольку после революции все национальные ограничения были уничтожены, а русская интеллигенция почти исчезла, евреи наряду с другими бывшими инородцами быстро заняли многие ключевые посты в государстве, его культурной и научной жизни. Сотни тысяч евреев из прежней черты оседлости устремились в центр России, в его главные столицы, составив там вторую по величине национальную группировку.

Существенное влияние на взаимоотношение русского и еврейского населения страны оказали антирелигиозные преследования, которые по крайней мере с 1928 г. распространились на все религии и церкви. Однако, русское верующее население страны воспринимало эти преследования как вдохновленные евреями и специфически антихристианские. Это было явным заблуждением, но оно питалось тем, что атеисты-евреи бестактно во многих случаях принимали прямое участие в закрытии церквей, в гонениях на христианское духовенство и верующих, в то время как дело преследования синагоги было исключительной привилегией евреев.

В результате широкие круги русского населения считали, хотя и неправомочно, новую власть инородческой, рассматривая ее как некое иноземное нашествие. Гроза не замедлила сказаться. Борьба между различными фракциями в руководстве коммунистической партии быстро приобрела национальный оттенок, в результате чего во время чисток 36-38 гг. инородческий элемент в руководстве был практически уничтожен, что впрочем отнюдь не означало, что на смену ему пришло явно выраженное русское национальное течение.

Война принесла огромные внутренние социологические сдвиги в структуре еврейского населения страны. Подавляющее большинство патриархальной, верующей части еврейского населения страны, не отождествлявшей себя с новой идеологией, было уничтожено немцами. Последствия этого были примерно таковы, как если бы было уничтожено почти все крестьянское русское население. Тем самым были почти окончательно уничтожены естественные истоки еврейской национальной культуры и религии в стране, а оставшееся еврейское население оказалось почти совершенно беспочвенным.

После войны враждебность к евреям усиливалась уже не только снизу, но и сверху, и только известные исторические события спасли евреев от новой катастрофы. Но, однако, и в этот период, когда уже в 1948 г. было создано государство Израиль, подавляющее большинство советских евреев и не помышляло о необходимости смены вех в своем национальном мышлении. Оно по-прежнему было под полным контролем существующей идеологии и по-прежнему стремилось к невозможной ассимиляции. Лишь начиная с 1956 г., под воздействием победоносной Синайской кампании израильских войск против Египта, а главным образом, после Шестидневной войны 1967 г., среди советских евреев стало шириться сознание необходимости встать на новый путь, прекратить бесплодные и мучительные попытки существования в условиях полной беспочвенности, уйти от дискриминации, явившейся следствием длинной цепи причин.

В конечном счете это и вызвало ту волну национального движения среди евреев, которое и привело к массовой эмиграции в Израиль.

---

Все вышесказанное позволяет сделать следующий вывод. Сионизм как национально-освободительное движение, направленное на воссоздание своего национального государства на исторической родине, ни в коей мере не направлен против каких-либо интересов русского народа. Напротив, он позволяет уменьшить напряженность национального конфликта между русским и еврейским населением страны, а со временем и вовсе его ликвидировать.

Еврейское национальное движение, в силу исторических и географических причин, не претендует ни на какие русские территории, ни на какое русское достояние. Более того, поддержка арабских стран против Израиля является трагическим недоразумением и должна быть как можно быстрее прекращена. Это вовсе не означает, что Россия должна выступать за Израиль против арабов. Она должна поддерживать хорошие отношения со всеми государствами этого района.

Бесконечное и бесцельное самоистощение русского народа ради интересов мира чуждого и враждебного всему неарабскому может лишь привести к трагическим последствиям. Следует ли

тратить огромные ресурсы и рисковать жизнью своих солдат для сохранения власти с большой скоростью сменяющихся иракских, сирийских, египетских, ливийских, йеменских и других диктаторов, привыкших уже к тому, чтобы русский народ сыпал к ним, как из рога изобилия, оружие и другую материальную помощь, в то время как они, когда это им будет удобно, могли бы выгнать русских, как побитых мальчишек? У русского и еврейского национальных движений нет таких проблем, как например, общность государственных границ, которые могли бы осложнить их отношения.

Союз России и Израиля в будущем может быть во сто крат более ценным для России, чем заведомо ненадежная дружба с арабскими странами.

Пусть в своем отношении к евреям и к современному Израилю те люди, которым дороги русские национально-религиозные идеалы, руководствуются словами митрополита Антония (Храповицкого), который, несмотря на противоречивость своего отношения к евреям, нашел в себе духовное мужество сказать в 1906 году, в разгар русской революции:

«Мы, русские христиане и чтущие Бога отцов своих иудей, рождены для познания воли Божией, для научения людей добродетели, для умерщвления духовных страстей. В этом всемирное призвание Священного Востока, и не вам и не нам менять его на жалкую суету безбожной западной культуры». («Еврейский вопрос и Святая Библия», «Волынские епархиальные ведомости», 1907, № 10).

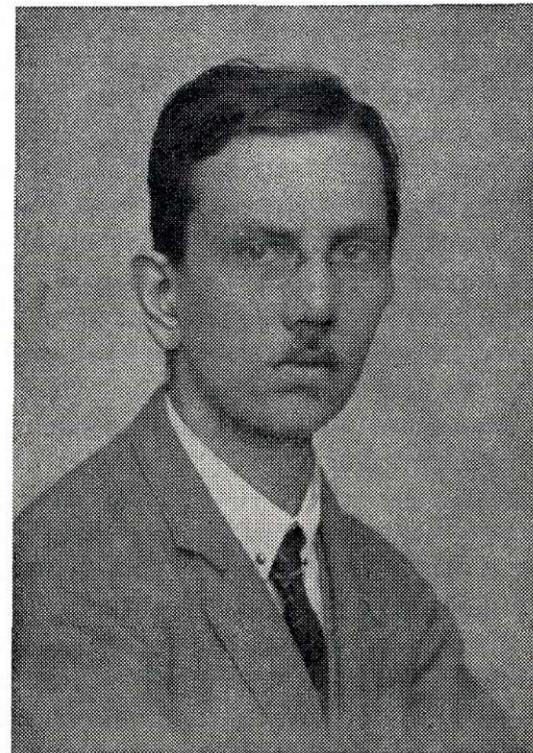
## К 80-летию прот. Георгия ФЛОРОВСКОГО

### ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

ФЛОРОВСКИЙ, Георгий Васильевич, протоиерей, богослов, историк Церкви, историк Русской культуры.

Родился в Одессе 28-го августа 1893-го года по старому стилю. Отец его, Василий Антонович, родом из Новгородской губернии, из Флоровского погоста, окончил Московскую Духовную Академию в 1877-м году, принял священство в 1884-м году, был одно время Ректором Одесской Духовной Семинарии, и с 1905-го года — настоятелем Одесского Кафедрального Преображенского Собора (впоследствии разрушенного). Мать, Клавдия Георгиевна, была дочерью протоиерея Георгия Ивановича Попруженко, магистра Киевской Духовной Академии (1843 г.), и профессора (по тогдашней терминологии) Еврейского и Греческого языков в Одесской Духовной Семинарии. Г. В. Ф., младший из четырех детей, получил среднее образование в Одесской Пятой Гимназии, окончил ее в 1911 году с золотой медалью и отличием по Истории. В том же году поступил в Новороссийский Университет по историко-филологическому факультету, имея в виду специализироваться по философии. Интересовался он в это время преимущественно богословскими науками. Особого философского отделения в Русских университетах не было (кроме Московского), и в Одессе специалисты по философии должны были пройти полный курс Исторического отделения. Кроме того, они должны были прослушать курс физиологии на естественно-историческом отделении физико-математического факультета. Занятия философией и психологией требовали серьезного знакомства с методами наук математических и естественно-исторических, и потому Г. В. Ф. прослушал ряд курсов по чистой математике, физике, химии, биологии и работал экспериментально в лабораториях. Его экспериментальная работа по физиологии слюноотделения в лаборатории проф. Б. П. Бабкина, была представлена И. П. Павловым ввиду важности достигнутых результатов в Академию Наук, и была напечатана в Записках Академии в январе 1917-го года. Осенью 1916 года Г. В. Ф. сдал выпускные (т. наз. «государственные») экзамены по историко-филологическому факультету, и был «оставлен при Университете для приготовления к профессорскому званию» по кафедре философии и психологии. Во время прохождения университетского курса Г. В. Ф. получил в 1913 году серебряную

медаль за конкурсное сочинение по классической филологии на тему: **Миф об Амфитрионе в древней и новой драме**, и в 1916-м — золотую медаль за сочинение по логике: **Критический обзор современных учений об умозаключениях**. Несмотря на революционный хаос и частую смену политических режимов, Г. В. Ф. успел сдать в 1918/1919 годах установленный экзамен на степень ма-



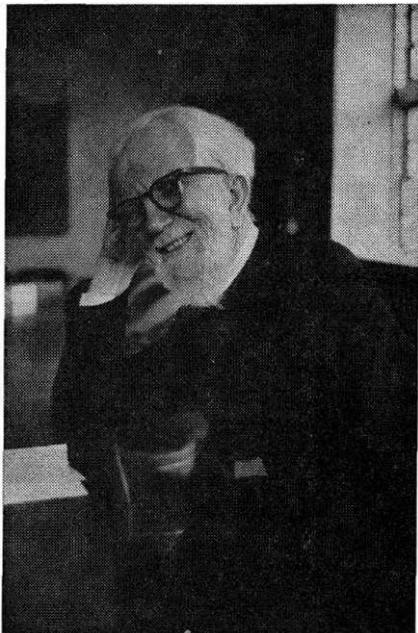
Георгий Флоровский. Прага 1923.

гистра философии, и после прочтения двух пробных лекций был принят в число приват-доцентов Университета по кафедре философии и психологии. В те же годы преподавал историю в средней школе и логику и психологию на Педагогических курсах. В Университете преподавал только один семестр (**Логика наук о природе**), и, в январе 1920-го года эмигрировал вместе с родителями в Болгарию. В Софии не имел постоянных занятий, давал частные уроки, работал корректором в Русско-Болгарском книгоиздательстве. В то же время работал над магистерской диссертацией. Принимал участие в организации Русского Религиозно-Философского

Общества и часто выступал в нем с докладами. Участвовал в небольшом частном кружке (пять человек), из которого впоследствии вышло «Евразийское движение», но специфических «евразийских» идей никогда не разделял, и еще в Софии открыто их отвергал. В 1923 году окончательно разошелся со своими коллегами, а в 1928 году напечатал в «Современных Записках» резкую критику всего движения: **Евразийский Соблазн**. В конце 1921-го года был избран в состав Русской Учебной Коллегии в Праге. В 1923 году защитил здесь диссертацию на степень магистра философии: **Историческая Философия Герцена**. Оппонентами на диспуте были Н. О. Лосский, П. Б. Струве, В. В. Зеньковский. По особым обстоятельствам удалось издать только первую главу. Был приват-доцентом Русского Юридического Факультета в Праге по кафедре Истории Философии Права. Участвовал в первых организационных съездах Русского Студенческого Христианского Движения. В 1922-м году вступил в брак с Ксенией Ивановной Симоновой, бывшей студенткой Бестужевских Высших Женских Курсов, дочерью русского педагога в Финляндии. Все эти годы продолжал работу в области богословских проблем. Одно время был секретарем Русского Религиозно-Философского Общества в Праге (Председателем был проф. П. И. Новгородцев, † 1924). В Русском Институте в Праге прочел пространный курс о Владимире Соловьеве. В 1926 году был избран профессором вновь учрежденного Русского Института Богословия в Париже по кафедре Патрологии. Часть читанных лекций была издана: **Восточные Отцы IV-го века** (Париж, 1931); **Византийские Отцы V-VIII вв.** (1933). В разное время читал курсы по введению в философию, гомилетике, и один год преподавал греческий язык. Участвовал в экуменических собраниях, организованных Н. А. Бердяевым, и здесь прочел доклады, вскоре опубликованные в расширенном виде в «Православной Мысли»: «**Тварь и Тварность**» (вып. 1, 1929); «**О смерти Крестной**» (№ 2, 1930). В 1931 году участвовал в съезде Русского Студенческого Христианского Движения в Латвии. В том же году по приглашению покойного Карла Барта прочел в его семинаре, в Боннском Университете, доклад, вызвавший страстные прения, длившиеся два дня: **Откровение, богословие, философия** (напечатан только по-немецки). В 1930 году участвовал в Пятом Международном Съезде Русских Академических Организаций в Софии, где прочел доклад по иконографии Софии. В 1932-м году принял священство, и в 1936-м году возведен покойным Митрополитом Евлогием в сан протоиерея. С 1929-го

года принимал деятельное участие в работе Русско-Английского Содружества свв. Албания и Сергия. Кроме докладов на годичных съездах, с 1932-го года (и до 1939 года включительно) читал каждое лето краткие курсы и отдельные лекции во многих англиканских богословских колледжах. В 1936 году прочел три лекции о догмате Искупления в Кинг'с Колледж в Лондоне. В том же году участвовал в первом (и пока единственном) Съезде Православных профессоров богословия в Афинах, и после этого вместе с покойным А. В. Карташевым провел две недели на Афоне. В 1938-м году провел полгода в Афинах, и опять был на Афоне, работая в тамошних библиотеках. В 1937 году был делегатом на (втором) Съезде движения «Вера и Порядок» в Эдинбурге, и был избран вместе с покойным Митрополитом Германом Фиатирским членом т. наз. «Комитета Четырнадцати», которому было поручено подготовить образование «Всемирного Совета Церквей». С этого времени начинается активное участие Г. В. Ф. в так наз. Экуменическом Движении как представителя Православной Церкви. Когда в августе 1939-го года вспыхнула Вторая Мировая война, Г. В. Ф. находился в Швейцарии, на съезде комиссии «Вера и Порядок». Возвращение в Париж было практически невозможно. Г. В. Ф. отправился в Югославию, где и провел все время войны в качестве законоучителя, сперва в Русском Кадетском Корпусе и Девичьем Институте в Белой Церкви, а затем в Русско-Сербских гимназиях, мужской и женской, в Белграде. Осенью 1944-го года удалось, не без затруднений, переехать в Прагу, а в конце 1945-го года вернуться в Париж благодаря содействию покойного Архиепископа Кентербёрийского Джеффри Фишера. С весны 1946-го года Г. В. Ф. возобновляет преподавание в Богословском Институте, на этот раз по нравственному и догматическому богословию. В 1946/1947 гг. участвует в съездах Англо-Русского Содружества в Истбёрне и Личфильде, читает краткий курс в Оксфордском Университете и конференции в Дублине. В 1947-м году читает курс лекций о Церкви в первом семестре только что основанного Экуменического Института в Боссе, в Швейцарии. Весной того же года участвует в сессии Временного Комитета будущего Всемирного Совета Церквей в Бак-Хилл-Фоллс, Пенсильвания, а в августе 1948-го в первой Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Амстердаме. Здесь Г. В. Ф. был избран членом центрального и исполнительного комитетов (и остается им до конца 1961-го года). Осенью 1948-го года переезжает в Соединенные Штаты, в качестве профессора догматического богословия в Свято-Вла-

димирской Семинарии в Нью Йорке. В 1951-м году назначается ее деканом (до 1955-го года). Одновременно преподает в Колумбийском Университете и в Юнион Семинари в Нью Йорке. Кроме того, читает отдельные лекции в разных колледжах и университетах в США и Канаде. Осенью 1955-го года начинает преподавать догматику в греческой Богословской Школе Святого Креста



Прот. Г. Флоровский, 1970.

в Бруклайне (пригород Бостона), и в то же время читает курс по церковной истории Православного Востока в Бостонском Университете. С весны 1956-го года становится профессором по истории Восточной Церкви в Богословской Школе Гарвардского Университета (Кембридж, Массачузетс). Оставляет Гарвард по предельному возрасту со званием заслуженного профессора в 1964-м году. Осенью того же года приглашается в Принстонский Университет (Принстон, Нью Джерси), вести семинары в богословском отделении и в отделе славяноведения (до 1972-го года). В настоящее время преподает в Принстонской Богословской Семинарии. Участвует в международных Ассамблеях Всемирного Со-

вета Церквей в качестве делегата — Эванстом, Иллинойс: 1954, Нью-Дели: 1961, Уппсала: 1968 — и в конференциях отдела «Вера и Порядок» — Лунд: 1952 и Монреаль, Канада: 1963. В 1957 году — на местной Американской конференции в Оберлине, и на многочисленных комиссионных собраниях экуменического характера вплоть до съезда в Лувене, 1971. Принимал участие, с чтением докладов, в международных Патрологических Конгрессах в Оксфорде: 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, в Международном Византийском Конгрессе в Мюнхене, 1958, в Симпозиуме в память Св. Григория Паламы в Салониках, 1959, в первом международном съезде по изучению Достоевского в Бад Эмс, 1971, и др.

Весной 1972-го года читал курс патристики в Герберт Леманс Колледж, Бронкс, Н. Й.

#### УЧЕННЫЕ СТЕПЕНИ.

Магистр философии — Русская Академическая Группа в Праге, 1923. Диссертация: Историческая философия Герцена. Оппоненты — Н. О. Лосский, П. Б. Струве, В. В. Зеньковский.

Магистерские экзамены сданы в Новороссийском Университете в 1918/1919 годах.

#### HONORARY DEGREES

D.D., St. Andrews University, St. Andrews, Scotland, 1937.

S.T.D., Boston University, 1950.

Dr., University of Thessaloniki, 1959.

LL.D., University of Notre Dame, Notre Dame, Ind., U.S.A. 1968.

D.D., St. Vladimir's Theo. Seminary, Crestwood, N.Y., 1968.

D.D., Tale University, 1973.

D.D. & S.T.D. = Doctor of Divinity or of Sacred Theology.

LL.D. = Doctor Legum.

Fellow of the American Academy of Arts and Sciences, since 1965.

Corresponding Member, Academy of Athens, since 1965.

Member of the American Historical Association.

— American Society of Church History.

— American Association for the Advancement of Slavic Studies - Honorary Award for Distinguish Contributions to Slavic Studies, 1971.

Член Русского Научного Института в Белграде — с 1936 года до его ликвидации.

## ТРИ УЧИТЕЛЯ

### Искание религии в русской литературе девятнадцатого века

П. Н. Сакулин в своей хорошо документированной книге «Русская литература и социализм» делает важное наблюдение. «Русская интеллигенция тридцатых годов (1830) была в общем несомненно религиозна». Слово «религиозна» употреблено здесь в широком смысле, сюда включается большое «разнообразие религиозного опыта». Религия ранней русской интеллигенции была часто совсем не правоверной — смутной, мечтательной, блуждающей, синкретичной. Часто это было психологическое настроение или эстетический восторг, или род моралистического психоанализа, скорее чем трезвая и твердая вера. (Это верно и относительно религиозности Запада того времени). Нужно припомнить, что даже Руссо защищал «религию», и что деизм Просвещения был тоже родом религиозности, и что сентиментализм в жизни и литературе был метаморфозой долгой мистической традиции. Роль германского пиетизма и масонства, включая розенкрейцерство, в сложении русской новой культуры и литературы очевидна. В этой связи должны быть названы имена Новикова, Хераскова, Карамзина, Жуковского. Мистические движения времен Александра Первого не могут быть рассматриваемы как только обскурантизм и реакционная нелепость. Они имели сильное и длительное влияние на интеллектуальный и эмоциональный характер Русского Общества. Русские романтики многим обязаны их прозрениям и вдохновениям, точно так же, как и образам, этому мистическому возбуждению предыдущего века, и их западным источникам. Лучший пример такого влияния может быть найден в литературных произведениях Владимира Одоевского, одного из первых русских идеалистов. Верующих можно было также найти среди декабристов, включая Александра Одоевского, Кюхельбекера, Батенкова, может быть и Рылеева. Было несомненно не случайно, что в тридцатых годах многие из лидеров радикальной интеллигенции (Герцен, Белинский, и в особенности Михаил Бакунин) прошли через напряженный период религиозной или квази-религиозной экзальтации. Эти настроения были характерны для эпохи. Наследие этого «замечательного десятилетия», как его называли современники, оставалось

надолго неотъемлемой частью русской культуры и русской психологии. Показательно, что и самый социализм появился в России в религиозном облике и в сиянии профетического энтузиазма; между его представителями были Владимир Печерин, Герцен, Огарев, юный Достоевский и его друзья из кружка Петрашевского. Было верно отмечено, что Достоевский именно как «христианский социалист» пришел к острому разрыву с Белинским в поздние сороковые годы, когда последний потерял или отрекся от своих ранних идеалистических или «романтических» убеждений.

Назревавший с конца сороковых годов кризис разразился в шестидесятые. Это был буйный взрыв, радикальный разрыв, род обращения. С этого времени начинается «отход» русской интеллигенции от христианства, и в действительности — от всякой религии или «метафизики», отступление в переменчивые и текучие настроения — от индифферентности до бунта. Фактически это русское движение было продолжением или повторением одновременного сдвига и кризиса в западной мысли, и иностранные источники русских вдохновений легко могут быть обнаружены. Однако русский ответ на новое откровение или запросы Запада был спонтанным, страстным, стихийным: это был род яркого эмоционального шторма. И верно, что он был укоренен в чувствах, а не в идеях. Идеологическое вооружение русских радикалов было скорее плоским и скудным; в нем была ядовитая смесь цинического пренебрежения ко всякому культурному интересу. Здесь — жало русского нигилизма того времени. По существу это была перемена подданства. Принимался новый символ веры. Психологически это была перемена веры. Без сомнения, Достоевский был прав, когда он определял основные темы своего времени как темы религиозные. Здесь была проблема веры и неверия в их противопоставлении и конфликте. Но неверие само есть религиозный феномен, и религиозный выбор окончательного отрицания, род перевернутой религии. В русском радикализме были разные оттенки и разные стадии развития. Иногда религиозные мотивы можно найти даже в самом радикализме. Нужно припомнить новое движение в начале семидесятых годов в «народничестве», новое искание религии, или, вернее, искание «новой религии». Она была вполне правоверна: религия сердца, или «религия человечества», но в нем можно распознать возрождение некоторых евангельских мотивов. Русская интеллигенция была внутренне расколота в то время. И движение само было диалектическим; это было отступление, уравновешенное «возвращением».

Искание религии — отличительная черта всех тех периодов истории, которые обычно описываются как «переходные», времена действительно критические, когда время приходит в «расстройство» и «стены падают». В этой ситуации искание веры принимает неизбежно драматический характер и даже трагический оборот. Не все ищущие находят. Кроме того, для верующих все эпохи в известном смысле «критические» и проблематические. Вера ни в каком случае не есть легкое предприятие, у нее есть свои внутренние трудности и искушения, внутреннее беспокойство — «темная ночь». Вера требует мужества и живет надеждой. Самое «искание» двузначно: оно может быть симптомом падающей и потрясенной веры, но может быть также симптомом духовной бдительности.

Величайшие русские писатели 19-го века (Гоголь, Толстой, Достоевский) были глубоко заняты проблемой веры. Как писатели они были и хотели быть толкователями жизни, человеческого существования со всеми его трудностями и всеми надеждами. Их конечная проблема была проблема человека и его судьбы, в двойном аспекте личной и общественной жизни. Гоголь был провозглашен своими современниками гениальным мастером, и его влияние в литературе было огромно и решительно. Фактически он, может быть, был центральной фигурой в русской литературе его времени. Но интимнейшие его идеи, которые он хотел возвестить, были в его время не поняты, хотя и не без его вины, и были отвергнуты даже его лучшими друзьями, как нездоровое заблуждение, как обман и иллюзия. Его призыв был снова услышан, с удивлением и даже испугом, в конце столетия. Наконец, его голос услышали. Несмотря на это, Гоголь все еще остается загадочной фигурой, действительно трагической. Достоевский шел по его стопам, но на свой особый лад, скорее критически, с осторожностью и с оговорками. Его зов был услышан его современниками, но вряд ли полностью и всеми. Он был беспокойный дух в русской литературе. Его пророческие экскурсы в «психологию глубины» производили впечатление. Он поднимал и обсуждал вечные вопросы, «проклятые вопросы», но всегда в перспективе своего времени. Он обсуждал происходящие события, но всегда в плане последних ценностей. Все его писания были подсказаны современными событиями и нуждались в историческом комментарии. И все-таки они были сосредоточены на повторяющихся темах человеческого существования. И хотя многие его пророчества были неверными и обманчивыми, но он был подлинным пророком.

Положение Льва Толстого всегда было особым. Он всегда был в оппозиции, в оппозиции к каждой исторической ситуации, а на самом деле — к самой истории. Он был заинтересован человеком как таковым, и в известном смысле такой подход был совершенно законным и даже необходимым. Человек стоит нагим перед Богом, и человеческая жизнь со своими несчастьями и тревогами есть в известном смысле прах и суета перед лицом Божиим. Тем не менее, это только одно измерение человеческого существования и его отношения к Богу. Реальный человек — всегда «исторический человек» со своими конкретными и личными нуждами и неудачами, также с конкретными и разнообразными задачами в данной исторической установке. Нереально исключать всю «историчность» из человеческого существования и смотреть на нее как на «случайный придаток», а не как исполнение человеческой «природы». Толстой настойчиво делал именно это, вопреки его большому мастерству изображения жизни в ее конкретных формах и разнообразии. В конце концов он имел дело со схематическим человеком в определенной типической обстановке, так что, странным образом, но действительная тайна человеческой личности бывала потеряна. Конечно, моральные принципы и нормы всегда одни и те же, и было своевременно в эпоху безответственного релятивизма напомнить людям об этом, чем и можно объяснить широкий отзыв на Толстовскую мораль или, скорей, моралистическую проповедь Толстого как дома, так и за границей. Но это же объясняет и бесплодность этой проповеди. Толстой был способен наставлять, как видеть зло и уклоняться от него вообще, но не был способен научить, как каждому бороться со злом в своей собственной личной ситуации. Больше того, он упрямо отказывался делать это. Он считал, что со злом не нужно бороться, но только осуждать его и отречься от него — и все-таки терпеть его. Его ригористический радикализм вел его в конце концов к пассивности. В этом отношении он был противоположен Достоевскому. Контраст их взглядов был позже иллюстрирован в замечательном диалоге между Вячеславом Ивановым и Гершензоном в их «Переписке из двух углов».

Эти три мастера не были согласны в основном. Они глубоко разнились в своем анализе и в своих заключениях. Гоголь хотел изменить «внутреннего человека» без всякого изменения его среды, хотя он был всегда необычайно заинтересован социальными проблемами. Достоевский мечтал об историческом обновлении, о грядущем Царстве на земле. Толстой просто пренебрегал историей,

и в этом пункте он странно сходился с Гоголем. Но был общий элемент в их расходящихся усилиях. Это их убеждение, что человеческая жизнь без веры есть опасная авантюра, которая должна кончиться катастрофой. Человек без Бога не может быть вполне человеческим, он опускается и разлагается. Это общее убеждение, несмотря на все расхождения трех мастеров слова, привлекало тех, кто готов был слушать об ответственности высокого призвания человека: о вере, послушании и служении. Но многие — просто не хотели слушать.

В свои поздние годы Гоголь сделал такое примечательное признание о себе самом: «Я пришел ко Христу скорее **протестантским**, чем **католическим** путем». В то время Гоголь жил в Риме, и его друзья в Москве подозревали, что его новые религиозные взгляды пришли из католических источников. Он поторопился отречься от этого резко и категорически. Его выражения, однако, скорее неясны и темны. Нет никакого доказательства или указания на какой-либо интерес Гоголя в то время к протестантской реформации с ее специфическими и характерными проблемами и решениями. Гоголь вообще мало интересовался доктриной и доктринами. Вероятно, он хотел сказать, что пришел ко Христу «евангелическим» или даже «пиетическим» путем, — кажется, это так и было. Действительно, он продолжает: «Его (Христа) анализ человеческой души такой, как никто другой его не делает, было причиной того, что я пришел ко Христу, будучи поражен прежде всего Его человеческой мудростью и беспримерным знанием души, и потом уже перешел к почитанию Его Божества». Гоголь развивает это признание в своей авторской исповеди, род апологии. Здесь он подчеркивает еще раз, что его начальный интерес был к человеку, к человеческой душе. Он искал те «вечные законы», которыми человек управляется. Он изучал человеческие документы всех родов. И на этом пути «незаметно, почти не зная как», он пришел ко Христу и нашел в Нем ключ к душе человеческой. Другими словами, Гоголь пришел ко Христу путем своеобразного психологического анализа. Он не ожидал найти Христа на этом пути. Фактически он пришел ко Христу путем того **пиетического гуманизма**, который был типичен для эпохи Александра I. Он оказался архаическим для его собственного поколения, замкнутым одиноко в пределах своего собственного опыта.

Гоголь был хорошо знаком с романтической литературой, но он вряд ли был затронут философскими движениями своего времени. Его первые рассказы были написаны в романтическом сти-

ле, который не был только подражанием, и был гораздо больше, чем литературной манерой. Его собственное видение было романтическим; у него был «романтический опыт». Мир для него был ясно разделен в определенно «романтической» манере: сильные люди с ясно выраженной личностью и были «обыкновенные люди». Он никогда не был действительно заинтересован сильными людьми или «героями»; его случайные попытки изобразить такого человека никогда не удавались. Он был всегда занят теми обыкновенными людьми, которые заполняют всю сцену человеческой жизни. Если эти люди забавны или живописны, их существование все-таки не имеет смысла, монотонно и бесполезно. Они тривиальны и незначительны, и замкнуты в своей собственной, узкой, маленькой жизни без всяких перспектив. Хотя Гоголь был готов симпатизировать бедности и лишениям, горю и неудачам, но он мог быть только испуган и потрясен зрелищем пустой жизни, почти нечеловеческой, и в худшем случае даже животной. В этом косном мире имеются свои «страсти», но эти маленькие страсти или амбиции только раскрывают крайнее искажение и снижение человеческой природы. Может показаться, что Гоголю нравилось рисовать свои комические, гротескные фигуры или скорее фигурки. Был, конечно, известный эпический шарм в его ранних повестях. Однако и в этих повестях, обычно юмористических и сентиментальных, часто была слышна сильная трагическая нота, нота скуки. Со зрелостью это чувство росло в нем, пока не подавило его окончательно к концу его жизни. В этой связи было отмечено, что Гоголь воспринимал жизнь под знаком смерти, *sub specie mortis*, это не означало только, что смерть есть неизбежный конец каждого индивидуального существования. Скорей это значило, что жизнь сама мертва, убийственно скучна, род тупика или иллюзии. Жизнь стояла под знаком неудачи — не потому, что не осуществились надежды, но потому, что надежд не было. «Земля уже загорелась непонятной тоской. Жизнь делается все более и более жестокой. Все делается меньше и меньше. Только гигантский образ скуки растет на глазах всех, переходя день за днем всякую меру. Всюду пустота, и могилы всюду». Выбор слов гиперболичен, но эти слова хорошо выбраны, чтобы представить действительное видение Гоголя, видение это было апокалиптическим. Мережковский сравнивал Гоголя с героем одной из сказок Андерсена, которому на его несчастье попал в глаз кусочек кривого зеркала, так что он мог видеть мир только в искаженном и обезображенном виде. Но было ли зрение Гоголя действитель-

но искривленным? Или, не было ли оно столь обостренным, чтобы дать ему возможность распознать действительность и под покровом условностей увидеть неминуемую катастрофу под покровом застоя. Гоголь изображает падших людей, и его «карикатуры», как у Гойи, вполне «реалистичны» в этой перспективе. Профессор Виктор Виноградов недавно заметил, что в гоголевских писаниях люди представлены, как вещи, как будто они и суть вещи.

Розанов утверждал, что человеческие фигуры у Гоголя не есть действительно живые люди, но марионетки, «восковые фигурки»,двигающиеся по сцене направляемые опытным мастером, который может известными способами создать впечатление, что они живые. Они не имеют спонтанных движений — они неподвижны и зафиксированы. Вопрос остается, было ли это поражающее своеобразие гоголевского искусства симптомом поврежденного зрения или знаком его глубокого прозрения. Он никогда не движется по поверхности, но всегда роет и измеряет глубину. Под покровом банальности он открывает темную бездну ада. Пустота сама — очевидное зло. Но это было больше, чем только человеческий дефект или падение, великий Враг мог быть распознан позади своих жертв.

Демонология в ранних повестях Гоголя, была, может быть, не вполне серьезна, заимствована из западных романтиков, включая Гофмана, и из фольклора. Черти здесь только гротескны и забавны. Однако в «Страшной мести» и еще больше в «Вие» влияние злых духов в человеческой жизни представлено с трагической трезвостью. В главных произведениях Гоголя злые духи не появляются персонально, но их присутствие предполагается. Они действуют всюду, хотя обычно под маской. В конце своей жизни Гоголь был подавлен чувством, что зло или дьявол как бы вездесущи. Сатана, он думал, развязан и освобожден, и может появляться в мире даже без маски. Гоголевская фразеология может удивлять, однако не может быть сомнения, что зло было для него сверхчеловеческой реальностью, заряженной огромной властью, которая может быть побеждена только таинственной силой «Живоносного Креста», единственной надеждой Гоголя в его последние годы.

Несмотря на его мрачное восприятие действительности, Гоголь был, кроме своих последних лет, оптимистом. Он верил в возможность обращения, обновления и духовного возрождения. Более того, он ожидал этого вскоре. Именно в этом пункте начина-

лись его затруднения. В свои ранние годы он надеялся на спасающую силу искусства и думал, что человек может быть пробужден видением красоты. Эта надежда была разбита. Он скоро открыл двусмысленность эстетических эмоций, двусмысленность самой красоты. В этом отношении ему последовал Достоевский, а также Владимир Соловьев, которые вместе с ним думали, что Афродита двусмысленна и не защищена от порчи. Но все-таки надежда на обращение не была потеряна. Довольно странно, что Гоголь надеялся на то, что его известная пьеса «Ревизор» на сцене будет содействовать пробуждению и обращению. Он надеялся, что люди будут потрясены зрелищем человеческой немощи, человеческого ничтожества, человеческой абсурдностью. И он был жестоко разочарован. Пьеса была принята, как занятная комедия, как приглашение к смеху. Она не возбудила никаких глубоких моральных эмоций; она не тронула человеческих сердец. Последующая попытка Гоголя разъяснить моральное значение пьесы и объяснить ее символически никого не убедила. Однако он твердо верил, что признан свыше быть учителем веры, и в этом настроении он задумал план своего величайшего творения — поэмы «Мертвые Души».

Заглавие «Мертвые Души» было выбрано в символическом значении. Гоголь предполагал показать мертвенное положение человека. Поэма должна была состоять из двух частей. «Мертвые Души», изображенные в первой части, должны были во второй части ожить. Внутренним стержнем поэмы была идея «обращения». Здесь должно было быть сопоставление «России мертвой» и «России живой». Только первая часть была написана Гоголем, который был разочарован откликом читателей. Они не поняли его намерений. Но может быть их неспособность понять была неизбежна: первая часть не могла быть верно понята, пока не была дополнена второй, в которой только настоящий смысл поэмы должен был быть раскрыт. Гоголь описывал человеческую мелочность и пороки с тем, чтобы показать в конце концов, что даже ничтожества и мошенники могут быть спасены и исцелены. Он хотел показать преобразование человеческой души. Вторая часть должна была быть гораздо более важной, чем первая, но, на несчастье, она никогда не была кончена, и Гоголь оказался неспособным осуществить свой замысел. Он написал свой «Потерянный Рай», но ему совершенно не удался «Рай Возвращенный». Он работал над ним упорно, интенсивно, с отчаянием, и все больше и больше оставался недовольным результатами. История его работы все еще темна. На-

печатанный текст второй части есть только одна из версий поэмы. В ней «обращение» не имело места. Вместо этого некоторые новые лица были введены, чтобы иллюстрировать «путь добра». Это были наименее удачные образы из всех гоголевских персонажей. Для Гоголя эта неудача была более чем разочарованием: это был ужасный удар. Пробуждение или обращение оказалось гораздо более сложным делом, чем он предполагал. Нельзя подвигнуть на обращение только эстетическими чувствами или моралистическими рассуждениями. Нельзя обратиться только человеческими средствами, собственными ресурсами. Можно обратиться только помощью благодати Божией. Чтобы стать «новым человеком», «ветхий» должен был обратиться к Богу, заключил Гоголь. Вся проблема должна была быть продумана заново. Но здесь была другая трудность, которую Гоголь сам полностью не признавал. Несмотря на свое постоянное изучение «человеческой души», он не был мастером психологического анализа. Его мужчины и женщины просто-напросто марионетки, которых нельзя было оживить одной выдумкой.

Последняя книга, которую Гоголь напечатал, «Избранные места из переписки с друзьями», пожалуй, есть важный его человеческий документ. И все-таки это была неудачная книга. Она была неблагоприятно принята даже самыми близкими его друзьями и была резко атакована со всех сторон, как свидетельствует известное письмо Белинского. Во всяком случае, она не была никем понята во времена своего выхода. Позже, однако, она была сердечно принята Львом Толстым, когда он сам был вовлечен в религиозные искания. Книга была фактически программой социального христианства. Задуманная как род идеологического предисловия ко второму тому «Мертвых Душ», она описывает наперед, что Гоголь старался доказать картинками его все еще не оконченной поэмы. («Доказать» это его собственное выражение: артистические изображения считались доказательствами). По чистому недоразумению эта книга была многими понята как проповедь личного благочестия, тогда как ее пафос практический и даже утилитарный. В целом это призыв к социальному и публичному действию; основная категория Гоголя — служба. Он не призывал к уходу и уединению. Монастырь здесь Россия сама. Гоголь напуган ее настоящим положением, и не старается его защищать. Кто еще не на службе, должны взяться за работу. Только так можно спастись, потому что спасение зависит от службы. Служба сама была понята как работа внутри государственного строя. Но и го-

сударство само должно было быть преобразовано. Каждый должен служить как член «иногосударства» (или Царства), глава которого Сам Христос. Никто не должен служить так, как если бы он служил в «прежней России». Гоголевская фраза показательна. «Прежняя Россия» не реальна для него. Он видит себя в другом мире», в новом **теократическом измерении**. Его выражения напоминают «Священный Союз»; это было действительно торжественное приглашение признать, что земные Царства должны быть объединены в том, чтобы образовать новое «Небесное или Священное Царство», в котором будет только один Государь — Христос. В этой концепции Государство усваивает все функции Церкви. Христианская работа должна вестись больше мирянами, чем духовенством. И миряне должны руководить духовенством, настаивал Гоголь категорически. Монарх сам должен понять, что он есть и должен быть «Образом Божиим» на земле. Гоголевский своеобразный библеизм напоминает нам времена Библейского Общества в России. Библия должна была читаться как современная книга. В ней могут быть найдены все текущие события, так же как и Страшный Суд, который уже совершается. С другой стороны, Библия есть книга для Царей: образец современного царства находится в истории древне-израильской теократии. Царское призвание на земле должно быть образом Того, Кто есть Любовь. Такая же самая парадоксальная и утопическая картина теократического Царя доминировала и в воображении Александра Иванова, который был очень близок к Гоголю, когда они жили в Риме и который проходил через свой собственный религиозный кризис. Много позже можно различить отзвук тех же самых концепций у Владимира Соловьева: Призвание Царя в том, чтобы прощать и целить любовью. Все эти мотивы восходят ко временам Священного Союза и его популярности в России. Знаменательно, что друзья Гоголя из того старого поколения действительно приветствовали книгу. Его же поколение не последовало за ним, даже славянофильская концепция теократии была совершенно другой, так же, как и их идея государства.

Гоголь видел в Восточной Церкви церковь будущего. До сих пор она скрывала себя, как «целомудренная дева». Теперь она призвана обратиться к земным нуждам. (По его мнению, западная Церковь вряд ли была готова воспринять новые исторические задачи). Каждый на своем собственном месте призван к действию. Гоголь предлагал практические советы и часто входил в мелочи. Большинство этих советов показалось наивными и казуистичес-

кими, так как у него была склонность трактовать все проблемы как моральные, не обращая внимания на другие стороны вопроса. Особенно верно это относительно новой «экономической утопии», как выражается о. Василий Зеньковский. Однако моральный аспект экономических проблем не может быть оставлен без внимания. Гоголь продолжает верить, что социальное обновление может быть достигнуто одной проповедью. Но теперь больше, чем когда либо раньше, он подчеркивал могущество христианской любви. Он был глубоко угнетен тем фактом, что современный мир потерял дух братства. В этом пункте он был близок к раннему французскому социализму и к Ламмене, который верил, что братство было забыто ради равенства и свободы. Гоголь продолжает: «Христиане, Христос изгнан на улицы, в больницы и госпитали, вместо того, чтобы быть приглашенным в частные дома — и люди думают, что они все еще христиане». Эти слова — больше, чем филантропический или сентиментальный трюизм: узнавать Христа в каждом ближнем, чтобы для каждого человека имя было «брат» — для Гоголя это был первый акт на пути к совершенству. **Прежде всего** нужно научиться любви к каждому своему брату, только тогда можно быть способным любить Бога. Здесь нет и следа личного пиетизма в этом суровом требовании. Верно, что Гоголь не имел интереса к социальным и политическим реформам, и из-за этого был осужден Белинским как реакционер. Но он ни в каком смысле не был защитником существующего положения. Он был резок и патетичен в этом пункте. Мир, который он видел рушащимся, стоял под знаком Апокалипсиса. Тем не менее, здесь были добрые знамения: молодежь теперь «старалась обнять всех людей, как братьев, и переделать человечество». Гоголь предполагал, что все должно быть общим; дома, земли и т. д. — смелый взгляд в гоголевское время.

Разное, и часто противоречивые мотивы перемешались в последней книге Гоголя, которую можно рассматривать как его последнюю волю, его духовное завещание. Апокалиптическая тревога и утопические надежды на скорое возрождение России и наступление Священного Царства Христа на земле не могут быть легко примирены, хотя эта парадоксальная комбинация не совсем необычна в истории человеческой мысли: это было довольно типично в век пиетизма. Страх и Любовь странно сочетались в собственном Гоголевском религиозном опыте. Он был в одно и то же время искренне смиренным и даже склонным к самоуничтожению, и несносно притязательным, почти непреклонно гордым — эта

странная смесь раздражала его лучших друзей в Москве. С юных лет Гоголь смотрел на себя как на орудие Провидения. Он был уверен, что избран для какой-то высокой и исключительной миссии в мире, что он предназначен для какой-то высокой задачи. В какой-то мере это настроение было характерно для всех людей романтической эпохи. У Гоголя вера в себя иногда возрастала до настоящей одержимости: «Кто-то невидимый пишет передо мной могучим жезлом». Гоголь часто требовал веры в непогрешимость своих слов. «Мои слова теперь обладают высшей силой», воскликнул он однажды, «и горе тому, кто не будет слушать их». По этой причине Гоголь ожидал так много, слишком много от своих писаний, и по этой же причине он так болезненно воспринимал свои неудачи. Он хотел действовать как советник своих знакомых и друзей претенциозными приказаниями, и требовал веры в непогрешимость своего авторитета даже в частных делах. Это внутреннее противоречие, это неразрешенное разногласие было корнем его личной трагедии и гибели. По природе Гоголь был экстрове́рт, хотя он имел привычку смешивать мечты и реальность. С другой стороны, он притязал знать человеческую душу, человеческую внутреннюю жизнь, что было как раз его слабым местом. Его пророчества были часто немногим больше простой ретирики. И однако у него была и подлинная пророческая прозорливость. В его поколении он был одним из немногих, способных почувствовать и понять, что весь исторический мир был накануне кризиса и уже вошел «в революционную ситуацию». Мир был в состоянии опасности, в тупике и под угрозой, это было одновременно и настоящим пророчеством и своевременным предостережением.

Несмотря на свою громкую литературную славу, Гоголь — одинокая фигура в истории русской мысли; его литературное наследство было жестоко перетолковано. Его воспринимали как великого юмориста, хотя его смех был всегда горьким, и как пионера реалистического направления в литературе. Его религиозные идеи обычно умалчивали, пренебрегали или отвергали их как бессмысленное суеверие. Однако, нельзя забывать, что Достоевский был прямым преемником Гоголя.

Всю свою жизнь Достоевский боролся с одной основной проблемой — проблемой человеческой свободы. Это был его начальный пункт, его основная интуиция, его центральная тема. Достоинство человека, его человеческая подлинность укоренена в его свободе. Потеря свободы есть для человека самая большая опасность. Но свобода есть одновременно и привилегия, и бремя, дар

и задание. Величайшие человеческие достижения и наиболее страшные падения исходили от его свободы. Свобода внутренне динамична. Она дана человеку, она укоренена в его природе, но ее нужно бдительно охранять. Станным образом, свобода может быть потеряна, потому что мир свободы проблематичен. Свобода всегда на перекрестке, всегда ставит нас лицом к лицу с решительной антиномией: по природе человек свободное существо и призван к свободе, но в эмпирической реальности он обычно оказывается рабом. В чем причина этой неволи? Есть ли какая-нибудь охрана этой свободы?

Рано в жизни открыл Достоевский таинственный парадокс человеческой свободы. Весь смысл и вся радость человеческого существования лежит как раз в его свободе, в свободе мысли, в свободе воли, в свободе действий. Вся ценность человеческого существования предполагает свободу. И все-таки достаточно парадоксально, свобода сама может сделаться орудием неволи. Больше того, человек может поработить не только других, но и самого себя. С другой стороны, свободная воля может вырождаться в своеволие, ведущее к самоубийству свободы. Корень человеческой трагедии не столько в его столкновении со слепым неумолимым роком, как было принято древними греческими трагедиями, но скорее в заблуждениях собственной воли, в разладе и столкновении различных своеволий. Это было, быть может, самым глубоким прозрением Достоевского. Эту тему можно проследить через все его писания. Он знал очень хорошо, что человек часто бывает поработан социальным давлением, насилием и принуждением, тиранией и пренебрежением, бедностью и многими другими силами — коротко говоря, средой. Достоевский всегда готов был заступиться за всех «униженных и оскорбленных», за обиженных и угнетенных. Он был очень хорошо осведомлен о социальных болезнях и ужасах, и мог описывать их с несравненной силой и пафосом и с потрясающим реализмом. Достаточно вспомнить, что «Зимние заметки о летних впечатлениях» поистине пророческие. Он начинал свою литературную карьеру с трогательной защиты «бедных людей». Но он пришел к заключению, что корни человеческой неволи не во внешней среде, но, прежде всего, в его внутренней жизни. Замечательно, что после того, как он написал свою первую «филантропическую повесть», Достоевский сейчас же обратил свое внимание на другую сторону проблемы, на более глубокое психологическое уровне. Он занялся странным феноменом человеческой «отчужденности», добровольного одиночества. Может быть от французских со-

циалистов (особенно от Фурье и Жорж Занд) Достоевский впервые узнал, что конечным источником всех социальных болезней является духовная разобщенность, распад и упадок «братства» между людьми. Именно это было исходным пунктом французской социалистической школы. Тема отчужденности была также характерна для романтизма. Человек отлучает себя от среды из протеста или затем, чтобы обеспечить и сохранить свою индивидуальную независимость. Он прячется в отгороженном мире, в котором он кажется единственным господином. Может быть, таким образом он достигает освобождения от внешнего принуждения, но только дорогой ценой. Он находится в опасности потерять контакт с объективной реальностью. Он делается как бы своим собственным арестантом, пленником своих собственных страстей и мыслей, над которыми он не имеет контроля. Его опыт сужен и обеднен, его личность может сломиться в любой момент. Такого убеждения Достоевского, с тех пор как он писал «Двойника» и «Белые Ночи». Проблема «мечтателя» сделалась центром его дум. Большинство его героев в последующих больших романах были одержимы, и как бы съедены идеей. Достоевский изображает превращение мечтателя в «сверхчеловека». Мечтатель делается агрессивным, и желает навязать свои мечты и свое «своеволие» другим людям и внешней реальности. Мечтатели имеют тенденцию смотреть на свои идеи и страсти как на абсолютный авторитет, и в то же время страдают неисцелимой шизофренией, — Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов. Претензия на полную авторитетность коренится в «своеволии». Начинается она с обособления от исторической реальности, а кончается бунтом против Бога. В этом развитии есть грозная последовательность. Такова судьба человека, оторванного от корней. Одиночество и бунт неразрывно связаны.

Человек — существо социальное, созданное для общественной жизни. Но общество само разрушено. Оно потеряло свой «органический» характер. Связь теперь держится только «идеями», т. е. абстрактными принципами. Оно само сделалось сферой принуждения, угрозой личной свободе человека. В этой ситуации бунт личности кажется оправданным. Достоевский мог узнать это от своих ранних социалистических вдохновителей. Но он унаследовал от них также убеждение, что подлинное или совершенное общение может быть построено только на любви и братстве. Равенство и свобода должны сопровождаться братством, которое должно быть более, чем только принципом.

Планы нового общества стремились наложить новую отвлеченную схему на действительность, которая обещала быть не менее обременительной, чем старый порядок. Идея порядка господствовала во всех этих схемах. Но подлинный вопрос был не о новом порядке, а о новом человеке. Ранние сомнения Достоевского были подтверждены его опытом в «Мертвом Доме». Действительно, там он мог хорошо наблюдать роковую власть зла над человеком, со всеми его потенциальными последствиями. Но его главное открытие было в другом. Ежедневная жизнь преступников была достаточно ужасной, но настоящее мучение было в том факте, что эта общая жизнь была принудительной. Замечательно, что в «Мертвом Доме» Достоевский в первый раз выдвинул образ «дворца». Он прекрасен сам по себе, и все в нем приспособлено для удобства и счастья человека. Только одного не хватает — свободы. В своих последующих работах Достоевский разрабатывает этот образ в своем бурном протесте против всяких схем идеального общества... От «Мертвого Дома» оставалась одна только ступень к «Подполью». В этом пункте трагическая антиномия человеческих затруднений встает в полном объеме. Она не могла быть решена ни индивидуальным отчуждением, ни включением себя в какой-нибудь порядок, каким бы совершенным он ни был. В обоих случаях свобода или урезана, либо стоит под угрозой. Может ли быть эта антиномия вообще разрешена? От гуманистической концепции братства Достоевский перешел к органической теории общества. Это носилось в воздухе в то время в России. Возвращение «к природе» или «к почве» можно было рассматривать как лекарство против индивидуалистического разобщения и против угрозы снов и мечтаний. Достоевский, однако, не мог долго удовлетвориться этим решением, хотя некоторые элементы этого органического воззрения оставались в его поздних опытах и синтезах. Помимо того, возвращение к органическому целому было невозможно, потому что мир находился в состоянии кризиса. Действительный вопрос заключался в том, как можно выйти из развалин старого мира. В этом пункте Достоевский не мог идти путем Льва Толстого, который стал на него приблизительно в то же самое время. Достоевский смотрел вперед, и не мог быть удовлетворен ссылкой на статическую структуру человеческого существования *in abstracto*. Тем более, что он не верил, что человеческая проблема может быть решена только на личном уровне, индивидуальными обращениями. Его мысль была существенно социальна; он должен был иметь социальный идеал. В конце его жизни его

убеждение было, как его формулировал Владимир Соловьев, что человеческая проблема может быть разрешена только в Церкви, на которую он смотрел как на «социальный идеал».

Достоевский, конечно, имел в виду восточную православную Церковь. Он не верил в то, что западное христианство может преодолеть кризис, в который оно было вовлечено, своими средствами. В этом вопросе он был очень предубежден, и было достаточно пристрастности в его пророчествах. Но его предубеждения не должны затемнять ценности его основного убеждения: только в Церкви Христовой человеческая свобода может быть примирена с живым братством, к которому приводит единство людей во Христе. Его мысль исходит из двух разных вопросов, связанных друг с другом, но не равноценных. С другой стороны, он верил, что Церковь как божественное учреждение есть область спасения, в которой проблемы человека разрешаются, свобода человека восстанавливается. С другой стороны, он продолжал верить в возможность окончательного «исторического» разрешения всех человеческих противоречий. Это была очевидная утопическая примесь к его вере в имеющее наступить всеобщее воссоединение, как он патетически выразился в своей Пушкинской речи. Тем не менее христианство Достоевского не было ни в каком смысле «розовым», как Константин Леонтьев совершенно несправедливо утверждал, только обнаруживая ограниченность своей собственной мысли. Взгляд Достоевского на жизнь был гораздо трагичнее, чем у Леонтьева, и в его размышлениях было гораздо более мужества. Для него история была родом длящегося апокалипсиса, в котором Бог и дьявол борются друг с другом. Мир человеческих ценностей был разрушен демоническим подлогом. Новая Вавилонская башня — в процессе строительства. Аполлон еще раз будет противостоят Христу. И если Достоевский все еще верил в любовь, то для него это была любовь Христа, Распятая Любовь.

С юности Достоевский осознал трагизм человека. Он мог различать симптомы духовной тревоги, усиливающейся тоски и отчаяния в человеческих сердцах, в человеческом обществе, на всех уровнях человеческого существования. Современный человек — дерзкая, бунтующая тварь, он может решиться даже на кощунственные претензии и присваивать себе божественное достоинство. И однако это бунтующее существо — существо страдающее и беспокорное. В суматохе современной жизни, перед лицом возрастающего бунта и вероотступничества, Достоевский распознавал и тоску безверия. Его глубокое убеждение было, что неес-

тественно для человека отрицать Бытие Божие: *quia fecisti nos aol te*. Человек перестает быть подлинным человеком, когда он отступает от Бога и притязает на независимость. С другой стороны, Достоевский слишком хорошо знал, с каким трудом дается человеку вера. Он имел привычку говорить, что его вера ни в каком смысле не была «наивной», не знавшей трудностей и сомнений, «что его Осанна через горнило сомнений прошла», была испытана и проверена. Действительно, он сам был уязвлен сомнениями и колебаниями своего беспокойного и скептического века. От его юных смутных и сентиментальных отношений к историческому Христу был трудный и длинный путь к окончательной вере в Божественность Христа и в решающую роль воплощения в спасении человека. Но изображая скептические и атеистические аргументы своих героев, он не всегда говорил о себе или о своем личном опыте. Он был способен говорить с такой несравненной прозорливостью, честностью, симпатией и точностью только потому, что его собственная вера была сильна. Достоевский не был богословом, хотя он был христианским мистиком и пророком в своем собственном стиле, и никогда не претендовал на авторитет или компетенцию на этом поприще. Не нужно искать в его романах точных и аккуратных догматических положений, как это, к сожалению, делали для полемических целей. Но он был верующим, который имел не только право, но и обязанность давать ответственный отчет о своей вере.

Он претендовал на то, что до него даже на Западе никто не был способен представить проблему атеизма с такой полнотой и силой, как он. И он делал это нарочно и сознательно, чтобы показать его обманчивость. Он чувствовал, что не имеет смысла спрашивать о происхождении нигилизма в России, потому что все были нигилистами. Достоевский хотел этим сказать нечто простое: люди в большинстве имели тенденцию быть небрежными к вере и всегда сводили ее к некоторым принципам. Поэтому неверие не может быть преодолено аргументами, но только внутренней очевидностью, встречей с живым Богом. Могло казаться, что Достоевский представляет дело веры менее убедительно, чем дело неверия. Аргументы Ивана Карамазова не опровергнуты в романе. Фактически они могут быть уничтожены только актом веры, они не могут быть опровергнуты в «нигилистическом» контексте. Опыт сам должен быть расширен, гордый человек должен смириться.

Достоевский был прежде всего истолкователем кризиса. Он не столько боролся с метафизическими проблемами как таковы-

ми, но скорее с экстенциальным положением человека. Соответственно этому он описывал метафизические решения проблем прежде всего со стороны их влияния на судьбу человека. Свобода была в центре его исканий. Это — тема его великой «Легенды о великом инквизиторе» (может быть, величайшем из его достижений, и в то же время наиболее спорном и загадочном). Есть ли это произведение изложение взглядов Ивана Карамазова? Или сам Достоевский говорит через него? Есть ли образ Христа «ортодоксальный» образ или нет? Была ли легенда написана прежде всего, или даже исключительно о Католической Церкви, и Инквизитор представлен как ее полномочный представитель? И кто в конце концов оказывается победителем в эпизоде, который кончается так внезапно и неожиданно. Нет согласия и единодушия ни в одном из этих вопросов, но можно считать, что ни один из них не касается основной темы романа. Настоящий стержень легенды лежит в противопоставлении свободы со всей ее неопределенностью, опасностями и риском, и «успокоения» (в передаче своей воли другому), как это инквизитор глашает и навязывает. В действительности самое противопоставление фальшиво. Настоящего удовлетворения не может быть для человека без свободы. Всякое другое удовлетворение низведет его до низшего состояния, что как раз инквизитор и делает. Здесь лежит основное заблуждение человека, главный обман и подделка «умного» духа. (Личное мнение Достоевского ясно, даже если он и говорит от имени Ивана.) Даже если мы будем верить искренности Великого инквизитора и допустим, что он действует под влиянием жалости к неустойчивым и слабым, то любовь, которая не уважает свободы, есть демоническая подделка. Верно показана в Легенде трагедия ложно направленной филантропии. Это новая вариация старой темы Шигалева в «Бесах»: начинать с неограниченной свободы для немногих, чтобы кончить неограниченным рабством для всех.

Может показаться парадоксальным, что Христос в легенде не дает другого ответа на поношение соперника, кроме молчаливого поцелуя. Но может быть это и есть единственный подлинный божественный ответ на вызов? Не приходил ли Христос на землю, чтобы спасти слепых и потерянных? Некоторые основные мотивы Легенды и самая схема искушения предвосхищены уже в ранних произведениях Достоевского, начиная с «Бесов». В то время Достоевский думал о социалистической утопии, в которой преимущество было дано порядку и благоденствию за счет сво-

боды. Во всяком случае, легенду, так же как и нападки самого Достоевского на Римскую Церковь в Дневнике писателя, нужно понимать в контексте того времени, когда они были написаны, т. е. скоро после издания Syllabus'a первого Ватиканского Собора, когда общее впечатление в Европе было, что Рим — против свободы. Может быть, это впечатление было ложным или очень преувеличенным, но нельзя забывать того, что в то время это мнение разделялось многими верными, честными членами самой Римско-католической Церкви.

Ясно, что в кратком обозрении нельзя исчерпать все богатство наблюдений и намеков Достоевского. Тем менее возможно перевести его опыт с языка образов на язык идей. Логическое резюме его видений даже нежелательно. Как визионер и пророк, Достоевский стал руководителем следующих поколений в их религиозных исканиях, и не только в России.

Д. Н. Овсяннико-Куликовский, известный литературный критик и историк русской литературы, делает поразительное заявление в своей книге о Толстом в 1908 году. Он решительно утверждает, что Толстой не был ни в каком смысле религиозным человеком, что даже у него не было никакого дара религиозного. То, что Толстой выдает за религию, есть только суррогат... «Его учение было сухим, рациональным и рационалистическим. Это не была религия души, но религия силлогизмов». Овсяннико-Куликовский был позитивистом, и сам не имел религиозных убеждений, но он имел большой интерес к психологии религиозного опыта, поэтому его утверждение не может быть просто обойдено. Он был поражен совершенным отсутствием трансцендентного в видении и опыте Льва Толстого.

Толстой сам описывает свой религиозный кризис в конце семидесятых годов в «Исповеди». Это странная книга — истолкование, а не рассказ. Она построена по схеме «обращения». То есть, что Толстой вел легкую, праздную жизнь, но потом обратился, проснулся и понял свою греховность. Это типично «обращенская тема». Несомненно, что Толстой был глубоко потрясен в то время, однако это было не в первый раз. Это был тяжелый опыт, но вряд ли здесь произошла перемена убеждений. Толстой сам подчеркивает два аспекта своего обращения. Первое было чувство недоумения: был ли вообще смысл в жизни? Второе была жажда смерти и отвращение к жизни, страх перед жизнью. Все казалось ложью; только смерть была истинна. Был ли какой-нибудь смысл в жизни, который бы мог пережить смерть? По сло-

вам Толстого, это было чувство оставленности, потерянности... Потом кризис был преодолен пониманием. Толстой понял, что он не один в мире. Тогда, он подчеркивает, сила жизни вернулась к нему, но именно старая, прежняя сила, которая всегда была в нем, а не новая. Здесь не было перемены, кроме его собственного отношения. Здесь не было встречи в этом обновлении, не было мистического опыта, не было нового открытия или откровения. Все внезапно стало ясно и понятно: Бог есть жизнь. После этого главного кризиса Толстой продолжает свои религиозные изыскания. Собственно, он ничего не искал, он испытывал веру других в прошлом и настоящем, делая свой собственный выбор и грубо пропуская все, чего он не мог понять или не хотел принять. Даже само Евангелие сделалось объектом этой проверки. В одном из своих поздних очерков Толстой рекомендует следующий метод чтения Евангелия: берите карандаш и отмечайте все места, которые вы можете понять, «что просто и совершенно понятно». Толстой был уверен, что все сделают приблизительно тот же самый выбор, что и он, потому что разум тождествен у всех людей. Прежде всего нужно верить в разум, и потом делать выбор из любого писания: еврейского, христианского, магометанского, буддийского, выбирая все, что согласно с разумом, и потом отвергая все, что с ним не согласно. Этот процесс сам Толстой упорно производил, совершенно пренебрегая при этом тем контекстом, из которого он вырывал свои выборки. Что удивляет в этом странном методе — это наивная вера Толстого в непогрешимость разума и здравого смысла. Он предполагал, что ошибки могут произойти везде, за исключением разума, который дан человеку Богом. «Дайте возможность следовать разуму, и не будет разногласий...». Толстой несомненно имел жажду духовной жизни, но она была отравлена и разложена его необузданным рационализмом. Он был способен оценить «Невидимую брань» св. Никодима Святогорца, любимое руководство афонских монахов, но он её тоже измерял критерием «понятности», и желал опустить все «лишнее». Он читал Жития Святых и Писания Отцев и учителей духовной жизни, но опять-таки опуская все, что касалось чудес, и все, что касалось догматов. Христианство не было исходным пунктом его веры. Он был существенный «до-христианин» в своем складе ума, и мог принять Евангелие только в своей очищенной версии. (Он симпатизировал стоицизму и восхищался Эпиктетом и Сенекой. В них все было понятно).

В 1852 году он писал в своем дневнике: «Я верю в Единого Непонятого доброго Бога, в бессмертие души и в вечное воздаяние за наши дела. Я не понимаю тайны св. Троицы и воплощения Сына Божия, но я уважаю и не отбрасываю веру своих отцов.» (Впоследствии выражение «не могу понять» сделалось его главным оружием в разрушении «веры своих отцов»). В 1855 году он отмечает в своем дневнике свою новую «огромную идею» об основании новой религии, приуроченной к современной степени человеческого развития. Это должна быть религия Христа, но очищенная от веры и тайны, и не будет обещать никакого будущего блаженства, но даст счастье на земле. Все люди смогут объединиться в этой религии. В 1860 году он решает написать «материалистическое Евангелие», «жизнь Христа-материалиста». Нелегко найти истоки всех этих проходящих планов и идей. Но ясно, что его последующая вера была подготовлена этими исканиями в годы перед его так называемым обращением. Он психологически был укоренен в эпохе Просвещения и Сентиментализма. У читателя его ранних дневников и многословных интимных писем получается впечатление, что они были написаны современником Жуковского и даже Карамзина. Он психологически не принадлежал к своему собственному поколению, но оставался далеко позади его. Он был в постоянной оппозиции к ходу истории.

**Война и Мир** была первоначально задумана, как атака на историю, и эта тенденция все еще сильно чувствуется в окончательной версии; историко-философские отступления, которые многие читатели просто пропускают, были по плану Толстого неотъемлемой частью романа, род непрерывного комментария. Согласно этим отступлениям, история не имеет смысла; это иррациональный поток событий, существенно равнодушный к человеческим стремлениям и человеческим целям и намерениям. Смысл может быть найден в частной жизни людей, но не в больших исторических событиях. Овсяннико-Куликовский описывает «Войну и Мир», как «нигилистический эпос». Несомненно, что таково было начальное намерение Толстого, который подчеркивал, что ничего действительно ценного не случается и не исполняется в истории. Из нее легко выйти. Сообразно этому Толстой должен был отрицать культуру в духе Руссо по тем же причинам и, может быть, под прямым воздействием французского учителя, перед которым он всегда чувствовал восторженное восхищение. Культура есть создание истории, историческая надстройка, установленная поверх природы и здравого смысла. Она основана на тра-

диции, на накоплении человеческих достижений и опыта. Толстой видел в культуре извращение, бремя, растрату энергии и времени. Если он не мог выйти из истории, даже уйдя в частную жизнь, он надеялся по крайней мере уйти от культуры, вернуться к простой докультурной стадии. Б. М. Эйхенбаум, один из наиболее компетентных исследователей Толстого в последнее время, удачно описывает позицию Толстого как **нигилизм здравого смысла**, в котором здравый смысл направлен против истории. Благодаря своему радикальному «антиисторизму» Толстой был неспособен понять христианство и не мог не отвергнуть его; христианство существенно-историческая религия, обращенная вполне к историческому Откровению, в разное время и многообразно. Обращение к историческому Откровению для него не имело смысла. Как он мог принять христианскую метафизику, когда вся философия была для него только бессмыслицей и иллюзией.

Из всех современных философов Толстой уважал только Канта, и именно наиболее слабую часть Кантовской системы — философию религии. Толстой был более чем под влиянием философии Канта, он буквально разделял его концепцию «Религии в пределах чистого разума», с исключением всего «мистического» и «чудесного», с упорядочением организации и законничеством. Конечно, Кантовский «Vernunft» и Толстовский «разум» не совсем одно и то же. Но увлечение «легализмом» было одинаковым в обоих случаях. У Толстого был темперамент проповедника морали, но его взгляд на мораль был странно ограничен. Высшая моральная категория для него была — закон. Он постоянно призывает людей делать не то, что добро, но то, что по закону, или предписано. Только исполнение закона дает удовлетворение. Только его исполнение нужно и радостно. Бог для Толстого не был Отцом Небесным, но Хозяином, у которого нужно было работать. Любопытно, что даже в молодости Толстой был склонен к мелочному распределению своей жизни и поведения, хотя и не имел в этом большого успеха. Он хотел жить согласно расписанию, отмечая свой успех или неудачу день за днем. Эту привычку он сохранял до самых своих последних дней. Моральное поведение могло быть, по его мнению, сведено к расписанию, простой и разумной схеме.

Несмотря на эту ограниченность, Толстой был широко признан, как моральный вождь, как учитель праведной жизни, хотя немногие готовы были следовать за ним до конца. Сила Толстого была в его радикализме, в его полемической искренности, в его

страстном и откровенном разоблачении человеческих немощей и противоречий. Его зов был услышан как зов к покаянию, к обновлению жизни. Однако его положительная программа была бедна и поверхностна, несмотря на его радикализм. Он никогда не шел дальше призыва «понимать» и «воздерживаться». Достаточно странно, что Толстой не видел глубины и силы зла в человеческой душе. Иногда его артистическое видение опережало его моралистический анализ, и он мог изображать опустошающий рост страстей и бремя искушений. Открывая нечистоту в человеческой жизни, он говорил о ней с презрением, отвращением и антипатией. Однако стыд еще не есть раскаяние, хотя он и может вести к раскаянию. В «Воскресении» его попытка описать обновление разбитых душ вряд ли успешна, потому что его представление о человеческой личности было недостаточно. Его объяснение происхождения зла в человеческой жизни плоско и наивно: зло рождается из ошибок, из чьих-нибудь обманов или ошибок в прошлом, или чьего-нибудь обмана или глупости, или чьей-нибудь злонамеренной лжи. Такие идеи были как раз в стиле Просвещения. Более глубокий аспект человеческой дилеммы ускользал от Толстовского внимания. Он не мог понять проблемы социального бытия: он был неисправимый индивидуалист. В его моральном учении была парадоксальная непропорциональность между агрессивным максимализмом его нападок и удивительной бедностью его позитивной программы. В действительности его этика сводилась к здравому смыслу и практической осмотрительности. Он был способен сказать, что даже Христос не требовал от людей ничего, кроме того, чтобы не делать глупостей. В Толстовской сводке Евангельских текстов Христос представлен только как учитель счастливой жизни. Теория непротивления была капитуляцией или тупиком. Даже Максим Горький был поражен отсутствием энтузиазма и вдохновения в Толстом, который говорил о Христе без всякой искры вдохновения.

Кажется, в самые последние годы Толстой стал больше отдавать себе отчет о том тупике, который он сам себе создал. Максим Горький говорит о бесконечном непреодолимом унынии и одиночестве, которое он распознал в глубине Толстовского радикального отрицания. Во всяком случае, Толстовский «уход» был патетическим эпилогом длинной жизни опытов и колебаний.

Остальное — молчание.

1890-ые годы были критическим периодом в истории Русской мысли и литературы. В этот период возрождающегося романтиз-

ма и символизма мотивы надежды и отречения, ожиданий и уныния, веры и разочарований были странно слиты на новый лад. В конце века религиозные темы стали характерны. Общее направление достигло своего апогея в первое десятилетие нового столетия, накануне первой мировой войны. Н. А. Бердяев правильно назвал все это движение русским религиозным ренессансом. В целом оно содержит странную смесь прозрений и иллюзий, честного искания и безответственных блужданий, в которых сочетались разные мотивы в философии, искусстве и литературе. Когда наследие старых мастеров было вновь открыто и воспринято в изменившейся ситуации и в новой перспективе, религиозные и пророческие заветы Гоголя и Достоевского, и Толстого ожили в сознании русской интеллигенции. Позже они получили новое значение во время русской революции. Важность великой русской литературы прошлого века — ее религиозная и профетическая черта — были могущественным стимулом в искании последней реальности и истины.

### ВОКРУГ «ЛИТУРГИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК» О. СЕРГИЯ ЖЕЛУДКОВА \*)

#### I. ПИСЬМО-ОТКЛИК ИЗ МОСКВЫ

Откликаясь на столь настойчивый призыв, и я решился вставить несколько слов в предполагаемый второй том ваших «Литургических заметок».

Начну с того, что русское богослужение прекрасно. Это настолько бесспорно, что никого не удивляют случаи прихода ко Христу, в которых первым толчком к осознанию религиозной действительности была именно церковная эстетика. Только о нашей Литургии мог сказать О. Мандельштам: «и Евхаристия, как вечный полдень, длится». Богодухновенна русская иконопись, великолепны музыкальные композиции. Душа нашего народа достойно славит имя Творца и одухотворяется в них.

Однако что касается словесного содержания службы, то здесь совершенно иная картина. Язык церкви — не русский язык. Помимо тех опасностей, которые указаны вами в первом томе (непонятность, искажения смысла, инерция вместо осознания и т. д.), здесь есть и другая, поистине трагическая сторона. В богослужении хорошо только то, что написано не на Руси. Вы приводите молитвы и гимны, озаренные Светом Божиим, но все они — греческие. Попытки же русского творчества ужасны. Можно только присоединиться к тому, что вы говорите об акафистах. Заимствовав из Византии идею иконы, Русь создала свою икону.

Почему это произошло? Неужели русский человек не имеет словесного таланта? Неужели стихия языка настолько чужда или сера в русском, что он не может славить Творца устами? Нет! Это ни в коем случае не правда. Русский человек необыкновенно одарен именно здесь. Именно в литературном творчестве он явил себя миру. Писатели и поэты России занимают неизменно большое место в судьбе народа. Больше того, как верно заметил В. Ходасевич, писатель на Руси никогда не был писателем

\*) «Литургические Заметки» печатались в Вестнике РСХД, см. №№ 103, 104-105, 106, 107.

— он всегда был пророком. Его жар всегда имел бесспорно религиозную окраску. Как человек он мог и фрондировать против церкви, но как писатель он всегда тянулся к ней. Прекрасный пример тому Пушкин. «Отцы пустынноики и жены непорочны» — это протянутая рука. Рука, которую церковь оттолкнула. Религиозная энергия русского писательского дара — это сердце народа, отданное церкви и ею отвергнутое.

Всё это, конечно, не так просто и не так внешне. Прежде всего, здесь нет виноватых. Дело в том, что церковь и не могла никого принять. Язык церкви и язык русских — разные языки. Принципиально разные. Основой языка, его творческим, определяющим лицом являются отнюдь не корни слов, совпадающие в русском и церковнославянском, но ритм языка, его организация. Это строение фразы, мелодика, синтаксис, ударная инерция. Они то и есть те тончайшие струны, которые заставляют звучать талант и которые заставляют звучать «силу благодатную в созвучии слов живых». В церковнославянском языке есть своя стройность, свой ритм, и они создают его «живую прелесть». Он прекрасен, этот греческий язык с русскими корнями. Но эта его красота сделала для нас невозможным русское литургическое творчество. На нем может писать грек, но не русский. Всякий учащий иностранный язык поймет меня. Нетрудно выучить корни другого языка, но это ни на йоту не приблизит человека к живой действительности словесной стихии. Этим и объясняется полный провал литургического творчества в России.

Разговоры о модернизации церковнославянского языка, о его приближении к народу направлены на разрешение только первой части проблемы: сделать понятным русскому человеку смысл богослужения. Возражения церковных снобов и эстетов: «пусть выучат церковно-славянский, пусть потрудятся, и тогда приходят ко Христу, я-то выучил», при всей их грубости имеют под собой реальную основу: богослужение на церковнославянском языке есть, оно вдохновенно и чудесно, перевод его на русский язык дает крайне сомнительные результаты, а богослужения на русском языке нет. И не будет, добавлю я. Компромисс между снобами и модернистами возможен и желателен — некоторое смысловое осовременивание, — но это компромисс как раз за счет того, к чему вы призываете, за счет литургического творчества. Невозможно написать новые лучшие акафисты, даже вместо «любвы» ставя «любовь». Строй языков разный, а творчество зависит именно от строя языка. Я боюсь, что модернизация церковнославянского языка

отбросит нас назад, к тем временам, когда он был всем понятен, и греческое богослужение внешне удовлетворяло жажду словесного общения с Богом души народа, а русское словесное творчество на таких якобы законных (всем ведь всё понятно) основаниях было не нужно церкви и не возникло в ней, а созидалось отторгнутое, вне храма.

В настоящее время ясно, что всякое предложение, всякий выход есть выход только в будущее. Действительное положение Православия в СССР исключает возможность сиюминутного переворота. Да он и не возможен. Ведь ничего нет! Куда переворачиваться! Сначала надо что-то показать, выложить. Чтобы выступать с какими-то предложениями, надо иметь хоть что-нибудь готовое. Какие формы может принять русское словесное творчество в литургике? Что заменит акафисты? Какое место займет в богослужении великое создание гения нашего народа — русский стих? Пока это вопросы риторические, но боюсь, если нам откроется возможность говорить и делать, если времена изменятся, и очнется от своего «паралича со времен Петра», по словам Ф. Достоевского, русская Церковь, то нам нечего будет принести в храм, нам нечего будет ей предложить. Мы окажемся в положении школьника, который весь урок тянул руку вверх, желая показать, что он что-то знает, а когда его спросили, что же он хочет сказать миру, вынужден был стыдно промолчать.

Настоящее время дано нам на то, чтобы мы приготовили свой урок, и когда Церковь вызовет нас, вынесет к нам алтарь и скажет: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его», русский народ вздохнет, и «уста моя возвестят хвалу Твою».

П. И. Москва

## 2. КОЕ-ЧТО О «ЛИТУРГИЧЕСКИХ ЗАМЕТКАХ» о. С. ЖЕЛУДКОВА

Заметки о. С. Желудкова, с одной стороны, являются добрым показателем, что в подъяремной России жива богословская мысль и смелость высказывания своих мнений.

Многие мысли автора глубоки и понуждают серьезно задуматься, но с другой стороны, некоторые из заметок о. Желудкова по форме почти непристойны и обличают непродуманность автора.

Обращая внимание на кое-какие уклонения нынешних форм богослужения от их первичного глубокого смысла, о. Желудков

нередко свою основную, иногда исторически обоснованную критику смешивает с критикой недолжных недостатков выполнения богослужений. Иногда же вину неблагоговейного служения он как будто прямо приписывает кое-каким недостаткам самого богослужения. Это особенно ярко ощущается в его последних заметках об архиерейских службах. В мирском быту наблюдается иногда такого же рода неудачная критика. Так вина за сумбур плохо разыгранной Шекспировской гениальной пьесы приписывается недостаткам самой пьесы и, в конечном счете, самому Шекспиру.

В 107-м номере Вестника Р.С.Х.Д. неуклюжесть такой критики о. Желудкова обличается особенно наглядно напечатанной рядом статьей выдающегося литургиста о. Александра Шмемана. Эта статья также критически указывает на некоторые детали современной литургии, которые вследствие долгого исторического процесса отчасти затемнили основной и первичный смысл великого тайнодействия.

Смысл этот прежде всего в том, что литургия — это таинство Церкви, таинство собрания, собирания верующих в одно целое, в Христово стадо, в конечном счете — в единый организм тела Христова.

О. Александр, указывая также на недостатки исполнителей богослужения, видит вину этого отчасти в непонимании частично утраченного основного смысла литургии, но не в самых литургических текстах. Кроме того, в своей критической работе о. Александр остается всегда пристойным и благоговейным.

Если о. Желудков в архиерейской службе, как будто, более всего видит ненужную парадность, то о. Александр показывает, что в архиерейской службе более всего сохранилась связь с древними литургиями, с теми, что совершались еще только епископами.

Епископ возглавлял все собрание, как бы воплощая в себе его единство, и был в некотором смысле образом единого истинного первосвященника Христа. Отсюда вся торжественность епископского служения.

Разумеется, победа Христа — это Его самоуничужение (кенозис), смирение и, наконец, крест, древо позорной казни. Но в Церкви, которая есть уже начало Царствия Божия, крест сияет, иногда золотом, иногда драгоценными камнями. Одежды священно- и церковнослужителей также сияют и блистают, несмотря на то, что и они знаменуют Христово самоуничужение. Митра, согласно

многим толкователям, — это образ тернового венца, саккос и фелонь — хламиды нищих, поручи — оковы влекомых на суд или даже на казнь людей.

Но в Царстве Божием, где «праведники воссияют, как солнце», они воссияют особенно за свое земное унижение, смирение и страдания за правду Христову. Церковь как начаток Царствия Божия, особенно в своем богослужении, дает нам образ будущей славы. Можно сказать, что церковное богослужение всегда эсхатологично; истинному духовному взору дано провидеть в опозорении и страдании праведников их славу (как благоразумному разбойнику), и наоборот, в явленном в наших храмах торжестве и блеске, преображенный в этой славе весь ужас унижения и страдания.

Все сказанное не означает, что нельзя с практической целью уменьшить церковную торжественность и кое-что сокращать, на что нередко правильно указывает о. Желудков. Темп жизни нашей эпохи может действительно потребовать и другие, не указанные Желудковым сокращения и упрощения. Но все это надо делать осторожно, продумано и соборно, с обязательной помощью действительно ученых и благоговейных литургистов, и отнюдь не приспособляясь ко вкусам мало понимающих современников.

К сожалению, горячо и остро иногда чувствуя нелады нашего богослужения, особенно его исполнения, так же как слишком узкое, старообрядческое обережение некоторых внешних форм, о. Желудков сам иногда обнаруживает непонимание существенного смысла богослужения и в своей критике грубо рубит как бы с плеча. Данная заметка не имеет целью детально рассматривать все утверждения о. Желудкова. Лишь для примера укажем, что действительно смущающий многих священнослужителей вопрос о посмертной разрешительной молитве как будто подвергся автором «литургических заметок» серьезному исследованию, и предположение, что эта молитва некогда читалась только духовником почившего, м. б. дает верный ключ к пониманию данного обычая.

Сопоставление некоторых форм русского богослужения с греческими и даже старообрядческими может быть полезным методом, но с оговоркой, что не все более древнее есть обязательный критерий истинного смысла.

Все должно рассматриваться на основе общего живого предания Церкви в связи с Новозаветной письменностью, которая есть первичное выражение церковного предания.

В заключение скажу, что на мой взгляд, заметки о. С. Желудкова бесполезны, но их несдержанный, а порой почти непристойный стиль может многих ввести в соблазн.

Епископ АЛЕКСАНДР (СЕМЕНОВ)

### 3. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция!

Я — приезжая из страны за «железной занавесью», и т. к. через короткое время возвращаюсь домой, не могу сообщить свое имя, это может быть для меня небезопасно. Живя несколько недель здесь, мне попался в руки ваш «Вестник» РСХД, № 107. Много меня в нем заинтересовало, многое тронуло мою душу, но одна статья меня возмутила до глубины души и очень огорчила. Это касается «Литургических заметок» свящ. С. Желудкова. Извините, но мне что-то не хочется верить, что так может писать священник. Мне сказали мои знакомые, что и в предыдущем № **Вестника** были «Заметки», но я их читать не стала — хватит с меня и этого №. Эти «Заметки» произвели на меня впечатление, как самая тонкая и злостная атеистическая пропаганда, которая у нас ведется в печати, в лекциях на заводах, в школах и т. д., и к которой мы все более-менее привыкли, хотя она и отвратительна. Но встретить подобного рода статью в **Вестнике** движения христианского — это меня поразило и возмутило! Для кого эти слова? Для кого эти высмеивания всем нам, верующим, живущим в тяжелых условиях атеистической пропаганды, дорогих обычаев и обрядов православной церкви? Конечно, не скрываю, есть и у нас менее достойные священники и м. б. даже епископы, которые хронят, служат панихиды и под. с чувством, зависящим от того, сколько им заплатят. Но на них-то и указывает антирелигиозная пропаганда, их-то и высмеивает вместе с «бедными» верующими, т. е. людьми, которые находятся «во тьме религиозного дурмана» и под. Нельзя же это обобщать! И духовные лица — люди, у которых есть свои недостатки, но если на дереве одно яблоко гнилое, разве другие не могут быть хорошими? М. б. статья «Литургические заметки» помещена в **Вестнике**, чтобы вызвать полемику среди читателей, но что, если ее некоторые читатели поймут как цель РСХД? Тут недалеко до опровержения вообще всех богослужений и обрядов, даже таинств нашей Церкви, а оттуда уже не-

большой шаг к прямому безбожничеству. М. б. вы скажете: свобода печати, мы печатаем все без цензуры... Но если ваш **Вестник** действительно хочет быть вестником движения христианского, очень прошу вас, не помещайте подобные статьи, которые могут скорее смутить не совсем твердо верующих своим антирелигиозным высмеиванием наших богослужений.

Еще хочу вам сказать, что я не принадлежу к «старому» поколению, а родилась в 30-ых годах этого столетия.

**Н. О.**

Париж, сентябрь 1973.

**А. КОЛЕСОВ**

## **ДАР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Дискуссия (если это слово уместно в применении к нашей ситуации), вызванная великопостным письмом А. И. Солженицына, выявила ряд проблем нашей церковной жизни, оставшихся, в сущности, нерешенными. В качестве одной из первых попыток теоретического осмысления этих проблем следует указать на статью М. Меерсона-Аксенова «Народ Божий и пастыри»<sup>\*</sup>). Статью его можно назвать в какой-то мере итоговой не потому, что она появилась последней, и не потому, что автор как-то разрешает начавшийся спор о Церкви, но потому что он переводит его в совершенно иное русло. Автор вполне прав, когда говорит, что «недостаток переписки в том, что она остается пока в одном диапазоне — оправдания или обличения иерархии и споров вокруг сегодняшней ситуации русского православия. Участниками переписки Церковь заведомо воспринимается как статическое образование, но требуют от нее динамизма, берут ее в отрыве от истории, но хотят, чтобы она стала действенной исторической силой». При таком подходе проблема остается не только нерешенной, но морально и религиозно неразрешимой. Это одна из предпосылок (хотя и не высказываемых) того хода рассуждения, который лег в основу всей статьи.

Несколько слов о самой работе. С точки зрения ясности мысли, сопряженной с широкой публицистической, исторической и экклезиологической перспективой, это одна из самых интересных работ в самиздате. Ее появление внушает надежду, что бесцензурная литература в России, помимо протестов, политических исповедей, протоколов судебных заседаний, помимо стихов или романов может когда-нибудь заговорить и на должном теоретическом уровне. Ведь это одна из самых трагических литератур в мире, она вырастает из чьей-то зажатой правды, из замолчанного страдания или из преодоленного дурмана. За каждым написанным и вырвавшимся на свободу словом стоят тысячи недошедших и недосказанных слов и свидетельств. Опыт, который лежит в основе этих свидетельств, всегда неизмеримо глубже, полнее и суровее рожденной им литературы, как бы хороша она ни была. И потому умение как-

<sup>\*</sup> См. **Вестник РСХД** № 104-105, стр. 101.

то осмыслить его, умение духовно и интеллектуально вобрать в себя глубину этого опыта, умение передать его четким логическим языком есть уже неоспоримое достоинство в той среде, где литературный язык, профессиональные навыки и, наконец, «сама логика как бы полностью принадлежат литературе «разрешенной». В принципе это относится к любой теоретической работе, о чем бы там ни шла речь: о проблемах экклезиологии или метафизике, о социальной психологии или о дзен-буддизме или, скажем, о развитии науки в связи с охраной государственных границ.

Что касается статьи «Народ Божий и пастыри», то сейчас мне хотелось бы остановиться на моральной позиции ее автора. Он не отказывается от собственного мнения, но и не пытается увенчать им развернувшийся спор; он не хочет защитить или обличить кого-то, но и не ставит себя «над схваткой». Он просто предлагает взглянуть на дело иначе. При этом говорит он как человек, сравнительно недавно ставший членом Русской православной Церкви, духовно разделив ее судьбу, не жертвуя вместе с тем ни собственным разумом, ни зрением, ни слухом. И он обращается к молодым христианам, приглашая их не судить кого-то, не закрывать глаза и не затыкать уши, но задуматься над положением Русской Церкви в современном мире с точки зрения их собственного пребывания в ней. Он ставит вопрос о служении Церкви миру, имея в виду прежде всего служение Церкви самих христиан, не иерархов, не священников, но мирян, составляющих «Народ Божий». Подобная точка зрения исполнена не только глубокого нравственного такта, но, по сути дела, должна стать единственным выводом, который сегодняшние христиане, в особенности молодые христиане, могут сделать из дискуссии, развернувшейся вокруг письма А. И. Солженицына.

Но отказываясь от суда над сегодняшним духовенством, автор обращается к суду над той традицией, из которой оно вышло. Он обращается к той издавна сложившейся психологии церковности, к тому укладу, который известен в качестве «исторического православия». В его статье как бы собраны воедино те упреки, которые делались «историческому православию» со стороны многих выдающихся иерархов прошлого, некоторых славянофилов, деятелей русского возрождения, вождей «обновленчества» и др.

Основу тех грехов, в которых упрекают православие, видят обычно в византийском союзе Церкви и государства. В результате этого союза, а также по ряду других причин первохристианские общины превратились постепенно в подданных «христианского го-

сударства», в котором вера приняла слишком земной (при исполнении обрядовых «повинностей») и одновременно слишком небесный характер, ибо имела слабое отношение к повседневной жизни. Подлинная вера находила для себя прибежище в монастыре или в пустыне; только здесь открывалось для нее поле деятельности, в миру ей практически нечего было делать. Монастырь становится духовным законодателем «мира», «мир» терпят (коль скоро он живет идеалами монастыря) не ради всеобщего, но исключительно ради личного спасения, если живет он не аскетизмом, но хотя бы аскетической идеологией, не радостью в Божьем мире, но под знаком «мemento мори», не человеческим, но только ангельским, либо уж совсем бесовским. «Идеология» аскетизма (которая сама по себе еще не ведет ни к каким подвигам, требующим особой благодатной помощи) несет вслед за собой принципиальное равнодушие ко всему, что происходит в мире помимо поста и молитвы, она заражает церковное сознание ложной спиритуализацией (с ее тяжелым символизмом жестов и одеяний); литургия при ней — некогда «общее дело» христиан — превращается в мистерию культа, которую священники-профессионалы «исполняют» перед мирянами-потребителями. Вера пропитывается монашеской психологией; жизнь, как говорит автор статьи, мерится лишь «ангельскими добродетелями», которые как нельзя лучше соответствуют покорности Церкви перед государством; космическое переживание греха нисколько не помогает увидеть то конкретное зло, которое в этом государстве творится. Неудивительно, что добровольное подчинение православному царю становится однажды в результате исторических катастроф (предотвратить которые Церковь не только не могла, но и не умела) полным подчинением структуре атеистического государства.

Все это, повторяю, не сегодняшние открытия. Полвека назад они были выплеснуты обновленчеством, которое сделало их своей программой, замыслом для предстоящих реформ. Но увлекшись этим замыслом, обновленчество в той конкретной эмпирической обстановке, которая была ему предоставлена историей, стало опираться на силы, в принципе враждебные христианству и Церкви. В тот момент, когда Церковь как никогда нуждалась в единстве, солидарности и верности всего церковного народа, обновленцы бросили ей свой высокомерный вызов (я не говорю здесь о политической подоплеке дела, ни о том, что можно назвать «поповским бунтом»). Они «ветхому» обрядовеческому христианству противопоставили новое «духовное» христианство, старым грехам асоци-

альности и «неотмирности» они противопоставили свою социальную правоту. Большею частью они были правы в своих упреках, но в тот момент правота их была худшей и злейшей ложью, так же как ложью была (и остается) правота карловчан, так же как ложью была (и остается) всякая безопасная правота, чем бы она ни прикрывалась. И сегодня мы находимся в парадоксальной ситуации. Мы знаем, что исторически и нравственно их правота была ложью. Но если мы делаем вид, что этой правоты вообще не существует, что тех проблем, которые встали перед церковным сознанием в начале века, не было и нет, что они, эти проблемы — только шутовской хоровод антихриста, то мы также впадаем в весьма сомнительную правоту, которая в какой-то момент оказывается такой же ложью. И проблемы эти остры как никогда, как бы ни были скомпрометированы в наших глазах те, кто их ставил или ставит.

Но здесь речь пойдет не о самих проблемах, но об отношении к ним. Посмотрим сначала, какие выводы делает автор статьи из своего анализа. Логика его такова: из одностороннего монашески-аскетического уклада христианства развилось секулярное движение, которое противопоставило Церкви все то, что было утеряно «историческим православием». Плоды секулярного движения — наука и техника, культура и социальная этика — оказались во вражде с христианством, которое ничего не желало о них знать, которое в лучшем случае допускало их как средство заработка, как безвредное занятие, заполняющее промежуток между двумя посещениями храма. Отсюда вырос тот поистине драматический конфликт, который в секулярном обществе рассматривается как реальное выражение исторического процесса, а православными просто «списывается» за счет приближающегося конца мира и скорого суда над язычниками. Внешняя победа в этом конфликте досталась секулярному движению (науке и технике, культуре и социальной этике), сложившемуся при определенных условиях в колоссальный идеологический массив, подмявший под себя всякую духовную деятельность и прежде всего Церковь. Но «сила современной секуляризации, — пишет автор, — в том, что в ее лице семь новозаветных дьяконов восстали против апостолов, и обе стороны эти забыли, что благодать Божия почилла на обоих служениях, коренящихся в самой природе Церкви».

То, что семь новозаветных дьяконов, которым надлежало печется о столах, некогда восстали против апостолов, которым надлежало благовествовать и молиться, в этом, думается, нельзя уже

обвинять ни иерархию, ни все православие в целом. Христос не обещал нам, что весь мир станет Церковью. Он обещал лишь, что Церковь не будет побеждена миром. И Церковь, которая принципиально отказывается от того, чтобы когда-нибудь воцерковить мир, становится просто обрядовой сектой, оплотом фарисейства и законничества. Именно эта задача воцерковления лежала в основе византийского Союза Церкви и государства; и даже сегодня, когда этот союз расторгнут, Церковь как бы продолжает поддерживать его не только пасхальными и рождественскими посланиями, но и молитвами о «мире всего мира», о «граде сем, всяком граде», о «изобилии плодов земных», о «стране» и даже о «воинстве». Давно уж ни страна, ни воинство не просят ее молитв, но Церковь все же не может отказаться от них не потому лишь, что так заведено и «не нами положено», но потому, что в этих молитвах она выражает сущность своего отношения к миру. В этом смысле ситуация Церкви сегодня мучительна: мир говорит, что не нуждается в ней, она же в принципе не может помириться с его враждебностью и безразличием. Точно так же Церковь в принципе не должна успокоиться на том, что у детей ее могут быть какие-то посторонние дела и интересы, какие-то призвания и свершения, которые не могли бы стать общим церковным делом, которые не могли бы быть освещены ее благословением и молитвой. Я не говорю об идеальной Церкви, ибо Церковь идеальная, вознесенная над Церковью земной, — это чаще всего вредная и лживая фантазия. Я говорю о нашей Церкви, которая сегодня молится, сегодня совершает Евхаристию. И сегодняшняя ее молитва, сегодняшняя Евхаристия есть нечто, что свидетельствует о ее сегодняшней реальности.

Это есть реальность русской Церкви, реальность русской судьбы. Судьба — не бремя, возложенное Богом, не лишний груз, который зачем-то надо дотащить до конца и сбросить у заветного порога, судьба есть дар, который мы приняли однажды, откликнувшись на призыв Божий. Мы избрали его свободно, а это значит, что мы могли бы и отвергнуть его, не заметить, не услышать, оказаться полыми и глухими перед Словом Бога. Но мы избрали свою судьбу как свободу, дарованную Богом, свободу, которую предстоит нам теперь осуществлять на земле. Мы не можем, строго говоря, владеть им, ибо свобода требует для себя постоянного воплощения, и мы не можем быть с ним одиноки, ибо этот дар связывает нас с другими. И все вместе мы несем ответственность за него. Ведь мы откликаемся на призыв Божий не только в глу-

бине наших душ, но и в контексте той духовной, исторической, социальной, культурной и языковой реальности, в которой мы сегодня существуем. Только в недрах этой реальности мы обретаем свою особую судьбу, которая сплетается с судьбой Церкви. Здесь откровение воплощается в живых и особых для каждого народа формах творческого тайновидения — камня, слова, жеста или краски. Церковь — это уже сегодня начавшееся преобразование материи, преобразование, которое совершается по замыслу Бога о каждой земле и о каждом народе. И Церковь — это призыв Божий, обращенный непосредственно к каждому из нас через опыт веками наслоившихся молитв, благословений, призываний Духа Святого, хотя, разумеется, одним обращением не исчерпывается смысл Церкви. Принимая это обращение как дар, мы несем уже за него полную ответственность. Это значит, что мы принимаем беды Церкви как свои именно потому, что участвуем в ее молитвах и верой постигаем абсолютную достоверность ее таинств.

Церковь доносит до нас тот призыв, который мы слышим как Слово Божие. Сегодня нередко слышат Его и становятся христианами люди, выросшие вне христианского воспитания и церковных традиций, вне воспоминаний о детской вере и, как правило, вне какого-то активного влияния со стороны. Человеческое воздействие чаще всего остается слабым в нашей среде, но и тогда, когда оно бывает энергичным и напористым, обращение к Богу происходит в той части души, которая скрыта от постороннего взгляда, иногда закрыта даже от разума вообще. Но в чем бы оно ни выражалось, человеческому обращению — и это следует подчеркнуть, предшествует обращение Бога, всякий зов человеческий раздастся лишь в ответ на призыв Божий, всякая вера в Бога начинается с веры Бога в человека. И в этой вере Бога и в Его обращении уже содержится тайна моей личности, в Его призыве — истоки моего беспокойства, в Его власти — глубина моей покорности и свободы. В моем обращении я прежде всего отвечаю Богу, и чувство ответственности, которое вытекает из обращения, служит в какой-то мере критерием его подлинности.

Я не говорю здесь о принятии христианского мировоззрения, о погружении в христианскую настроенность, т. е. о том, что может сопутствовать множеству иных жизненных и душевных событий и существовать наряду с ними; я говорю о событии, которое в определенный момент стало е д и н с т в е н н ы м событием жизни. Я говорю об обращении, которое однажды стало д е й с т в и т е л ь н ы м ответом на Слово Бога, и о тех, кто д е й -

с т в и т е л ь н о захотел последовать Его Слову. И даже если это желание наше осталось неисполненным, то нам следует хотя бы вспомнить о нем, вспомнить об обращении Бога, задуматься над смыслом этого обращения, насколько он может быть нам доступен, и над тем требованием, которое из него вытекает.

Встреча с Богом Живым оставила в нас чувство радости и даже гордости. Мы гордились не собой, но Богом, который встретил нас, Богом, который пожелал стать нашим Богом. Но в какой-то момент «добрая» наша гордость становится злой, гордостью не Богом, но собственной верой в Него, не призывом Божиим, но переживанием призыва, не обращением Бога, но психологией нашего обращения. Мы легко забываем, что все это дар, который в любую минуту может быть отнят; мы принимаем его как должное, как нечто, данное нам навсегда, как нечто, гарантированное нам Церковью, таинством, обрядом или общей молитвой, мы принимаем его так, как будто от нас не требуется уже никаких усилий, как будто после нескольких шагов мы уже можем собирать плоды нашего благочестия. Мы незаметно влюбляемся в свою избранность, в свою религиозность или церковность и начинаем даже утрировать их. Мы влюбляемся в то, что некогда было подарено нам — в причудливую разумность догматики, в условность иконописи; все это срастается с какой-то частью нашей души, становится внутренним укладом и ритмом ее «ощущений». Мы точно так же влюбляемся и в Церковь, в «идею Церкви», и наша привязанность охватывает и то, что в ней вечно, и то, что в ней ветхо и находится в нестерпимом противоречии с самой этой идеей. Чем же иначе, как не этой религиозной самовлюбленностью, этой жидкостью к собственному мистическому благополучию объяснить тот факт, что последовав призыву Христа, встретившись с реальностью благодати, мы столь быстро расходимся друг с другом, забредая в красивые духовные тупики и почти совершенно переставая слышать и понимать друг друга?

Тупики эти, при всем их конфессиональном разнообразии имеют между собой нечто общее. Все они существуют в атмосфере взаимной нетерпимости. Нетерпимость у нас не всегда даже носит эмоционально-агрессивный характер. Невозможность открыто выразить свои взгляды широкому кругу людей препятствует религиозным встречам большинства людей, препятствует религиозным встречам большинства верующих, и потому они нередко заражаются особой, равнодушной нетерпимостью друг к другу. Это, пожалуй, худший вид нетерпимости, когда один христианин не же-

дает знать о существовании другого, не интересуется его верой, не желает с ним спорить или у него учиться. В этой нетерпимости есть давняя и затаенная безнадежность; люди так одиноки, что не замечают друг друга, и даже вера и единого Бога становится предлогом для равнодушия и нелюбви.

Вера, очевидно, живет по еще не открытым или слабо изученным законам, недоступным никакой глубинной психологии или наблюдению со стороны. То, что совершается внутри этой веры, то, чем она живет и чем становится, зависит от того ответа, который мы даем обращенному к нам Слову. «Дар» веры соответствует серьезности ответа, глубина веры зависит от «объема» или силы Слова Божия, которую мы были способны вместить. Разумеется, мы всегда способны воспринять лишь малую «часть» Слова, полнота Его, как мы верим, принадлежит Церкви. Реальность Церкви шире реальности богословия, обряда и даже таинства, ибо она есть то, что делает все это возможным. Реальность Церкви заключается прежде всего в этой полноте Слова, обращенного к человеку, и в своей о б р а щ е н о с т и. Церковь как хранилище Духа Святого есть живое воплощение христианской веры.

Христиане, члены Церкви обладают всегда лишь малой долей ее богатства. Они обладают частицей Духа, частицей совершенной веры. Наша вера всегда есть свободный дар Божий, дар, который не может быть гарантирован, дар, который всегда под угрозой. Опасность для веры заключается не только в том, что она может быть утрачена, но и в чувстве, что она уже «обеспечена», в сознании, что она принимается как нечто должное, само собой разумеющееся, в отождествлении частицы веры с ее целым, душевного «устроения» веры с благодатью. Уступка одному из соблазнов есть наполовину уже утрата, и полная утрата в тех редких случаях, когда она происходит (редких лишь потому, что с трудом всегда слезает старая кожа «верований»), если нет для нее замены, есть только завершающая реакция в процессе отмирания веры. Следует помнить об этой хрупкости веры, об угрозе над ней, о способности ее переродиться в различные идеологии, часто даже вполне религиозные и возвышенные, во всякого рода мнения, часто даже вполне справедливые, в самые искренние пристрастия и самые благородные мечты.

Именно поэтому, вступая в Церковь, мы обживаем ее нередко как идеологический клан, как племенное единство или обрядовую архаику. Мы вносим в нее привкус горделивого обособления, осо-

бую озабоченность собственной душевной мистерией, особый отпечаток слова, жеста, жизненного стиля. Мы, исходя из потребительского, почти гедонистического отношения к вере, начинаем любить недуги нашей Церкви, ее давние, неизлеченные болезни, считая их чуть ли не главными ее достоинствами. Мы пользуемся монашеским идеалом, чтобы сбежать от действительности, которая нам отвратительна, мы играем в смиренномудрие, чтобы уберечь себя от опасных и неудобных мнений, мы обращаемся к «духовной брани» на вершинах аскетике, чтобы уклониться от насущных и повседневных требований, перед которыми ставит нас христианская вера. И, наконец, мы с готовностью принимаем из вторых рук законническое понимание христианства, чтобы неизменно чувствовать себя агнцами среди козлиц и в этой жизни, и в будущей.

В процессе богочеловеческого общения мы начинаем культивировать чисто человеческую «мистику» в дурном смысле слова, которую мы считаем своей «лучшей частью». «Мистика» начинается тогда, когда не Бог, но чувство, которые Он внушает нам, вызывают наше поклонение, не вера, но разнообразные подражания вере становятся нашей целью. Мы оказываемся в плену у собственной религиозности, собственных душевных мистерий и декораций к ним. Никакой живой голос уже не проникает за эти стены, никакой вопль со стороны не выведет нас из равновесия, не пробьет эту затвердевшую скорлупу, в которой мы столь удобно устроились. На всякий случай у нас есть множество отговорок и полное алиби, ведь так легко сослаться на внешнее сходство наших убеждений с верой святых, так легко воспользоваться чужим аскетизмом, чтобы в аскетической позе отвернуться от своего соседа, так легко «пережить» историю в чаянии скорого конца света, а не разделить крест истории, возложенный на Церковь и на наших ближних. Так легко забыть о мучительной ситуации Церкви, заслониться от «муки» Церкви собственным благолепным переживанием церковности.

Этот религиозный «гедонизм» представляет собой, по сути дела, бегство от Церкви, неприятие ее реальной сегодняшней судьбы. Бегство это обычно совершается ради Церкви идеальной, несбыточной, живущей либо в выдуманном прошлом, либо за морем, в полуденных странах. Бегство назад, когда Церковь становится символом древнего отечества, почти сливаясь с ним, есть уход от веры к религиозному патриотизму. Не сегодня мы становимся перед Богом, не сегодня трезво и со смирением мы стремимся про-

читать Его волю, не сегодня ищем своего признания, но забываемся в полудреме национальных чаяний, и в наших сладких снах видим чуть ли не осуществление апокалиптических обетований. Впрочем, слово «патриотизм» уместно лишь до тех пор, пока не началась еще охота за непатриотами (пусть даже холостыми патронами), едва лишь охота началась, следует говорить уже о шовинизме.

Об этом шла речь уже не раз; можно и необходимо любить свою родину, и человек не полон без этой любви, но любовь к родине может быть служением Богу или идолопоклонством. Можно и необходимо любить древнюю Церковь, национальный обряд, быт, историю, неуловимый душевный склад своих соплеменников, и эта любовь связана с самой идеей Воплощения, но она может быть языческой или христианской. Христианская любовь — та, в центре которой стоит Христос, которая исходит от Христа.

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется дом ваш пуст». (Мф. 23; 37-38). Не должна ли наша любовь к родине опираться на любовь Христа? «И когда приблизился к городу, то смотря на него заплакал о нем и сказал; о если бы ты хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». (Лк. 19, 41-46). Что прибавить к этим словам? Не сказано ли здесь все плачем и гневом? И плачет Христос не только о том, что римляне вскоре войдут в «дом Израилев» и разорят его, и разгонят народ его по свету на тысячелетия, но и о том, что не узнал он «времен посещения своего». И разве торговцы, выгоняемые из храма, и те, кто покупал у них, и те, кто допустил их в храм, не могли обвинить Христа во всех непатриотических соблазнах? Разве не могли они при желании усмотреть в Его поступке умышленное оскорбление храму и разрушение устоев народной жизни? Страна под иноземцами, — сказали бы они, не время теперь для обличений и распрей. Безусловно, могли и сказали бы, если бы не придумали для этого еще более сильной формы: обвинения в богохульстве.

Но любовь Христа не есть ли мера нашей сегодняшней любви? Разве может христианская любовь к отечеству не помнить о том, что и наша земля не узнала когда-то «времени» посещения своего?! Что и она осталась некогда «пустым домом»? И все же в любви к этому дому мы встречаемся со Христом, ибо только в Его любви, плаче и гневном очищается и просветляется лицо России (сегодняшней и вечной). И если мы вправе говорить о святой Руси, то лишь в силу того, что она есть Святая Земля для русских, образ не прошлого, но небесного Иерусалима. Вера призвана видеть именно этот образ, именно это лицо, не смешивая его с лицом земным, не выдавая болезней за самобытность, не считая напоминания о грехах святотатством.

В этом смысле не может быть ни святотатством, ни кощунством (оскорблением мертвых) призыв к покаянию среди тех, кто считает эти грехи своими, кто как бы принимает за них ответственность. И, если только не был он вызван желанием спровоцировать покаяние у другого, оставшись самому в стороне, если исходил он из чувства настоящей соборности (которая не сводится только к соборности богослужения и молитвы), не есть ли это призыв ко спасению? О каком, собственно, ином спасении может идти речь для христианина? И когда говорят о спасении отечества, то и для него спасение возможно лишь одним путем — покаянием в Церкви. Отечество — это и есть Церковь, и все, что на племенной, географической, языковой родине не относится к Церкви Христа, Церкви в самом широком смысле, все, на что не падает отсвет ее красоты, все, что не пронизано ее духом, все, что не вовлечено в «общее дело» преображения, относится уже к падшему миру, который лежит во зле. И для грешной родины (не только сегодня грешной) и для грешной души покаяние есть единственный путь примирения с Богом.

Но грехи мы с легкостью вытесняем из памяти, перебрасываем с родной почвы на чужую, скажем, с Востока на Запад. Существует, правда, и противоположный путь — перекачивание исторических и всяких иных грехов с Запада на Восток. В христианском сознании у нас он выражает себя в демонстративном (либо очень скрытом, замаскированном) переходе в католичество (иногда даже до крещения или вне его). Русский католицизм — это явление особого порядка. Его нельзя путать с католичеством французским, польским или литовским. Русский католицизм сегодня, как и раньше, возникает как острая, болезненная реакция на духоту

русской жизни, на елейное славянофильство, в котором не видят ничего, кроме стилизованного язычества, на поверие некоторых православных, что Христос — это русский бог, убитый евреями, на всю мифологию о масонах, которая стелется у церковных стен, на все, что вяжется с русским суеверием и косностью. Во всем этом есть много преувеличенного, ибо русский католицизм вырастает из русской тоски и русского эстетизма, из русской же уверенности, что из России не приходит ничего доброго, что последняя истина обитает в разумных благоустроенных странах, что она запечатана в старинных латинских книгах, что она растворена где-то в мистике Римской Церкви, во всей ее земной устроенности и влекущей к себе глубине. Оттого-то русский католицизм бывает столь же глухим, душным и, как и русское обрядоверие, оттого-то он молчаливо одобряет инквизицию, и нередко дышит воздухом Контрреформации и Тридентского Собора, не замечая при этом той огромной (по выражению Мориака) оттепели в Риме, которая стала фактом сегодняшней истории, той неподдельной широты вселенскости, которая свойственна подлинному духу Римско-католической, как и Русской православной Церкви.

Я вовсе не хочу сказать, что вера навсегда повенчана с национальностью и что среди русских нет настоящих католиков. И не потому плох русский католицизм, что он есть попросту измена Церкви, как думал Хомяков, но лишь потому, что он начинает служить таким же прибежищем для религиозных фантазий, для мистического «смакования» церковности, для духовного превозношения, как и самое заядлое славянофильство. Как и в славянофильстве, у его истоков может лежать напряженная, чистая вера, напряженность которой там и здесь снимается чувством безмятежного обладания истиной, чистота которой там и здесь замутняется магией авторитета или романтикой крови и почвы. Но в обоих случаях (в ревнивой, несколько инфантильной любви и в столь же инфантильном высокомерии) обнаруживается, как уже говорилось, попытка бегства от реальной, сегодняшней Церкви, от той Церкви, которая здесь и теперь утверждает парадоксальность христианской истины в мире, которая разделяет судьбу народа, пораженного массовым безбожием, и именно среди него должна искать осуществления христианской правды.

Если же мы в Церкви ищем всегда удобной и безопасной правоты, то что говорить о сектантах со всеми их «неудобными» суевериями и предрассудками. Вот еще один парадокс церковного

сознания; ведь в секты идут люди, не ищущие никаких укрытий, желающие быть христианами сегодня, а не в Царствии Небесном, принимающие веру непосредственно как задание от Бога, которое надлежит исполнить на земле. И этот парадокс нам следует принять честно и открыто, не разрешая его в разговорах о «второсортности» чужого христианства, улыбками над «баптистской суетливостью» или иронией над их примитивным эсхатологизмом. То, что эти люди стоят вне предания и соборного опыта, есть прежде всего н а ш а неудача, то что они живут вне Евхаристии, есть прежде всего наша беда.

Мы, принимая дар веры в Церкви, несем ответственность и за себя и за них. Мы несем ответственность и за саму Церковь и не можем и не имеем права перекладывать ее ни на какие другие плечи. Сознывая эту ответственность, мы принимаем ее историческую судьбу, ее небесную славу и земную немощь. Мы не разделяем, но и не смешиваем то и другое. И мы также не имеем права проводить в Церкви какие-то границы между нашей праведностью и чужими грехами, между нашей свободой и чужим сервиллизмом, между нашей духовностью и чужим суеверием. В Церкви нет своего и чужого, здесь все наше, и то, что лежит позади, и то, что впереди нас. С прошлым нас связывает историческая и духовная преемственность, настоящее и будущее есть время нашего служения Церкви. Служение каждого может быть особым, но оно всегда должно исходить из динамизма и активности веры. Вера требует активности, которая может быть активностью священства и творчества, активностью аскетизма и проповеди, активностью свидетельства и молитвы.

Мы же избираем подчас тепловатую мистику, паразитирующую на вере, созерцание своего духа вместо служения Церкви, магическую замороженность стариной вместо живого интереса к истории. Церковь не существует в историческом вакууме, и она не создана лишь для эстетического умиления и воспоминаний детства. Она живет во «взрослом» современном мире, в мире, который «мучается и стонет», нуждаясь в воцерковлении и благодати. Иногда считается даже особенно благочестивым выбросить как лишний психологический мусор все, что имеет отношение к этому миру. И оттого неизбежно возникает жизнь «на двух этажах»; оттого активное взаимодействие с историей заменяется идеологической бутафорией ушедших столетий. Но Церковь вовсе не требует от нас, чтобы мы стилизовались под ее вчерашний день, чтобы

христианское благовестие мы принимали вместе с повериями некоторых старушек, чтобы в лукавой покорности некоторых иерархов мы видели высшее смирение духа. Церковь пребывает в глубине своей неизменной, но в каждой исторической эпохе она раскрывается в новом облике. Сегодня она должна раскрыться в каждом из нас и в каждом выдержать конфронтацию со стремительно растущей цивилизацией, с эпохой планетарной техники и обезбоженных идеологий. В каждом она должна стать ответом на запросы секулярного века и быть разрешением (хотя бы внутренним) его проблем. Ибо Церковь утверждает и Царство Божие, и правду о земле, которые зависят от усилий каждого.

.....

Прот. А. ШМЕАН

## МЕРА НЕПРАВДЫ

Заявление Патриарха Пимена во время официального посещения им Всемирного Совета Церквей в Женеве — о том, что в Советском Союзе „нет ни богатых, ни бедных, привилегированных или преследуемых“ и что поэтому „в противоположность тому, что происходит на Западе, существующие в СССР недостатки не нуждаются в осуждении Церкви“, заявление это превосходит ту меру неправды, после которой молчание становится предательством. Заявление это сделано в тот момент, когда люди во всем мире с ужасом и отвращением следят за новой волной гонений на всех инакомыслящих, на всякое проявление веры, духа, свободы. Увы, мы давно уже привыкли не ждать от руководителей Русской Церкви защиты гонимых. Но жалкая и страшная картина: Патриарх Московский и всея Руси, посылаемый в Женеву, чтобы по заранее заготовленной бумажке прочитать жалкую ложь, которой уже больше никто в мире не верит, это действительно предел, его же не преjdeши... Достаточно того, что раздавшиеся впервые в лоне Всемирного Совета Церквей голоса в защиту гонимых в коммунистических странах были замолчаны дружным отпором представителей восточно-европейских церк-

вей, и Совет еще раз малодушно промолчал. Достаточно десятилетий послушного участия во всевозможных лицемерных и лживых кампаниях в „защиту мира“. Но, повидимому, даже такого послушания, даже такого раболепства советской власти мало. Ей нужно еще перед лицом всего мира сделать раздавленную Русскую Церковь посмешищем, воочию доказать степень ее порабощенности. И сколько бы нам снова и снова ни объясняли все это — нуждами верующих, пользой Церкви, невозможностью поступать иначе, сколько бы ни призывали к осторожности, пониманию, жалости, — оправдания этому позорному ужасу нет и быть не может.

## ОТЪЯВЛЕННЫЙ СТУКАЧ В ДУХОВНОМ САНЕ

*Из Москвы предупреждают о неблагоприятных делах старообрядческого протодьякона Георгия Устинова: судя по всему, это отъявленный стукач, не дающий никому жизни. Особо много жертв его происков среди иностранцев: он ходит по посольствам и, прикрываясь своим духовным званием, легко всех обманывает.*

*В 92-м номере „Вестника“ (стр. 85) уже указывалось, что КГБ удалось поставить секретарем всей старообрядческой Архиепископии своего крупного агента — Георгия Александровича Устинова (Москва, Ж-52, Подъемная ул. д. 6, кв. 15). Но тогда как будто Устинов занимался стукачеством в связи со старообрядческими делами, а теперь перешел на более широкую стукаческую деятельность.*

.....

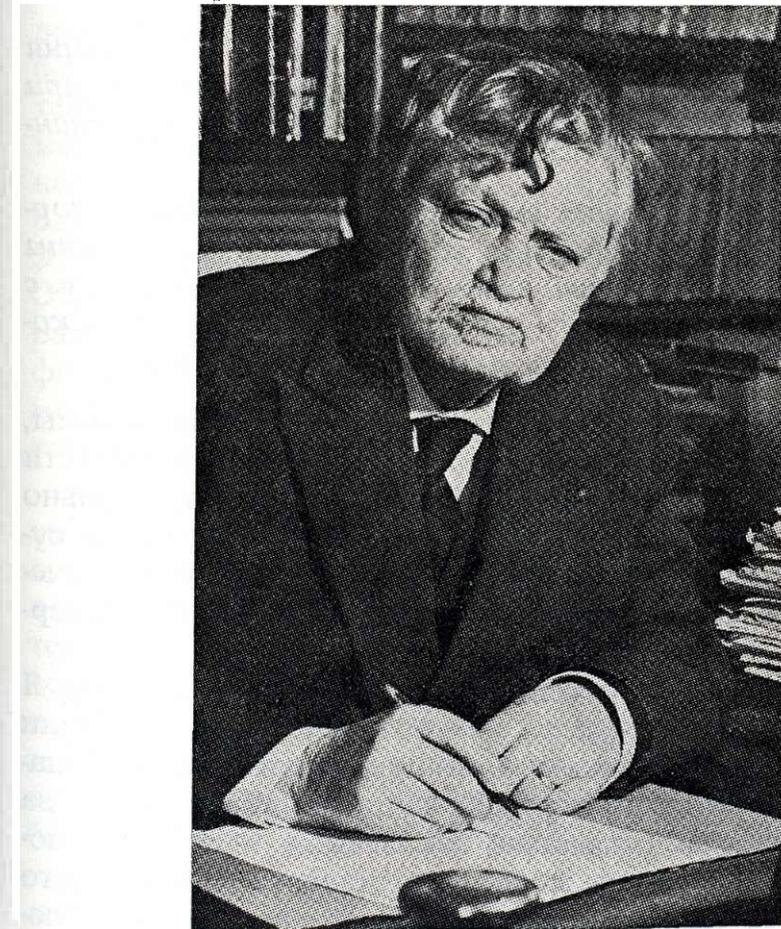
# Христианская мысль на Западе

## ИНТЕРВЬЮ С ГАБРИЕЛЕМ МАРСЕЛЕМ

8 октября умер замечательный религиозный мыслитель современности Габриэль Марсель (1889-1973). 20 сентября, немногим более чем за две недели до его кончины, мне посчастливилось взять у него интервью. Я не представлял себе, как выглядит и как живет этот последний из могокан французского католического возрождения XX века, и был удивлен скромностью обстановки: дом без лифта, узкая витая лестница ведет на четвертый (по-русски на пятый) этаж. Открыл мне дверь невысокий, седой, как лунь, старик с большой головой и полузакрытыми глазами. Быстро сунув в приветствии руку, он энергично повлек меня в свой кабинет, вся роскошь которого состояла из обилия выпирающих из всех пространств и щелей книг, и, не выпуская моей руки из своей, стал говорить, насколько для него важна эта встреча, что в моем лице он на закате своей жизни встречается с молодой русской интеллигенцией, новой христианской порослью, поднимающейся именно тогда, когда молодежь свободного мира уходит в противоположную сторону. „Я думаю, — сказал он, — что люди подобные Вам, обретшие свою веру там, в условиях угашения духа, могут многое сделать здесь, чтобы изменить извращенное направление западного сознания“.

Несмотря на незнание русского языка, Г. Марсель с пристальным интересом следил за происходящим в СССР, неизменно возвышая голос в защиту подлинной культуры и против всякого попрания человеческого достоинства. Именно он был одним из инициаторов выдвижения А. Солженицына на Нобелевскую премию, один из первых заговорил о советских психиатрических лечебницах, используемых в борьбе против свободной мысли, он обвинял западную интеллигенцию в трусости и молчаливом попустительстве беззаконию. (См. его письмо в „Монд“ в декабре 1971 г.). Писал он также и в защиту В. Буковского и о гонениях на украинскую интеллигенцию. Узнав об опасности ареста, нависшей над молодым искусствоведом Е. Ба-

рабановым, который обвинялся в передаче на Запад философско-религиозных и литературных произведений, он сразу же послал ему телеграмму поддержки с приглашением приехать с семьей в Париж и поселиться у него на квартире. Прощаясь со мной, он просил держать его в курсе всех дел — Барабанова, в частности, и сообщать ему обо всех случаях преследований свободомыслия в России, без стеснения обращаться к нему всегда, когда может быть полезна его помощь. В равной мере его беспокоили и последствия подписания СССР конвенции об авторских правах, о чем он писал редактору „Катакомб“: „Абсолютно необходимо пробудить инертных, и заставить понять, каким образом в ходе ближайших лет могут быть удушены самые священные человеческие свободы.“



Габриэль Марсель

*„Я старый и убежденный католик, — сказал он мне на прощанье. — Но многие православные и протестанты мне гораздо ближе, чем мои единовѣрцы. Я ощущаю духовную близость с Солженицыным или А. Сахаровым в большей степени, чем с тысячами моих соотечественников.“*

*Рассказывать о его жизни и творчестве я не буду, предоставляя слово ему самому. В этом последнем интервью, которое по таинственной случайности оказалось обращенным к русскому читателю, он много говорит о своей духовной биографии. В этой беседе, возможно в последний раз, великий философ окинул взором весь религиозный путь своей жизни.*

*М. Меерсон-Аксёнов.*

*\*\**

*М. Аксёнов: Господин Марсель, в России интеллигенция все больше и больше интересуется христианством, и при этом обращается в том числе и к современной христианской мысли на Западе.*

*Можете ли Вы сказать несколько слов о Вашем творчестве вообще и, в частности, о том, какую из Ваших книг Вы считаете наиболее значительной, с одной стороны, а с другой — что можете Вы посоветовать прочесть советскому читателю, желающему познакомиться с ними.*

*Г. Марсель: Мои труды довольно трудно определимы, потому что они развивались в двух областях: в области философской и драматической. Любопытно, что я довольно долгое время сам старался понять, какое соотношение существует между этими двумя областями. Совершенно очевидно, что мое философское призвание было чем-то совершенно ясным и внезапным.*

*О лицейских годах я сохранил плохие воспоминания. Я был очень хорошим учеником, но мои родители были чрезвычайно требовательны. Они придавали большое значение отметкам и месту в ряду учащихся, полученному за письменные работы (классные сочинения), и от этого постоянного соревнования мне приходилось в лицее часто страдать. И вот однажды я задал себе вопрос, не переключиться ли мне полностью на музыку. Я всегда страстно любил музыку, и она играла большую роль в моей жизни;*

*я сочинял, но это было уже значительно позднее. Мой профессор музыки не содействовал моему желанию. Он мне сказал, что я, конечно, очень способен к музыке, но прибавил: „Есть ли у тебя данные быть композитором?“ Мне показалось опасным пуститься по этому пути, у меня не было на это никаких притязаний, и я понял, что он прав.*

*Когда я дошел до класса философии, все изменилось. Случилось так, что после первой же лекции я вернулся домой и заявил родителям, что я буду заниматься философией; в те времена это значило, что я стану профессором философии. Итак, все пошло по иному пути. Мне не стоило никакого труда подтвердить мои способности к философии и, продолжив мою работу в Сорбонне, через четыре года я получил звание кандидата.*

*Надо еще прибавить ко всему, что мое призвание к драме сказалось гораздо раньше. С первых лет, еще будучи 6-летним ребенком, у меня было невероятное влечение к театру. И что любопытно и покажется Вам интересным, что меня занимал не столько спектакль, сколько диалог. Мне казалось удивительным, что можно писать диалог — „быть одновременно одним и другим, и еще чем-то сверх этого“. Это я установил действительно очень рано, уже лет 8-9-ти. Отсюда я вывел, во-первых, что я буду писать позднее театральные пьесы, а кроме того, предвосхитил то, что моя философия очень скоро стала философией, которую теперь мы называем взаимосубъективной, то есть философией, которой присущ главным образом диалог.*

*Итак сегодня, рассматривая в целом мои труды, мне хочется сказать следующее: я получил известность скорее в области философии, чем в театральной. В этой последней я в действительности был стеснен тем фактом, что люди театра — я говорю не об актерах, а о директорах — имели всегда некое недоверие к философу, пишущему пьесы. В действительности же нужно сказать о моих пьесах, что это не были никогда пьесы философские, то есть мои пьесы не были никогда иллюстрациями идей, которые были бы выдвинуты заранее. Скорее было обратное — по существу, для меня трудностью было прежде всего представить людей как можно более индивидуализированных, и в конкретных ситуациях. Поэтому, то, что произошло, довольно своеобразно, а именно — в большинстве случаев во-*

ображение предшествовало рассуждениям философским. Например, в одной пьесе, названной „Иконоборец“, первая версия которой появилась приблизительно в начале войны 14-18 гг. и которую я переделал незадолго до конца этой войны, — я предвосхитил мысли, философски уточнившиеся намного позднее.

Теперь я должен ответить на один вопрос раньше, чем Вы мне его поставите. Какое соотношение имеет все это с христианством? Все же, есть здесь один факт, и очень важный. Мои родители были агностиками. Мой отец был католик по рождению, но отошел от католичества сразу после первого причастия. Впрочем, я думаю, что религиозное образование его было очень посредственное, как это вообще и бывает. Это был человек большой культуры, но очень ограниченной школы 19-го века — таким, как Тэн и Ренан. Он очень восхищался христианством, воодушевившим великие творения искусства, к которым он был чрезвычайно чувствителен. Но он исходил из идеи, очень распространенной в то время, что христианские догматы не могут устоять перед научными достижениями.

Моя мать, которой я лишился в возрасте 4-х лет — это было событием очень значительным в моей жизни, — была по происхождению еврейка. Но у нее не было никакого религиозного мировоззрения. На самом деле, семья моей матери была израильской веры по наследству, но это были люди, чувствовавшие себя вполне французами. Для них еврейский элемент не входил в расчеты, не играл никакой роли. Умерла моя мать скоропостижно, в два дня, и это событие, несмотря на мой малый возраст, глубоко меня ранило. Об одной вещи я рассказываю очень часто, так как мне кажется, что она очень важна.

В аллее одного парка, которую я мог бы легко узнать, сохранив ее в своей памяти, я однажды спросил мою тетю: „Можно ли узнать что-нибудь о тех, которые умерли?“ Тетя, будучи женщиной чрезвычайно честной, ответила мне: „К сожалению, я не могу тебе ответить. Об этом ничего не известно.“ Я же сказал ей тогда — и хотя это может показаться ребяческим, но все же было очень значительным для будущего: „Ну что ж, позднее я попробую об этом узнать“. Это было до-религиозным началом моего обращения к христианству.

Как только мои занятия по философии приняли личный характер, раньше чем я мог назвать себя членом христианского общества — не получив никакого религиозного воспитания, — я был склонен думать в пользу христианства, что в нем заключается глубочайшая истина, но о которой было очень трудно размышлять. И в этом громадную роль сыграла музыка. Есть одно музыкальное творчество, которое определило во мне уверенность, что христианство имеет в себе высшую ценность. Это творчество Баха. Я думаю, что Иоганн-Себастьян Бах имел большее влияние на мою жизнь, чем какой-либо писатель, будь то сам Паскаль. Приходилось мне встречать людей, иногда более взрослых чем я.

Я именно вспоминаю одного из наших больших специалистов по арабской культуре, который сам жил в среде, похожей на мою. Отец его был другом моего отца. Его обращение в христианство было весьма драматично. Ему было тогда лет двадцать. Его рассказ меня глубоко потряс. Я воспринял его как неопровержимое свидетельство. И я могу сказать, что в течение довольно долгих лет я жил в каком-то странном состоянии человека, который верит, но не считает себя вправе сказать о себе, что он верующий. Это положение разрешилось неожиданным образом в 1919 году. У меня будет, кстати, случай повторить Вам о том, какую роль сыграла для меня война 14-18 гг., в которой я не принимал участия как военный из-за моего плохого здоровья. Но в плане чисто религиозном случилось вот что. Прежде всего я стал близким другом того, кто был одним из наших самых видных литературных критиков. Вы несомненно знаете о нем, его имя Шарль дю Боск. Он отошел от веры, но впоследствии вернулся к ней и поведал мне все свои мысли в момент этого возвращения к вере. Это очень важно, и Вы поймете — почему. Я написал статью о книге Мориака „Страдание и счастье христианина“. Мориак мне сказал: „Благодарю Вас за статью; но мне кажется, что Вы — из наших, почему же Вы к нам не идете?“ И удивительно было то, что я почувствовал, что этот вопрос был обращен ко мне не только от него самого: он исходил откуда-то свыше. И я понял, что, действительно, он прав. Я не мог дольше оставаться в состоянии, которое я Вам только что описал, а именно, когда веришь вере других,

но чувствуешь, что сам ее не разделяешь. И я подумал: я — верующий и должен это признать и присоединиться к одному из видов христианства. И тогда произошло нечто странное. Жена моя была протестанткой. Я бывал — через мой брак — в высших и достойных кругах общества, и однако, когда я задал себе вопрос, должен ли я стать протестантом или католиком, мне казалось, что я не мог не выбрать католичества, просто по той причине, что в то время протестантизм принял крайне различные формы. Существовал протестантизм очень либеральный, не имеющий уже почти никакой морали; был и протестантизм Карла Барта, который, напротив, был очень догматичным. Быть протестантом — что это значит? Протестантом какого вида? Есть ли для этого какой-нибудь арбитр? В то время (позднее я увидел, что я не совсем был прав) католичество представлялось мне как христианское благовестие в своей полноте. Таким образом, я вошел в католичество. Но совершенно очевидно, что довольно скоро я отдал себе отчет, что католическое богословие совсем не подходило мне, что некоторый образ католического мышления мне не нравился. Слава Богу, я обнаружил вокруг себя католиков такого же рода, то есть чрезвычайно стремящихся к свободе, и которые не считали другие христианские конфессии так сказать отлученными от Церкви — что я ненавижу. И тут я Вам расскажу об одной вещи, которая Вам покажется забавной. У меня был духовный отец (аббат Марсель Бэлей), который был сам из обращенных. Однажды я ему сказал: „Мы не знаем, отец, что Бог думает о Реформации“. — „Я это знаю“ — ответил он. Но, почувствовав, что сказал нечто нелепое, он спохватился. Вечером того же дня я написал ему милое письмо, в котором говорю: „Мне кажется, — лучше нам прекратить наши беседы“. Что хорошо и что к его чести — он не обиделся на меня. Но обо всем этом можно было бы говорить бесконечно много, так же как и о моей позиции в настоящее время.

Моя позиция в области христианства — прежде всего позиция экуменическая. Я считаю, что все различия между конфессиями — вопрос скорее второстепенный. Я должен сознаться, что чувствую себя гораздо ближе к некоторым протестантам и еще ближе к некоторым православным, чем к католикам. Этикетка католика меня не удовлетво-

ряет; я никогда не допускал, чтобы меня называли католическим писателем. В данное время я возлагаю большую надежду на ваших единомышленников. Но я не думаю о том православии, какое существует в Москве; я не об иерархии думаю, а о таком писателе, как Солженицын, которого я чувствую именно своим братом. У меня такое чувство, что помимо некоторых оттенков, мы с ним думаем в этой области одинаково. Я иду даже дальше; вчера еще я сказал в присутствии кардинала Даниэлу: мне кажется, если еще возможно будет обновление Церкви здесь, — а Церковь в этом очень нуждается, — по всей вероятности, оно может прийти от таких людей, как Солженицын, то есть от тех, кто перенес преследования и кто прекрасно различил, что есть ценного в марксизме и что должно быть абсолютно отброшено.

Теперь, дорогой друг, я хотел бы, чтобы Вы поставили мне вопросы.

М. Аксенов: *Я хотел бы Вас спросить о вполне определенной вещи: какой из Ваших трудов можно порекомендовать для русского перевода как наиболее значительный и лучше всего отражающий Ваши мысли?*

Г. Марсель: Это довольно трудно сказать. Вообще, Вам скажут — „Метафизический дневник“ (дневник, появившийся одновременно с Гейдеггером), изданный в 1927 году. И я действительно скажу, что эта книга показывает прекрасно ход моих мыслей, но я сразу сделаю оговорку. По моему, первая часть „Метафизического дневника“ должна быть отставлена, так как я считаю, что она представляет собой тот туннель, сквозь который должен был пройти я сам, но не желаю, чтобы читатели-иностранцы прошли по нему же. Я объяснил это для перевода на итальянский язык, когда большой философ и мой друг Вьетроприни, — в данное время профессор Римского университета, всегда интересовавшийся моими трудами и написавший очень хорошую книгу обо мне, — сказал мне: „Мы хотели бы перевести Ваш „Метафизический дневник“ на итальянский язык“. Этот Дневник включен не только в том, носящий его название, но также и в „Быть и иметь“ и, наконец, еще и в более недавнюю книгу, которая называется „Настоящее и Бессмертие“. Я ему сказал: „Да, но отбросьте

первую часть Дневника, так как я считаю, что это еще мысли спотыкающиеся, и терминология в ней не уточнена и лишена строгости. И мне придется это исправить, как если бы мне пришлось исправлять чужой труд, и тогда, думаю, я сделал бы очень суровые примечания.

Труд, наиболее отвечающий моей философской мысли, — „Тайна бытия“ — это лекции, которые я читал в Абердине, в Шотландии, в 1949-1950 году, изданные у Обье. В этой книге я постарался дать возможно более точное и систематическое описание своей философии. Теперь я должен сказать, что мои мысли с тех пор до некоторой степени развились. То есть, я бы не сказал, что человеческие проблемы с тех пор заменили проблемы религиозные, но получили все большее и большее значение. Видите ли, для меня, в сущности, основным вопросом является то, что есть человеческого в человеке — то, что дает человеку его ценность и его достоинство, находится в большой опасности, и наш долг, прежде всего, постараться выразить то, что есть человеческого в человеке, и мы должны бороться всячески, во всех частных случаях, чтобы его спасти.

Есть одна, самая короткая книга, которую, пожалуй, надо отметить, это „Люди против человеческого“. Это именно и есть то, о чем я Вам сказал. Я написал об этом в 1950 году, то есть после обнаружения того, чем были лагеря уничтожения в Германии, так как это открытие было для меня очень важным в жизни. Я и раньше ясно видел и не строил себе иллюзий, но все же я не думал, что это дошло до такой степени ужаса.

В самом деле, если бы я хотел определить центральную мысль этой книги, я сказал бы, что она прежде всего является осуждением того, что я называю духом абстракции. Например: сказать о человеке, что он фашист и, в таком случае, он для меня не существует. То же можно было бы сказать и о коммунисте. Вот почему в этой книге есть глава, названная „Дух абстракции как фактор войны“. Я говорю вот что: — с того момента, когда мы теряем чувство „ближнего“, — а в этом пункте я наиболее чувствую себя христианином, — мы забываем личную реальность другого и снижаем его до его этикетки, и все мы готовы направить на него пулемет. Быть может, больше всего я порицаю то, чем становится в данное время марк-

сизм, — но надо признаться, что и Церковь, к которой я не особенно снисходителен, совершала грехи точно того же порядка. Когда я думаю об Истории Инквизиции, я к ней одинаково суров, как и к иной опасности. Этот род ужаса абстракции духа, то есть мысли, которая обезличивает, так сказать, людей, она-то и связана с моим призванием драматурга. На мой взгляд, призвание драматурга заключается именно в этом: он увлечен живыми существами и, видя их конфликты, прилагает все усилия, чтобы достичь высшей справедливости; он отвергает то пристрастие, на которое, можно сказать, наталкивает нас обыденная жизнь. Как будто в жизни необходимо быть всегда на стороне одного против другого. Тогда как, я думаю, — если подняться выше этого, то даже имея больше симпатии к одному, чем к другому, надо все же постараться понять другого таким, каков он есть.

М. Аксенов: *В Вашем философском подходе через диалог есть нечто родственное мыслям, высказанным М. Бубером, в его книге „Я и ты“.*

Г. Марсель: То есть очевидно, что в этом вопросе мы шли с ним параллельно, не зная друг друга. Я познакомился с М. Бубером очень поздно, а он думал, что я немного вдохновился им, но это было совсем не так, я не читал его книги. По правде сказать, нас было трое шедших в том же направлении, Бубер, я и один австриец Фердинанд Эбнер, в Вене; не так давно вышел в свет его дневник, являющийся свидетельством чрезвычайно интересным. И возможно, что это он открыл то, что называется „Ты“. Я узнал с тех пор, что первый, кто действительно различал это, был Фейербах, не бывший христианином. Он признал оригинальность этого „Ты“. Я считаю, что надо быть ему благодарным. Но для меня, в конце концов, это не играло какой-нибудь роли.

М. Аксенов: *Мой второй вопрос: Кто из современных мыслителей Вас более всего интересует и кто из них ближе всего к Вам.*

Г. Марсель: Меня всегда заботит признание моих долгов. Я считаю, что это очень важно. Я посещал лекции Бергсона, и Бергсон довольно сильно повлиял на меня, в осо-

бенности в том, чтобы быть осторожным в высказываниях в смысле языка и в выражениях абстрактных. У него было своего рода поэтическое целомудрие, я бы сказал даже почти лиризм, которого я не находил ни у одного из моих профессоров. На меня, собственно, повлияли не столько французы, сколько прежде них немецкие романтики. Я посвятил мою университетскую дипломную работу (труд гораздо более значительный, чем это обычно делается) частному вопросу, а именно — влиянию Шеллинга на Колриджа. В то время, — так как я еще не знал, что я буду в будущем делать, — я задумал написать работу о влиянии немецкого идеализма на английскую философию в 19 веке, а это случилось потому, что на второй год моего обучения в Сорбонне я познакомился слегка с одним английским философом, которым я очень восхищался и с которым переписывался; это был Брайлей. В английской и американской философии меня в общем интересовали нео-гегельянцы и идеалисты. Например, после первой войны я написал большой труд, напечатанный в Журнале Метафизики и Морали, а впоследствии изданный отдельным томом, о философе Жозиа Ройсе — человеку, которого я очень уважал; он много спорил с Вильямом Джемсом, защищая между прочим идеализм против прагматизма В. Джемса. Я был, конечно, под влиянием этого человека. Возможно, что на мне чувствуется и влияние Карла Ясперса, а также и Гейдеггера, но обо этом трудно сказать.

Сразу после второй войны случилось, что появился Сартр и выдвинулся на первый план. Я воспользовался этим положением в тот момент, так как нас противопоставляли одного другому. Сам Сартр в одном из своих выступлений — которое, по-моему, было очень слабым — провел некую небольшую классификацию: „Есть два вида экзистенциализма: экзистенциализм атеистический, к которому относимся Гейдеггер и я, и христианский экзистенциализм, к которому принадлежат Ясперс и Габриэль Марсель“. Как раз в тот момент я познакомился с Гейдеггером и спросил у него: „Согласны ли Вы с тем, что Вас классифицируют как атеиста“. „Абсолютно нет. Моя мысль колеблется между атеизмом и деизмом.“ А с другой стороны, я совершенно не убежден в том, что можно считать Ясперса христианским философом. И наконец, я совсем не считаю для себя

подходящим слово экзистенциализм, так как это слово загружено ассоциациями.

*М. Аксенов: Что Вы думаете о русской культуре и о русской религиозной мысли?*

Г. Марсель: Я плохо знаю русскую философию, но относительно хорошо русскую литературу. Она всегда меня интересовала в высшей степени. Я восхищаюсь Достоевским, но также люблю очень и Чехова. Мой театр очень близок к театру Чехова. У меня всегда было сильное влечение и чувство близости по отношению к русскому народу. Я никогда не был в России, не знаю языка, и мне кажется, что те, кто едут в Россию без знания языка, имеют несчастье быть жертвами пропаганды.

*М. Аксенов: О да, это совершенно верно. Еще один вопрос: что думаете Вы о современном духовном состоянии на Западе вообще. Какое объяснение находите Вы всему тому, что сейчас происходит?*

Г. Марсель: Положение на Западе мне кажется чрезвычайно тревожным. Вчера я встретился с кардиналом Даниэлу, у которого, по моему мнению, ум наиболее уравновешенный и который в настоящее время видит все наиболее ясно. Он мне сказал: „французский народ по существу остается более христианским, чем был в предыдущие времена, но что ужасно, это разложение кадров“. И вот, — как это случилось, что духовенство подпало под влияние марксизма?

Одна вещь для меня ясна: не только вне Церкви, но и в самой Церкви очень настаивали на том, что в 19-м веке, во Франции, несмотря на многие большие исключения, Церковь была часто солидарна с сильными мира сего. Это очень жаль, если подумать, каковы были первые шаги индустриальной революции, эпоха Карла Маркса, — были люди, которые реагировали очень сильно, но иерархия, конечно, совершенно определенно была виновна, я могу это сказать без всякого колебания. В то же время произошла своего рода несоразмерная реакция: вначале это был как бы род раскаяния без чувства собственно вины, христиане говорят, — что мол это наши дяди и деды были виновны, но мы-то не хотим быть в равной мере виновными; и это превратилось в своего рода народничество, которое мне ка-

жется смешным, тем более, что необходимо было идти с ними в ногу. Это мне кажется самым важным. В этом было влияние Карла Маркса и также Гегеля, который часто был очень плохо понят.

Происходят невероятные вещи. Вчера я завтракал с одной дамой, убежденной католичкой, проведшей лето у монахинь на небольшом острове в Бретани; она мне рассказала, что 15 августа (\*) приехал туда францисканский проповедник, чтобы сказать проповедь. Он ни слова не произнес о Деве Марии, но говорил о Брижит Бардо, о ее рассуждениях. После чего добавил: „впрочем, действительно, сексуальная свобода — это ведь вознаграждение молодежи“, и казалось, что для него сексуальная свобода есть нечто положительное. Моя хозяйка была вне себя, и она права. Это был молодой францисканец 23-х лет. Да об этом можно найти сколько угодно свидетельств. Привело это к тому, что во многих районах Франции пополнение священников стало чрезвычайно трудным. Меня это очень беспокоит; и еще другой факт: наше преподавание отравлено марксизмом, что имеет ужасные последствия во многих областях. Хотя я и говорю „марксизм“, но Вы-то это знаете так же хорошо, как и я — это уже совсем не мысли Маркса, но выражения экстраполированные, деформированные. Я уверен, что, по всей вероятности, Маркс был бы возмущен многими вещами, которые проводятся под его именем.

М. Аксенов: *Что Вы думаете о современном атеизме? Я уточню мой вопрос. Это в каком-то смысле сложный феномен. Почему, с одной стороны, он является новым язычеством, а с другой — он родился в обществе вполне христианской культуры. Что Вы скажете об этом?*

Г. Марсель: Тут надо провести различие, которое и сделал аббат Де Любак, — между атеистом и антидеистом. Это разные вещи. Взять к примеру моего отца. У него было чувство меры и различия оттенков; для него было бы слишком категорическим считать себя атеистом, он назвал бы себя агностиком. Но люди его времени, той же среды, той же культуры сказали бы о себе самих, что они атеисты, что означало бы, что они чувствовали себя лишен-

(\*) 15 августа — праздник Успения Божией Матери.

ными Бога, но не враждебными Богу. Я приведу пример: моя тетя, еврейского происхождения, имела честность не признавать определенные вещи: „Я уважаю только христиан, но, к несчастью, я не могу мыслить, как они“ — говорила она. Эта установка было ошибочной, но в этом чувствовалась большая честность. Нельзя было не уважать такого человека. В то время как у людей современных нам есть какая-то враждебность против Бога, — это совсем другое, в этом чувствуется немного сатанинский дух.

Сейчас очень трудно вынести общий приговор о теперешней молодежи во Франции. Вот, недавно я узнал, что в прошлом году состоялся съезд молодежи.

М. Аксенов: *Да, в Тезэ.*

Г. Марсель: *Ах вот как, я вижу, что Вы в курсе дела!*

М. Аксенов: *Я был на нем и был рад видеть всю эту молодежь, приехавшую туда на праздник Пасхи.*

Г. Марсель: Я очень рад, что Вы там были. Нельзя не иметь симпатии к этим молодым людям. Только если собирается слишком много народу, это может всё обезвкусить. Но, мне кажется, — это было замечательно, вся эта собравшаяся там молодежь. Один молодой студент, сын моих друзей из Дижона, поехавший туда, рассказал мне, что эта молодежь действительно полна духовных устремлений. Они сами не знают еще точно, что они найдут, но у них есть эта жажда изучения, неудовлетворенность — это, правда поразительно. Быть же удовлетворенным — ужасно. И вот, я убежден, что такой человек, как Солженицын, и в области религиозной должен оказать большое влияние, в этом я абсолютно уверен.

М. Аксенов: *Но меня удивляет, что даже в христианских кругах сейчас отказываются от самых глубоких религиозных традиций, от заповедей, от христианской морали; даже христианская мораль пошатнулась в наше время. Что думаете Вы в этом смысле о будущем?*

Г. Марсель: Очень возможно, что в самое ближайшее время мы будем свидетелями возрождения. Примером может служить то, о чем я слышал не дальше, чем вчера, а именно — это касалось молодых, скажем — жениха и невесты, которые стали сожигать до свадьбы. Мне

приходилось слышать, что в данный момент есть многие молодые люди, которых это шокирует; они еще хранят достаточно твердо чувство целомудрия, чувство целомудрия брачного союза; они чувствуют, что происходит несомненно нравственное падение.

Но, конечно, надо признать, что есть некий дух времени; мне не нужно, к несчастью, даже указывать Вам на ту плачевную роль, которую играет, например, современный кинематограф.

М. Аксенов: *Последний вопрос: Что Вы думаете о возрождении христианского сознания в настоящее время в России — как среди интеллигенции, так и среди других людей, которые возвращаются к духовным истокам?*

Г. Марсель: Я считаю, что это имеет громадное значение и большую ценность для нас. В христианском мире внушают мне больше всего доверия те, кто приходят из восточных стран. Они подвергались ужасным испытаниям. Никто из нас не посмеет утверждать, что сам он был бы способен их вынести, — но они восторжествовали. Следовательно, что мне кажется совершенно ясным, — и тут скорее мог бы поставить Вам один вопрос я: даже люди, как, например, Сахаров, — не христиане, разве не чувствуете Вы, как и я, что они связаны с другими; в этом есть все ж уверенность, базирующаяся на основных ценностях.

И тут мы находим одну часто высказанную мысль, которой придерживаюсь и я: в глубине души мы не знаем, что есть наша вера. Например, есть люди, которые считают себя христианами, но когда мы видим их поведение по отношению к ближнему, нам приходится признать, что они ошибаются.

Я встречаюсь с людьми — вспоминаю мою тетю: она не считала себя христианкой, но у нее была очень живая моральная вера, это был человек, который до последних лет своей жизни заботился всегда о бедных; и было бы, по-моему, лишенным всякого смысла сказать о ней, что она была неверующей. Это была верующая, но вера ее не была ясно выраженной.

## Литература и жизнь

Иосиф БРОДСКИЙ

### ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

#### БАБОЧКА

##### I

Сказать, что ты мертва?  
Но ты жила лишь сутки.  
Как много грусти в шутке  
Творца! едва  
могу произнести  
«жила» — единство даты  
рождения и когда ты  
в моей горсти  
рассыпалась, меня  
смущает вычесть  
одно из двух количеств  
в пределах дня.

##### II

Затем что дни для нас —  
ничто. Всего лишь  
ничто. Их не приколешь,  
и пищевой глаз  
не сделаешь: они  
на фоне белом,  
не обладая телом,  
незримы. Дни,  
они как ты; верней,  
что может весить  
уменьшенный раз в десять  
один из дней?

### Ш

Сказать, что вовсе нет  
тебя? но что же  
в руке моей так схоже  
с тобой? и цвет —  
не плод небытия.  
По чьей подсказке  
и так кладутся краски?  
Навряд ли я,  
бормочущий комок  
слов, чуждых цвету,  
вообразить бы эту  
палитру смог.

### IV

На крылышках твоих  
зрачки, ресницы —  
красавицы ли, птицы —  
обрывки чьих,  
скажи мне, это лиц,  
портрет летучий?  
Каких, скажи, твой случай  
частиц, крупниц  
являет натюрморт:  
вещей, плодов ли?  
и даже рыбной ловли  
трофеей простерт.

### V

Возможно, ты — пейзаж,  
и, взявши лупу,  
я обнаружу группу  
нимф, пляску, пляж.  
Светло ли там, как днём?  
иль там уныло,  
как ночью? и светило  
какое в нём  
взошло на небосклон?  
чьи в нём фигуры?  
Скажи, с какой природы  
был сделан он?

### VI

Я думаю, что ты —  
и то, и это:  
звезды, лица, предмета  
в тебе черты.  
Кто был тот ювелир,  
что, бровь не хмуря,  
нанес в миниатюре  
на них тот мир,  
что сводит нас с ума,  
берет нас в клещи,  
где ты, как мысль о вещи,  
мы — вещь сама?

### VII

Скажи, зачем узор  
такой был даден  
тебе всего лишь на день  
в краю озёр,  
чья амальгама впрок  
хранит пространство?  
А ты — лишает шанса  
столь краткий срок  
попасть в сачок,  
затрепетать в ладони  
в момент погони  
пленишь зрачок.

### VIII

Ты не ответишь мне  
не по причине  
застенчивости и не  
со зла, и не  
затем что ты мертва.  
Жива, мертва ли —  
но каждой Божьей твари  
как знак родства  
дарован голос для  
общенья, пенья:  
продления мгновенья,  
минуты, дня.

## IX

А ты — ты лишена  
сего залога.  
Но, рассуждая строго,  
так лучше: на  
кой-ляд быть у небес  
в долгу, в реестре,  
Не сокрушайся ж, если  
твой век, твой вес  
достоины немоты:  
звук — тоже бремя.  
Бесплотнее, чем время,  
беззвучней ты.

## X

Не ощущая, не  
дожив до страха,  
ты вьёшься легче праха  
над клумбой, вне  
похожих на тюрьму  
с её удушьем  
минувшего с грядущим,  
и потому,  
когда летишь на луг  
желая корму,  
приобретает форму  
сам воздух вдруг.

## XI

Так делает перо,  
скользя по глади  
расчерченной тетради,  
не зная про  
судьбу своей строки,  
где мудрость, ересь  
смешались, но доверясь  
толчкам руки,  
в чьих пальцах бьётся речь  
вполне немая,  
не пыль с цветка снимая,  
но тяжесть с плеч.

## XII

Такая красота  
и срок столь краткий,  
соединясь, догадкой  
кривят уста:  
не высказать ясней,  
что в самом деле  
мир создан был без цели,  
а если с ней,  
то цель — не мы  
Друг-энтомолог,  
для света нет иголок  
и нет для тьмы.

## XIII

Сказать тебе «Прощай»?  
как форме суток?  
Есть люди, чей рассудок  
стрижёт лишай  
забвенья; но взгляни:  
тому виною  
лишь то, что за спиною  
у них не дни  
с постелью на двоих,  
не сны дремучи,  
не прошлое — но тучи  
сестер твоих!

## XIV

Ты лучше, чем Ничто.  
Верней: ты ближе  
и зримее. Внутри же  
на все на сто  
ты родственна ему.  
В твоём полете  
оно достигло плоти;  
и потому  
ты в сутолке дневной  
достойна взгляда  
как лёгкая преграда  
меж ним и мной.

## НА СМЕРТЬ ДРУГА

Имяреку, тебе. — потому что не станет за труд  
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,  
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,  
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,  
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —  
на эзоповой фене в отечестве белых головок,  
где наощупь и слух наколол ты свои полюса  
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;  
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от  
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,  
похитителю книг, сочинителю лучшей из од  
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,  
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,  
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,  
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,  
одинокому сердцу и телу бесщётных постелей —  
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,  
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,  
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,  
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.  
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.  
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,  
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,  
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.  
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,  
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.  
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон  
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

1973

Птица уже не влетает в форточку.  
Девица, как зверь, защищает кофточку.  
Подскользнувшись о вишневую косточку,  
я не падаю: сила трения  
возрастает с паденьем скорости.  
Сердце скачет, как белка, в хворосте  
ребер. И горло поет о возрасте.  
Это уже — старение.

Старение! Здравствуй, мое старение!  
Крови медленное струение.  
Некогда стройное ног строение  
мучает зрение. Я заранее  
область своих ощущений пятую,  
обувь скидая, спасаю ватую.  
Всякий, кто мимо идет с лопатою,  
ныне объект внимания.

Правильно! Тело в страстях раскаялось.  
Зря оно пело, рыдало, скалилось.  
В полости рта не уступит кариес  
Греции древней, по меньшей мере.  
Смрадно дыша и треща суставами,  
пачкаю зеркало. Речь о саване  
еще не идет. Но уже те самые,  
кто тебя вынесет, входят в двери.

Здравствуй, младое и незнакомое  
племя! Жужжащее, как насекомое,  
время нашло, наконец, искомое  
лакомство в твердом моем затылке.  
В мыслях разброд и разгром на темени.  
Точно царица — Ивана в тереме,  
чую дыхание смертной темени  
фибрами всеми и жмусь к подстилке.

Боязно! То-то и есть, что боязно.  
Даже когда все колеса поезда

прокатятся с грохотом ниже пояса,  
не замирает полет фантазии.  
Точно рассеянный взор отличника  
не отличает очки от лифчика,  
боль близорука и смерть расплывчата,  
как очертанья Азии.

Все, что я мог потерять, утрачено  
начисто. Но и достиг я начерно  
все, чего было достичь назначено.  
Даже кукушки в ночи звучание  
трогает мало — пусть жизнь оболгана  
или оправдана им надолго, но  
старение есть отрастанье органа  
слуха, рассчитанного на молчание.

Старение! В теле все больше смертного.  
То есть, ненужного жизни. С медного  
лба исчезает сиянье местного  
света. И черный прожектор в полдень  
мне заливает глазные впадины.  
Силы из мышц у меня украдены.  
Но не ищу себе перекладыны:  
совестно братья за труд Господень.

Дело, впрочем, должно быть, в трусости.  
В страхе. В технической акта трудности.  
Это — влиянье грядущей трупности:  
всякий распад начинается с воли,  
минимум коей — основа статики.  
Так я учил, сидя в школьном садике.  
Ой, отойдите, друзья-касатики!  
Дайте выйти во чисто поле!

Я был как все. То есть, жил похожею  
жизнью. С цветами входил в прихожую.  
Пил. Валял дурака под кожей.  
Брал, что давали. Душа не зарилась  
на не свое. Обладал опорой,  
строил рычаг. И пространству впору я  
звук извлекал, дуя в дудку полулю.  
Что бы такое сказать под занавес?!

Слушай, дружина, враги и братие!  
Все, что творил я, творил не ради я  
славы в эпоху кино и радио,  
но ради речи родной, словесности.  
За какое раченье-жречество  
(сказано ж доктору: сам пусть лечится),  
чаши лишившись в пиру Отечества,  
нынче стою в незнакомой местности.

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.  
Полночь швыряет листву и ветви на  
кровлю. Можно сказать уверенно:  
здесь и скончаю я дни, теряя  
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,  
черпая кепкой, что шлемом суздальским,  
из океана волну, чтоб сузился,  
хрупая рыбу, пускай сырая.

Старение! Возраст успеха. Знания  
правды. Изнанки ее. Изгнания.  
Боли. Ни против нее, ни за нее  
я ничего не имею. Коли ж  
переборщит — возоплю; нелепица  
сдерживать чувства. Покамест — терпится.  
Ежели что-то во мне и теплится,  
это не разум, а кровь всего лишь.

Данная песня не вопль отчаянья.  
Это — следствие одичания.  
Это — точней — первый крик молчания,  
царствие чье представляю суммою  
звуков, исторгнутых прежде мокрою,  
затвердевающей ныне в мертвую  
как бы натуру, гортанью твердою.  
Это и к лучшему. Так я думаю.

Вот оно — то, о чем я глаголаю:  
о превращении тела в голую  
вещь! Ни горé не гляжу, ни долу я,  
но в пустоту — чем ее ни высвети.  
Это и к лучшему. Чувство ужаса  
вещи не свойственно. Так что лужица

подле вещи не обнаружится,  
даже если вещца при смерти.

Точно Тезей из пещеры Миноса  
выйдя на воздух и шкуру вынеся,  
не горизонт вижу я — знак минуса  
к прожитой жизни. Острее, чем меч его,  
лезвие это, и им отрезана  
лучшая часть. Так вино от трезвого  
прочь убирают, и соль от пресного.  
Хочется плакать. Но плакать нечего.

Бей в барабан о своем доверии  
к ножницам, в коих судьба материи  
скрыта. Только размер потери и  
делает смертного равным Богу.  
(Это суждение стоит галочки  
даже ввиду обнаженной парочки.)  
Бей в барабан, пока держишь палочки,  
с тенью своей маршируя в ногу.

декабрь, 1972 г.

Прот. Александр ШМЕМАН

## СКАЗОЧНАЯ КНИГА

Если всякое слово Солженицына сразу же становится мировым событием, то что же и говорить об «Архипелаге» и об обеспеченном ему всемирном резонансе. Не стоит гадать и о том, каково будет значение этого нового взрыва во всевозможных современных «ноньюктурах». Конечно можно и нужно ещё раз преклониться перед этой неслыханной, небывалой, беспрецедентной борьбой одинокого писателя с властью, столь же беспрецедентной в своей бесчеловечности и лжи; можно и нужно высказать восхищение этим мужеством, благодарность за этот подвиг, острую тревогу за личную судьбу человека, несущего на своих плечах такое непомерное, действительно страшное бремя.

Но когда все это сделано и сказано, остается то, возможно — самое главное, чему грозит быть заглушенным грохотом этого взрыва, «злободневной» его радиацией. Поэтому, хотя бы намекнуть на это — кратко, отрывочно, предварительно — мне и хочется сразу же после того, как я прочёл и закрыл сказочную книгу.

Я сразу же себе сказал: сказочная книга. А теперь начинаю думать, почему именно это странное словосочетание первым пришло в голову, ударило в сердце. Страшная, трагическая, потрясающая — да, но почему сказочная?

Открываю снова книгу и читаю подзаголовок: «опыт художественного исследования». Конечно не случайно назвал её так Солженицын. Он как бы настаивает: нет, это не просто исследование, не ещё один, пускай самый полный, самый замечательный документ всё растущей «лагерной литературы». Это художественное произведение. И именно с этим согласилось, на это ответило мое сознание. И теперь исповедать это согласие во всеуслышание мне кажется необходимым потому, что уже почти ходячим мнением, своеобразным алиби становится вокруг нас противопоставление Солженицына-борца Солженицыну-писателю. На это, пока ещё шепотом и с почтительным признанием «огромного значения» Солженицына распространяемое литературное его развенчание, можно было бы не обращать внимания, если бы не было оно, по моему глубочайшему убеждению, губительным — не для Солженицына (он сам свой высший суд), а для нас самих, для

русской, да и не только русской, литературы; если бы не было оно грозным симптомом убыли в нас внутреннего слуха и восприятия, способности расслышать и распознать собственное сердцебиение.

Как восхищенно-восприимчивы стали мы ко всему маленькому и второстепенному, как убедительно находим «свой голос» и «свою манеру» у каждого, как умело и научно устанавливаем его литературную родословную. Но когда падает с неба метеорит без всякой родословной, кроме разве той, литературоведам неведомой, когда ещё раз — на наших глазах — совершается чудо, мы оказываемся неспособными распознать его и — в первичном, глубинном смысле этих слов — удивиться ему и им восхититься. И это измельчание слуха, это бескрылое «александрийство», не могут не удручать в страшный час человеческой судьбы, когда всё в ней зависит от того, воскреснет ли СЛОВО в своей первоизданной целостности и целительной силе, или же до конца превратится, как уже и превращается повсюду в мире, в орудие дьявола, который «когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (I Ин. 8,44).

Как доказать, что «Архипелаг» — это ещё одна вершина в творчестве Солженицына — писателя, ещё один взлёт в русской и значит, в мировой литературе? «Имеяй уши слышать, да слышит». И вот я наугад, как открылось, открываю книгу и читаю:

«...Традиционный арест — это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жесткой чужой подавляющей силы. Это — взламыванье, вскрыванье, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхиванье, рассыпанье, разрыванье — и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребенком. Юристы выбросили ребенка из гроба, они искали и там. И вытряхивают больных из постели и разбинтовывают повязки. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У любителя старины Четверухина захватили «столько-то листов царских указов» — именно, указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза, и молебствии против холеры 1830-го года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!) При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их по-

койному посмертно присуждена ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь — остался народ без письменности...»

Читаю и спрашиваю себя: нужно ли ещё доказывать? Неужели не поражает сразу этот, ни на чей другой не похожий, действительно и до конца свой, язык, этот удивительный СКАЗ, словно нарочито рожденный для этой книги, всю её претворяющий в одну горестную, но и прекрасную поэму, где всё связано воедино и одновременно так щедро открыто, как сердце сердцу, душа душе? И кто же ещё так пишет, так творит сейчас? Кто властен ТАК воплотить, ТАК явить, ТАК причастить? Где ещё такой полной, преизбыточествующей, свободной жизнью живет наш русский язык, где ещё у него такая царственная свобода, такое полновожье ритмов, напевов, словообразований? Где другой стрелок так безошибочно, без единого промаха, бьющий в цель на протяжении шестисот страниц?

А эти удивительные маленькие рассказы, то и дело вырастающие как колосья из какого-то неиссякаемого чернозема! Чего стоит хотя бы тот, где на четырех страницах рассказано о втолкнутом в камеру пареньке: «...да кто же вы такой? Новичок виновато улыбнулся: — Император Михаил... Завтра, завтра, спать! — строго сказал Сузи». А эти не менее удивительные «концовки», режущие, как бритва, навсегда, без остатка, без какой бы то ни было возможности когда-нибудь, в будущем, как то заново «пересмотреть дело»: «так всходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябренок — Закон. Мы теперь совсем не помним этого». А это воссоздание, воскрешение навеки каждой минуты, каждого солнечного луча на стене камеры, каждого лица...

«Смелей других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют — и отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам... Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадет на землю, пачка крутнет по воздуху по самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает затворами — на старуху, на доброту, на хлеб: «эй, проходи, бабка...» И хлеб святой преломленный, остается лежать в пыли, пока нас не угонят...

...Это было двадцать минут почти свободы: густел вечер, зажигались первые звезды, красные и зеленые огни на путях. Звучала музыка. Продолжается жизнь без нас — и даже уже не обидно.»

Ещё раз: «имеяй уши слышать, да слышит». А по моему — такого взлета, такой удачи, такой полноты и победы давно уже не было дано нам в нашей литературе.

Но, может быть, скажут иные, на эту страшную тему нужно было только «исследование», ибо какое же тут, в аду, возможно и зачем понадобилось, «художество»? А других покоробит само это словосочетание — «художественное исследование»: так приучены они к тому, что нельзя мешать «жанры». Если «художественное», то, значит, не «исследование»; а если «исследование», то при чем тут художественное? Но Солженицын, сказав «художественное», настаивает: «всё было именно так», утверждает: — исследование. И остается нам, значит, только постараться понять, почему это свидетельство об аде, созданном людьми, и подобного которому не было ещё на земле, почему именно это свидетельство — неслыханное о неслыханном, невозможное о невозможном, потребовало от Солженицына ломки наших привычных канонов и жанров, почему уверенной рукой начертал он на заглавном листе: «художественное исследование».

Все знают, конечно, что книга Солженицына — не первое свидетельство о жутком архипелаге. Уже не один мореплаватель открывал эту ледяную страну, описывал её берега, наносил на карту имена, цифры, даты. И в основном всё то, о чём пишет Солженицын, уже известно. Уже народилась и растет об архипелаге специальная наука, уже даются за полезные вклады в неё магистерские и докторские степени и учреждаются для успешного её развития научно-исследовательские институты. И всё тут действительно научно, честно и объективно — и цифры, и факты, и выводы. Но вот в том-то и всё дело, что сколь правдиво и объективно ни было «исследование», любое исследование, никогда не может оно стать самим я в л е н и е м правды, ибо не имеет оно в себе силы воплощать. В том-то и всё дело, что дар претворения и воплощения дан только художнику, в этом его призвание, назначение и служение, и потому только он может так спокойно и твердо сказать: «всё было именно так». Только он может, а потому и должен, не просто снабдить нас сведениями и их ученым анализом, а причастить нас уже навсегда, навеки опыту Архипелага, этого последнего по времени имени и явления нашей человеческой судьбы, нашего с вами мира. И вот сделано. Завершено,

потому что претворено, исполнено, потому что воплощено — исследование. Но в этом претворении и воплощении, наполненное плотью и кровью, новой жизнью и силой зажило «художество»...

Как это сказано? «Талант может всё, гений не может не...» Солженицын не мог не написать этой книги и не мог не написать её так, как он написал её. До сих пор всё в его жизни — по закону гения, по закону именно неизбывности, неизбежности, «невозможности не...» Мы не знаем, нам не дано знать, как из миллионов людей избирает Бог одного и возлагает на него страшную и прекрасную судьбу: принять на себя, изжить в себе и в своем творчестве судьбу своего народа, своего мира, всё понять, всё воплотить, всё явить, но и заплатить за это полной мерой гонения и ненависти, и — что ещё хуже, ещё страшнее — непонимание слепых и глухих, маленьких, суетливых, цепко держащихся за своих нищих идолов.

На первой странице этой книги Солженицын пишет: «Мне ничего не остается, как немедленно опубликовать её». Но эти слова можно было поставить эпитафией ко всей его жизни и ко всему его творчеству. Всегда, всё время — «ему ничего не остается» как быть тем, кем он — по воле и избранию Бога — не может не быть.

Как мало, как страшно мало воздуха в этом нашем «современном» мире. Куда ни глянь, куда ни обратись, отовсюду наплетает на нас маленькое, низенькое, узенькое, душное. От поработителей и от освободителей одинаково, точно от одного рабства неудержимо стремится человек к другому рабству, из одной безвоздушной камеры в другую. Нет, книга эта не только о России, о большевизме и об его жертвах, она о всех нас, она о нашем мире, о нашем человечестве.

Страшно сказать, но духовно контуры зловещего Архипелага начинают всё больше совпадать со знакомым нам очертанием материков на голубом глобусе мироздания. И вот этот взрыв, этот напор, эта лавина воздуха, правды, любви и свободы! Дано нам светлое и доброе мерило, чтобы мы увидели и поняли не только, что «всё было именно так», но и как оно е с т ь в нас самих и вокруг нас. Ещё раз из страшной книги — о зле и гибели, — свет и надежда. «Имеяй уши слышать, да слышит».

январь 1974 г.

## ГОДЫ БЕЗВРЕМЕННОСТИ

(по поводу романа В. Максимова «Семь дней творения».)

### 1.

«Когда рождается поэт, душа бывает взволнована». Эти простые, ныне как-то полузабытые слова, глубже всего выражают ту радость, то со-участие, с которыми мы принимаем каждое произведение художника, отмеченное талантом и поиском истины. Душа волнуется от образа преображаемого бытия, мучается той бездной, которая вдруг «нам обнажена с своими страхами и мглами» (Ф. Тютчев), чует в пыльной скуке нашего существования тот «древний хаос», который и наше-то бытие вдруг делает страшным и двусмысленным. Правда, если бы «рожденное творение» лишь и предназначалось к тому, чтобы вдруг осветить перед нами во всем своем ужасе «постылый холод бытия», то, верно, оно целиком было бы вне сферы всякого искусства; ведь не «правдой» о бытии волнуется душа, а тем, что в него вошло что-то забытое, казалось, безвозвратно потерянное — отблеск Истины, который незримо наполняет всякое творение, родившееся в глубинах общенародного бытия.

Странное пережила время Россия XX столетия. Пожалуй, не определишь его точнее и безысходнее, чем это сделал Пастернак в своем стихотворении «Август»: «годы безвременщины». Человечество не однажды переживало подобное состояние, и каждое это состояние рождало мучительную и новую правду о человеке. Я думаю, никогда еще она не была так невыносима, как та, которую оформляло двадцатое столетие. Опустошенный и обескровленный духовными катастрофами, внутренне человек изнемог и затих; соблазн «историзма» охватил все его существо — «довериться» потоку, несущемуся неизвестно куда и зачем, «принять» творимое время как неизбежность или бессмысленность (как перед каменной стеной, — хотя тот же Достоевский настаивал, что неужто о каменную стену лишь оттого бессмысленно биться, что она — каменная?!), онеметь и сократиться до предела. Так плыл

тот туман, который насылали «годы безвременщины»; ведь и время нуждается в человеческом сознании, как и человек — во времени, и без их духовного «противостояния» положительная сущность времени легко обращается в апофатическую стихию «внешнего бытия».



Владимир Максимов

В такие годы духовного бессилия и волевой ипохондрии мы болезненней и ярче отзываемся голосу художника: слово — «чистое веселье» — тревожит и волнует нас, как будто и в самом деле рождает воспоминание об утраченном, заставляет нас жестче и серьезней обратиться к действительности, и ощущается невозможность больше длить такое существование, изнывая втихомолку от холода и неверия, в тягость самому себе. И если мы действительно слышим художника, мы должны ответить ему не лирическим *Selige Sehnsucht*, составляющим обычно лишь уютный комфорт нашей отстраненности, а внутренне ответить, памятуя об истинности того волнения, которое испытывали мы, когда встретились с его творением.

Такое волнение испытываешь, читая роман В. Максимова «Семь дней творения». С первых же страниц мы погружаемся в замкнутую радужную сферу, в которой владычествует слово и музыка, страдание и мысль, хаос и человек. Те первоосновы бытия, которые составляют материал всякого крупного произведения искусства, обнажаются в романе даже с какой-то непривычной для русской литературы суровостью. Прежде чем мы отрываемся от романа с тем, чтобы осмыслить его, понять, нас наполняет его шум — мощный «шум времени», гул полувековой России в страдании и затишье, бурях и безвременщине. Онтологические вопросы ставятся жестко, в упор; роман не только посвящен «главным» вопросам бытия, но все мало-мальски «второстепенные» вопросы вовсе исключены из его сферы. И в этом — не только сила художника, но и (о чем я буду обстоятельно говорить ниже) «историческая правота» автора. Ведь вся классическая русская литература жила «мировыми проблемами», и если во многом это был ее недостаток, то, с другой стороны, эта же приверженность к масштабности проблем оформлялась как внутренняя тяга. Легко заметить, что почти вся современная наша литература старательно избегает этих «главных тем», разрешение которых требует диалектической напряженности, погружения в современную онтологичность сознания; отсюда же возникают все эти бесконечные лирические professions de foi. А «главные темы, в сущности, всегда сводились к тому, что «дьявол борется с Богом, а поле битвы — души человеческие». Так что факт обращения к этим темам свидетельствует не только о масштабности художественного дарования Максимова, но и о его устремленности к традициям классической русской прозы. До сих пор мы знали Максимова как автора талантливых рассказов и повестей; и в этих произведениях легко было отметить «лица необщее выраженье», яркую языковую работу, тягу к «надломам бытия». Но при всей их безусловной одаренности и своеобразной жесткости, они оставляли впечатление какой-то недосказанности; чувствовалось, что в писателе зреет что-то новое, мучительное, неутоленное. Появление романа — безусловное свидетельство зрелости и художественной воплощенности роста Максимова; тот факт, что его роман — крупное явление русской прозы, я думаю, неоспорим; а такое явление «в годы безвременщины» всегда будет глубоко проблематичным и противоречивым, не только в искусстве прозы, но и в сфере общественного сознания и в области религиозного самосознания.

Надо заметить одну любопытную вещь: сфера общественного сознания, как ни сопряжена и вместе с тем далека она от стихии «изначального» искусства, явственно изживает произведения, живущие лишь в пределах этой сферы. Мы знаем произведения «публицистические» и «документальные», оформленные (лишь внешне, конечно) то в жанре философического эссе, то исповедальной литературы (1), для которых, казалось бы, и предназначена эта сфера. Но все эти произведения не стали фактом «творимой истории»; в лучшем случае, они войдут в разряд «истории литературы». Иссякла внутренняя инерция исповеди, не перейдя в область искусства, и сразу же это произведение исторгается из области общественного самосознания, ибо очень скоро обнаруживает предел бытия, мыслимое не во времени, а в р е м е н е м. На нашей памяти вспыхивало и отгорало множество таких книг, от которых ничего не осталось, кроме горстки «драгоценного» пепла. Роман Максимова такого предела в сфере общественного сознания себе не найдет, равно как и не исчерпается им, — и не в этой сфере (и не ею) он должен быть прежде всего определен.

Художник, заметил однажды Блок, — существо многолетнее. В нем пересекаются многие явления и события, он вбирает в себя духовный воздух эпохи; но если писатель не публицист, все эти события должны прежде всего пережить свое преобразование в его душе, **прорасти** в ней; ведь сам художник — не «мыслящее» бытие, а «мыслимое»; то, что попадает в сферу его мировосприятия, как бы лишается своей полноценности, своей автономности. Поэтому и факт существования романа Максимова в сфере общественного сознания имеет свое иное происхождение, чем публицистическо-документальная литература. Иное отношение здесь и к материалу; назначение художника — не только в организации этого материала, но и в обнаруживании его «сущности», его истоков и «подземных» связей. Этот материал может быть по-разному организован; по большей части современная проза является как бы срезом однозначного пласта: множественность психологического и логического планов покрывается единой смысловой установкой; эта традиция довольно устойчива в русской прозе, хотя

(1) Я имею здесь в виду исповедальный и публицистический жанр не как конструктивный принцип формообразования (Руссо, Пруст, Герцен), а как лирическую «исповедь» в пределах самого жанра.

внутренняя тяга ее порядком уже выветрилась (легко вспомнить, например, «Фальшивый купон» Л. Толстого, в котором усложненный событийный ряд определяется одним смысловым центром).

Максимов пытается вернуться к иной организации материала, предполагающей множество смысловых пластов. Я думаю, можно твердо сказать, что традиция множественности смысловых оформлений, имея могучий исток — Достоевского — как-то прошла «подземно» в русской литературе, обогащаясь ею подспудно, но не являясь исторической традицией, т. е. вполне воплощенной и означенной. Существование множества смысловых пластов требует от художника не только предельной психологической насыщенности, но и перехода ее в иное качество, в мыслимый и адекватный этому бытию знак. В подобном романе ни событийный ряд, ни психологический не может быть «аллегоризирован», ибо аллегии во всех видах предполагают единый центр. Максиму как раз удастся достичь того параллелизма сознаний, который и является формообразующим принципом. Именно-то и поэтому почти каждый герой романа проектируется в критическую минуту своего существования, и эти «пограничные ситуации» как бы автономизируют их сознания; а их всеобщность (в сознании, в событиях, в мироощущении) доводит их психологический статус до своего предела. Интересно отметить, что Петр Васильевич Лашков, постигающий (и сопротивляющийся своему открытию) какую-то внутреннюю свою неправоту, все время оказывается в ситуациях, которые как бы противоречат его сознанию, разбирают его кажущуюся стройность и справедливость, но вместе с постигаемой своей неправотой конструируется и сопротивление, — и все его сознание в конце романа становится как бы «общим местом», т. е. знаком (приезд Антонины с внуком), просветленным тем смыслом, который и придает единственную ценность его бытию... Может быть, не всегда и не во всех героях удастся Максиму воплотить этот принцип смысловой множественности, но здесь важно заметить следующее: внутренний мир большого писателя всегда отмечает новая типология героев; герои Максимова — «потерянные» люди, отмечающие то, чем жили они до сих пор, люди «перелома» и «надрыва» (у Максимова «надрыв» имеет принципиально новую в русской литературе окраску), которых отличает внутренний поиск, какая-то мука, которую не всегда хочется назвать «религиозной»; скорее, — это «мука бытия», бытия темного и неосознанного. «Где, когда, почему уступил он — Петр Васильевич Лашков — свою правду?» — тако-

во самоощущение существования Лашкова. Андрей, везущий больного мальчика-испанца на лошади в больницу, мучается: «Когда и почему вышло так, что все сдвинулось на земле, перемешалось, сошло места?.. Что произошло в мире? Что с ним, наконец, случилось? Что?» — Подобные цитаты можно приводить без конца. Все в романе мучаются, страдают, пытаются понять, обрести что-то утерянное, «осуществиться»... Сама данность психологического аспекта — глубоко напряжена; таким образом, сама типология героев подготавливает множественность сознания, ибо, чем глубже и надрывней страдания, тем обособленней и отдаленнее одно сознание от другого. В этом тоже своеобразие художественной манеры писателя: и данность, и процесс развития как бы помогают друг другу; имеют одну и ту же амплитуду. Новизна этой функции развилась из определенной новизны типологии героев: известно, что между «трагическим характером» и характером «трагической ситуации» лежит бездна. В данности гамлетовского характера трагедийность обнаруживается через событийный ряд, представляя собой идеальную ситуацию характера в трагической ситуации. Идея же Ивана Карамазова оформляет его характер как трагический еще задолго до всякого событийного ряда романа. В потенции у Гамлета могло не быть той трагической перспективы в оформлении его характера, которая осуществилась после явления Призрака.

Кажется, Достоевский на долгий срок лишил возможности психологического строительства, истощил пласты психологического конструирования «трагического характера». После него русская литература осуществила ряд героев «трагической ситуации», лишив их идеологического напластования. Уже типология героев М. Горького, Л. Андреева, А. Белого полна этой «психологической исчерпанности». Трагический характер получил пародическое смещение в прозе М. Зощенко; от Замятина до Булгакова русская проза прошла, не дав ни одного «трагического характера». В романе Пастернака «трагический герой» реализовался за счет культурной инерции XIX века; отсюда его «необщность», не «раскрытие проблемы», а ее «замыкание». Но, как говорит один философ, когда явления изживают самое себя, значит, прошла пора переводить их на язык диалектики (в данном случае — художественной). Таким новым героем стал Иван Денисович в повести Солженицына, покрывая немоту многих лет. Но при всей несравненной яркости и глубине, Солженицын осуществил этот образ в традиционном ряде; способ осуществления типологии героев Мак-

симова совсем иной и, на мой взгляд, отличается новизной отношения к проблеме героя: Максимов как бы совмещает «трагический характер» и «характер» трагической ситуации; ибо для Максимова «характер» трагической ситуации уже не «самодостаточен», он не вмещает проективности романа с множественностью смысловых центров. Не раскрытие его психологической данности, а определение его внутренней проблематики заботит автора. Но рождение «трагического характера» начинается там, где аспект внутренней проблемы героя уже реализован — через данность идеи, которая и является принципом формы характера (2). Нельзя сказать, что Максимов уже закрепляет тот идеологический ряд, способствующий реализации трагических характеров; он как бы пока «осваивает» его, преодолевая статику смыслового и идеологического единства; поэтому, используя терминологические образы М. М. Бахтина, можно заключить, что роман — **Семь дней творения** — прорываясь сквозь монологическую структуру современной прозы, приобретает **диалогическую тягу** (не структуру); такая недоволенность, пожалуй, ни в чем не вредя роману, оставляя открытыми многие его формальные стороны, является ярчайшей характерностью для осознания «безвременщины»; переходной характер *Bewusstsein überhaupt* как бы сам недозавершил еще разрешение проблематики героев «безвременщины».

### 3.

Здесь я хотел бы остановиться на одном факте, который, как будет видно ниже, позволит определить и историческую правомочность рождения такого романа, как «Семь дней творения». В каком-то смысле, в силу сложившейся твердой традиции, любой крупный роман в России всегда соотносится либо с «толстовской» (монологической) традицией, либо попадает под зависимость «тайного» влияния Достоевского. Толстовская традиция казалась (а, может быть, была таковой и на самом деле) более перспективной не столько в силу традиционного методологии смыслового единства, сколько в естественной поступательности

(2) «Идея, — как пишет в своей книге о Достоевском М. М. Бахтин, — как принцип изображения, сливается с формой. Она определяет все формальные акценты, все те идеологические оценки, которые образуют формальное единство художественного стиля и единый тон произведения. (М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 138).

своего развития; следует указать, что в поздних произведениях Горького и Фадеева изжил себя именно монологический принцип; но развитие и обособленное изживание этого принципа в данном направлении совсем не свидетельствует о его умирании вообще; лишь **данное направление** истощило определенную возможность «толстовского» принципа формы. Я думаю, к нему еще будут бесконечно обращаться наши прозаики; гарантия тому — поразительное многообразие **внутри** самой монологической структуры.

Так как воздействие Достоевского оформлялось не внешне, а подспудно, то «годы безвременщины», не «вместившие» его, не соприкоснулись с ним, разве только апофатически. Как это ни парадоксально, но художественный принцип Достоевского возвращался к нам с Запада. Я даже думаю, что этот формообразующий принцип романа был глубже (хотя и односторонней) воспринят Западом потому, что структурная основа диалектического романа была более прочно связана с традицией европейского романа. Запад в первую очередь и впитал этот формообразующий принцип: немецкие экспрессионисты, Кафка, французские писатели от А. Жида до А. Камю существовали на внутренней тяге Достоевского; правда, они поступили с этим принципом подобно нашим прозаикам, разрабатывавшим в известном направлении монологический принцип Толстого: формообразующий принцип диалектического романа был отождествлен с идеологической системой; в результате оказалось, что идея-знак выродилась в аллегорический образ, психологическая структура — в «самодостаточность» психологического пласта, изоляция диалектического принципа привела к тому, что художественное его воплощение замкнулось в авторской «системе» (А. Камю, Ж.-П. Сартр.).

В предельно искаженном, почти неузнаваемом виде возвращался к нам «диалектический принцип» Достоевского. Но ведь влияние культурной традиции — вещь чрезвычайно сложная; оно прежде всего характеризует испытывающего это влияние, чем саму традицию; она вся — в «культурном воздухе» времени, а те, кто полагает, что традиция — это ремесло, находятся в плену нищенских, антидуховных определений. Тем более понятна ее изменчивость, что по сравнению с Западом молодая культура России со дня своего рождения потрясаемая непрерывными духовными катастрофами, не обладала той устойчивой историчностью, как это было на Западе. На мой взгляд, различные модификации русской прозы непременно должны были прежде всего обнаружиться в том пункте, в котором она приближалась к Достоевско-

му. Достоевский — это центральный пункт самосознания русской культуры; ведь и Пушкин, и Гоголь могут быть нам теперь понятны только через Достоевского. Так что тяготение В. Максимова к диалогическому принципу Достоевского, или, точнее сказать, поиски «воплощаемости» этого принципа на современном этапе как бы обеспечивают ему историческую правомочность, «неслучайность». А поиски традиции налицо: и диалогическая тяга (хоть и не диалектически претворенная), и напластования «стихий» (хоть и не идеологического, а онтологического характера), и поиски автономно данных характеров. Все это, разумеется, не делает Максимова учеником или последователем Достоевского — ведь прикосновение к культурной традиции должно сообщать «историческую правоту» писателю, не более. В остальном он — художник — свободен.

#### 4.

Любой исследователь русской послереволюционной прозы должен в конце концов задаться одним вопросом: является ли эта проза естественным продолжением и духовной наследницей русской классической литературы, включая символистов, или пережитые катаклизмы изменили русло русской литературы, и она пошла по дотоле неизведанному ею пути? Я думаю, в целом должно ответить на этот вопрос отрицательно.

Культурное наследование есть процесс не только творческий и свободный, но и «мистический». Он означает не только духовное единение, но и «связь времен». Когда она распадается, культурная традиция уходит в глубины народного самосознания, ибо «ей нечего здесь делать». Проза, как искусство более идеологическое чем, скажем, поэзия, более зависима от культурных влияний, она требует по своей природе более определенных и явственных связей.

Но исчезновение культурной традиции — указатель того, что мир покидают «тайные силы», оформлявшие духовную атмосферу времени. Русская классическая проза внутренне завершилась уже в конце XIX в., религиозный гуманизм обессилел в титанической борьбе с пантеизмами разных мастей, а более всего — с собственной антиномичностью. Его упадок означал прежде всего завершенность; сложилось цельное сознание эпохи во времени; уже символисты были последними свидетелями культуры в ее «минуты роковые».

Оформлялся ли характер русской послереволюционной прозы в отрицательном противополжении духу русской классической прозы, духу искания истин и духовного воплощения? Вряд ли это можно утверждать, ведь отрицательное отношение к культурной традиции есть один из способов духовного общения, хоть и истребительного. Я считаю наиболее близким к истине утверждение русской послереволюционной прозы как явления периферийного, областного характера; культурная инерция освободила те данности, которые ни в чем не совпадали с духом русской прозы (Бабель, Зощенко, Б. Пильняк, А. Платонов, отчасти предельный этот периферизм). Этим же объясняется ее тяга к экзотическим и орнаментальным явлениям (Бабель, Паустовский, ранний Платонов). Поэтому же те годы не дали ни одного романа достаточного удельного веса, ибо и сама идея романа была невозможна — не на что было «опереться», кроме затухающих инерций той или иной традиции.

В романе же Максимова мы ощущаем, что эти традиции, наконец, «пробились». Их присутствие чувствуется во всем: в полноте и гибельности бытия, в моделировании героев, в возвращении к тем темам, которыми жила русская литература. Еще пройдет много времени, прежде чем «годы безвременщины» обретут свое окончательное воплощение; перед теми же, кто начал этот процесс, стояли немыслимые, может быть, во всей истории русской литературы трудности — обретение тех традиций, которые неожиданно выступили «из-под земли».

#### 5.

Масштабность романа Максимова вполне соответствует тем задачам, которые встают перед писателем, запечатлевающим «годы безвременщины». Шесть главок — шесть дней (чутье художника подсказало писателю оставить невоплощенным седьмой день — «День Надежды и Воскресения», ибо он лежит вне тональной плоскости романа, так как предполагает духовную гармонию, которая не приходит к его страдающим героям), связанных внутренне напряженной сюжетной линией и единством духовной атмосферы, которая, однако, оставляет множественность смысловых сознаний героев. Эти главки нельзя рассматривать как логическим образом объединенные новеллы — ведь новелла или повесть предполагает внутреннюю законченность, «исполненность», тогда как поэтика романа должна дать выход незавершенности, мыс-

лимой протяженности героя и времени, перспективу идеи как принципа формы. Многослойность, напластование в романе Максимова как бы укрепляют множественность сознаний, накапливают события под таким углом зрения, что их сущность, концентрируясь в сознании героя, потрясает ее статику, дает ей движение.

Правда, в некоторых главах просматривается тенденция к смысловой и объективной завершенности. Так, в главе, быть может, самой блестящей, «Двор посреди неба», сюжетный ряд развивается не по вертикали, как свойственно обычно Максиму, а по горизонтали, и это грозило бы вылиться в самостоятельно осмысленное произведение внутри произведения; но так не случается, на мой взгляд, поскольку она является как бы духовным перекрестком романа, на котором сталкиваются все его линии. Смысловая нагрузка главы чрезвычайно велика: слишком велика была бы для одной главы, и если многие судьбы сюжетно завершены в этой главе, то смысловая проекция конструктивно переходит в следующую главу — «Поздний свет», в которой объективируется или означает, т. е. мыслится чрез «подобие» или «противоположение» сознаний героев. (Левушкин — Марк, Штабель — Вадим). Это противоположение характера вообще характерно для Максимова и благодатно для его проблем (не нужно его путать с противоположной «данностью» героев, которая обычно в прозе осуществляется «морально»). Муся антиномически дана с Антонидой, Николай — с Осипом. Такая антиномичность сродни атмосфере «безвременщины»; и Максимов точно ее означает, ибо нельзя создавать духовную атмосферу времени, ее можно только обнаруживать. Максимов обогащает характер не только в антиномической среде, не только «изнутри», но и смыкая персонифицированный образ со «средой» — в этом отношении у него как у художника прозревается какой-то новый модус психологически-изобразительного подтекста: «И тень сомкнулась над ним. И в нем». «Ему показалось, что захлопнулась не дверь, а что-то в нем. И наглухо. И надолго». Вообще следует отметить, что наиболее ярко реализовались в романе как раз те характеры, которые «обнаружены» всей атмосферой «безвременщины»; более статическими и нейтральными осуществились те, которые не только по смысловой установке, но и по психологической природе тяготеют к оформленности, завершенности — Гупак, о. Георгий, отчасти Марк; но несомненно и то, что некий их «статизм» обусловлен отнюдь не художественной слабостью, а целевым назначе-

нием — они составляют тот ряд характеров, который усиливает ряд противоположных, тех, кого оформляли «годы безвременщины» (ибо Гупак и о. Георгий реализовались **вопреки** «годам безвременщины»). В мою задачу не входит анализ религиозного сознания тех или иных героев (начало самосознания и есть религиозный факт), но хотелось бы отметить следующее: в романе не идеологического типа, с тягой, которую можно было бы определить как «диалогическую», аспекты религиозного сознания героев должны сохранять свою множественность не через «идею как принцип формы» (это осуществимо лишь в романе идеологического типа), но чрез свое «осмысляемое бытие»; таким образом, и здесь можно еще раз подчеркнуть «переходность», «поисковый» момент романа Максимова; возврат к культурной традиции всегда сопрягался с такою переходностью. А раз множественность сознаний дается не через идеологический принцип, а бытийственный, то вполне естественно, что диалектической данности этого бытия предшествует описанию (3) (Beschreibung), частое в романе — для преодоления статики бытия, накопление его для разрядки, для обнажения «мыслимого бытия». Тем более, что описание «диалектично» в смысловом отношении, а не «статично», как у Бунина или у многих современных прозаиков. Приведу пример: у Максимова есть потрясающий эпизод, которому, я думаю, суждено стать хрестоматийным: два циркача, рискуя жизнью, устраивают мгновенное представление детям, находящимся в вагоне за колючей проволокой. В произведении, реализующемся лишь в сфере общественного сознания, этот эпизод был бы лишь кинематографическим «кадром», введенным для той или иной цели. В романе же внутреннее состояние героя, свидетеля этой сцены, как бы «надламывается», «мыслится» через эту данность (т. е. бытие). И это методологически очень характерно для Максимова-художника; он и в способ описания, глубоко традиционного, вносит тот принцип, который до него этому описанию не был свойствен. Поиск традиции — процесс мучительный и сложный; подобно самой внутренней теме романа, «безвременщине», слишком многое вошло в оболочку романа, и многие проблемы еще ждут либо полного развития, либо искоренены как посторонние и ненужные. Но в плане «реализации поиска» роман Максимова современно целен.

(3) Под описанием надо понимать приложение данности к смысловому объекту, а не процесс замены факта в литературе его внешней данностью.

С этой описательностью связана и другая особенность Максимова-художника: его способ проективного преломления сознания героя в этой описательности. У Достоевского, например, описательный эпизод сопрягает характер героя с его идейно-духовной структурой; так, в «Бесах», когда к Шатову приезжает его жена, эпизод встречи предельно обнажает и утверждает онтологизм героя, его идеологическую сущность; она как бы обретает «онтологическую» оболочку. У Максимова сознание героя еще не «затвердело» в точном образе мышления, и описательность, не насилуя автономности сознания, как бы «обогащает» сферу сознания, ускоряя моменты самосознания. Этим еще, я думаю, объясняется форма предварительного вступления к характеру или событию, исполненного в одной тональности с его общим развитием, и оттого не замедляющего течения романа. Стихия описательности не захлестывает смыслового оформления, хотя изредка вредит в целом «диалогической тяге» романа.

В. Максимов написал роман не только о времени, но и «временем». Мне кажется, это в романе драгоценнее всего. В нем есть и «историческая правота», и внутренняя духовная перспектива, и тот горестный аналогический опыт, которые образовали «годы безвременщины», и свойственный крупным произведениям искусства возврат к «подземной» культурной традиции. Я думаю, многие ждали появления романа, осмысляющего «годы безвременщины». Когда-то Гете облек подобное ожидание в мудрые и строгие слова:

Zum Rechten Zeit  
Am Rechten Ort  
Das Rechte Man  
Hat Rechten Wort.

Роман В. Максимова и есть «необходимые слова» в «необходимое время».

.....

## По поводу ВОСПОМИНАНИЙ Н. Я. Мандельштам

Л

ПИСЬМО А. Т. ТВАРДОВСКОГО К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

9 февраля 1968 г.

Глубокоуважаемая  
Надежда Яковлевна!

Большое Вам спасибо за предоставленную мне возможность прочесть Вашу рукопись. (\*)

Не собираюсь писать на нее «внутреннюю рецензию», вряд ли и Вы в этом нуждаетесь, — скажу только, что прочел я ее «одним дыхом», да иначе ее и читать нельзя — она так и написана, точно изустно рассказана в одну ночь доброму другу, перед которым нечего таиться или чем-нибудь казаться. Словом, книга Ваша счастливым образом совершенно свободна от каких-либо беллетристических претензий, как это часто бывает в подобных случаях. А между тем написана она на редкость сильно, талантливо и с собственно литературной стороны — с той особой мерой необходимости изложения, когда при таком объеме ее ничто не кажется лишним. Даже своеобразные повторения, возвращения вспять, забегаания вперед, отступления или отвлечения в сторону, вбок — все представляется естественным и оправданным.

Трагическая судьба подлинного поэта, при жизни до крайности обуженной, внутрилитературной известности, вдруг захваченного погибельной «водовертью» сложных и трагических лет, под Вашим пером приобретает куда более общезначимое содержание, чем просто история тех испытаний, какие выпали на Вашу с Осипом Эмильевичем долю.

Мне хочется сказать Вам, что книга эта явилась как выполнение Вами глубоко и благородно понятого своего долга, и сознание этого не могло не принести Вам достойного удовлетворения, как бы ни трудно было Вам вновь и вновь переживать пережитое. Именно так нужно расправляться со всем, что есть самого трудного и горького в жизни — делиться им с добрыми людьми, а они всегда есть на свете и все поймут, и будут признательны за то,

(\*) Речь идет о первом томе Воспоминаний.

что им помогли понять. Правда, это — привилегия таланта, — Бог Вас наградил им, — но всякий читатель, взволнованный талантливой книгой — как бы соавтор ее.

Я ни на минуту не сомневаюсь, что книга Ваша должна увидеть и увидит свет, — потому и называю рукопись книгой, — только относительно сроков этого, к сожалению, я не могу быть столь же определенным.

Я хорошо понимаю, что гораздо более, чем мои покамест «платонические» суждения и оценки Вашей книги, Вас интересовали бы в первую очередь мои сообщения относительно сроков выхода книги О. Мандельштама в «Библиотеке поэта», где и я числюсь одним из редакторов. Здесь я могу только заверить Вас, что эта поистине ужасная волокита не есть следствие чьей-нибудь из редакторов «Библиотеки» злой воли, в том числе и В. Н. Орлова. Может быть, есть люди, полагающие, что и я не печатаю в «Новом мире» уже многим известный в списках роман Солженицына \*) из опасения потерять «место». Что делать!

Могу еще сказать Вам, что на самом последнем этапе непосредственной причиной задержанию книги Мандельштама уже в сверстанном виде послужили мои замечания насчет слишком явных несовершенств подготовленного издания, в частности, — что особенно обидно и стыдно, — по сравнению с американским изданием.

Еще раз спасибо Вам, Надежда Яковлевна.

С глубоким уважением

[подпись]

А Твардовский

\*) Речь идет о Раковом Корпусе.

II

ПИСЬМО В. КАВЕРИНА К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

Москва, 20-III-73

Уважаемая Надежда Яковлевна, я прочитал Вашу «Вторую книгу» и пожалел, что из уважения к Мандельштаму ни я, ни другие Ваши знакомые (кроме И. Г. Эренбурга) не указали Вам откровенно, что и в первой под прозрачными инициалами Вы оклеветали честных людей. Правда, немногих — очевидно по той причине, что те, за которых Вы принялись во «Второй», были еще живы, а ругать живых сложнее, чем мертвых.

Что же Вы сделали? Книга — большая, семьсот страниц. Написана она со мнимой значительностью. Много понахватано, услышано краем уха, перепутано. Впрочем, для цели, которую Вы поставили перед собой такие мелочи, как невнятица, в счет не идут. Вы решили — ни много, ни мало — доказать, что за последние пятьдесят лет нашей литературы не было. Были только Мандельштам, Ахматова и Вы, не написавшая ни строчки. Замечу, что в первой книге Вы пишете об Ахматовой, как о старшей сестре, а во второй — как о младшей, которую можно время от времени покровительственно осадить.

Нетрудно назвать тех, кого Вы пытаетесь унижить и опозорить — именно этот способ Вы избрали, чтобы доказать «мнимость» их существования. Для этого надо только отыскать в указателе имя талантливого писателя и честного человека — и на соответствующей странице найдется либо прямая ругань по его адресу, либо издевательское сожаление. Это в полной мере относится к Горькому, Чуковскому, Волошину, Заболоцкому, Булгакову, Эренбургу, Пастернаку, Олеше, Тынянову, Маяковскому, Мейерхольду. Можно назвать еще два десятка уважаемых людей, обруганных Вами — одних мимоходом, других (как Зенкевич) — обстоятельно, с наслаждением.

Злоба никогда не вела к добру, она по своей природе бесплодна. Злоба сочится из каждой строчки Вашей книги, и весь Ваш отравленный труд пропитан ею — от первой до последней страницы.

Но кто дал Вам право судить художников, одаривших блистательными произведениями свою страну и весь мир?

Булгаков, прятанный даже от друзей «Мастера и Маргариту», был, оказывается, просто «дурень» (стр. 136), расстрелянный Мейерхольд стоит где-то между «Папаниным и футбольными матчами» (стр. 176), застрелившийся Маяковский был «исполнителем, а не изобретателем». Даже о Хлебникове, который, по Вашим же словам, был обязан Вам счастливым периодом своей жизни, Вы написали с каким-то тайным, но плохо скрытым отвращением. Можете не сомневаться — каждый из оскорбленных Вами найдет своего заступника. Я же скажу только о Тынянове, который был моим учителем и ближайшим другом. К нему у Вас особый счет, о котором и надо говорить особо.

Он оказывается, не знал, что «понятие развития связано с идеей прогресса» (стр. 367). Он «заикается и увиливает, говоря о стихах»

(сит. 211). С ним "не о чем было говорить" (стр. 259). Он — основатель теории, отравившей нашу литературу, теории, которая заключается в том, что "поэт, переходя из одной школы в другую, ведет себя, как актер, берущийся за новую роль" (368). Он виноват в том, что писатели надели на себя маски. "Поверив в теорию "литературного героя" и в маски, он тщательно подобрал для себя свою" (368). Разумеется, под маской придворного романиста "Кюхельбекером он статью не решился — опасно" (стр. 369). Он был трусом — "из страха" не ответил на письмо Мандельштама. В 20-х и 30-х годах мы с Тыняновым виделись почти ежедневно и невозможно представить себе, что он не сказал бы мне об этом письме. Как же посмели Вы предположить, что он мог уничтожить письмо Мандельштама? Как посмели Вы притвориться, что не знаете о нравственном мужестве автора "Восковой персоны" и "Смерти Вазир-Мухтара"? О писателе, жизнь которого поражает своей цельностью, Вы пишете, что он "ломал свою биографию из чувства самого примитивного самосохранения" (370).

На странице 369 Вы рассказываете о последней встрече Тынянова с Мандельштамом и Вами. "Он сидел в кресле, высохший, резко уменьшившийся, с большой и умной головой, и бодро рассуждал о поэзии. Когда он встал, чтобы проводить нас, я заметила, что ноги у него превратились в тоненькие палочки. Он еле-еле шел, опираясь на палку, и рухнул в длинном коридоре петербургской квартиры. На звук падения выскочила жена, показавшаяся мне настоящей ведьмой, и с руганью подняла его. Он попытался проститься, но ведьма уволокла беспомощного и неспособного сопротивляться мужа".

Встреча эта не могла состояться позже 1938 года — не правда ли? — а в 1936 Тынянов был в Париже, исходив его вдоль и поперек с Эренбургом и Савичем. Он ходил с палкой, но до конца 1939 мы с ним ежедневно совершали прогулки — я писал об этом в своей статье о нем. Длинного коридора в его квартире не было — из маленькой прихожей дверь вела прямо в его кабинет. Тоненькие ли были у него ноги, Вы могли бы судить, если бы он встретил Вас без брюк — такого обыкновения у Тынянова не было, гостей он встречал в костюме. Если он "рухнул", как Вы пишете, почему бы он стал сопротивляться жене, которая, очевидно, хотела ему помочь, даже если и была, как Вы пишете — "ведьмой"?

"Я всегда врала" — пишете Вы (стр. 178), оправдываясь всеобщностью страха, естественной для 30-х годов. Но зачем же врать теперь, когда появление Вашей первой книги нимало не помешало появлению второй? В этой сцене все — ложь.

Пытаясь доказать, что Тынянов — глава всех лицемеров в нашей литературе, Вы перелистали его книгу "Архаисты и новаторы" и не поняли в ней ни слова. У Вас нет литературного образования, чтобы понять ее, иначе Вы не писали бы, что "архаисты вроде как почвенники" и что "сегодня поэт — новатор, завтра он архаист, а послезавтра еще кто-то" (стр. 366). Это — невежество вопиющее и одновременно жалкое. Вы прочитали только одну его статью "Промежуток", да и ту не поняли. В самом деле, кто же поверит, что Тынянов "тайно любил стихи", если он опубликовал статьи и книги о Пушкине, Тютчеве, Некрасове, Кюхель-

бекере, Гейне, а из современников — о Блоке, Хлебникове, Пастернаке, Мандельштаме, Ходасевиче, Чуковском, Тихонове и других первоклассных поэтах? Те, кто завно оценил труды Тынянова как новый этап в истории мирового литературоведения, оценят и самодовольную беспомощность, с которой Вы о них написали. Не оскорбленная гордость продиктовала Вам "Вторую книгу", а болезненное самоупоение, основанное на том, что Вы были женой гениального поэта. К самоупоению присоединилась — что не так уж и странно — мещанская развязность, которой Вы, кажется, даже гордитесь. Вы пишете: "я люблю мат, в нем проявление жизни, как и в анекдотах" (стр. 329). Признание характерное. В своей книге Вы то и дело переходите от анекдота к мату. Недаром же Вы не гнушаетесь такими выражениями, как "идiotы, болваны, сучья Венера, свиное рыло, insultник, холуй, брехня, ведьма, хохмач, похабный пир, даст деру, глупо-поганый, педерастивный (!) уют — это последнее о квартире Ахматовой. К развязности присоединилось ханжество ("я — грешная, мерзкая"). А к ханжеству — необъяснимый расчет, что не найдутся на свете люди, которые по достоинству оценят Вашу книгу. Среди них — не сомневаюсь — был бы и Мандельштам, который, как Вы пишете, призывал "братъ лучшее и забывать провалы и лжеучения".

И Вы надеялись, что Ваша книга будет услышана в русской литературе? Нет. Ее услышит и поддержит англilитература — те, кто дорого бы дал, чтобы в нашем искусстве не было ни Булгакова, ни Мейерхольда.

Вы не вдова, Вы — тень Мандельштама. В знаменитой пьесе Шварца тень пытается заменить своего обладателя — искреннего, доброго, великодушного человека. Но находятся слова, против которых она бессильна. Вот они: "Тень, знай свое место".

(подпись) Каверин

Письмо В. Каверина мы печатаем как документ эпохи в *pendant* к письму Твардовского, хотя решительно с его оценкой не согласны. В. Каверин был не только другом и учеником Тынянова, но и его родственником, и несправедливая критика **Второй книги** объясняется, вероятно, личной обидой. Ниже мы приводим несколько выдержек из **Второй книги** о людях, якобы оболганных Н. Я. Мандельштам: они показывают, насколько В. Каверин перетягивает факты, даже о Тынянове сказано много хорошего.

Во **Второй книге** несомненно больше полемического задора, чем в первой, больше уколов, м. б. не всегда справедливых. Но зато какая широта охвата, какая глубина перспективы! За деревьями В. Каверин не заметил леса. Не дожидаясь Каверинского отзыва, **Вторая книга** вошла в русскую литературу как талантливейшее произведение, как единственный по своей остроте и зоркости взгляд на эпоху. И напрасно Каверин пытается противопоставить "злую" Надежду Яковлевну её "доброму" мужу. Читал ли Каверин **Четвертую Прозу** Мандельштама: "Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые заранее пишут разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и т. д."? Давший оплеуху А. Толстому, не здоровавшийся с большинством писателей, прозванный Митьку Благого "лицейской сволочью", Осип Мандельштам еще в конце 20-х годов изобрел единственно правильный критерий для оценки авторов и произведений русской литературы советского периода.

Из **Второй книги**.

О Заболоцком:

"Ту поэзию, которую заслуживают лишь немногие, обычно убивают или еще хуже — поэта берут в оборот, запугивают и заставляют исправиться. Именно это сделали у нас с Заболоцким".

О Эренбурге:

"Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный как все, он все же пытался что-то делать для людей".

О Тынянове:

"Все кругом меня было лишено мысли и сердца. Мандельштам, сильный человек, молчал, как и Ахматова. Хорошие люди, вроде Тынянова, занимались мелким изобретательством"...

"...он принадлежал к лучшим и самым чистым людям из наших современников".

О Чуковском, Булгакове и других сказано так мало, так вскользь и так не зло, что их имена Каверин привел лишь для прикрытия своей защиты Тынянова.

Н. С.

I.

Неизданное письмо М. Цветаевой к В. Н. Буниной.

Vanves (Seine), 65, rue J.-B. Potin

3-го ноября 1936 г., вторник.

Дорогая Вера,

Совершенно потрясена происшествием с И. А. в Германии. Вот тебе и:

...Нет ни волшебней, ни премудрей  
Тебя, благоуханный край,  
Где чешет золотые кудри  
Над вечным Рейном — Лорелей!

(Москва, 1914 г., я)

Прочтя в П. Н., я раскрыла рот как рыба, я буквально захлебнулась негодованием, и так и живу эти дни с разинутым ртом, и еще удивляюсь, что нету — пены.

Милая Вера, перешлите пожалуйста это письмо Вере Зайцевой, это **чужое дело**, за которое я взялась, срочное, а Аля сказала, что у них, кажется, новый адрес.

Целую Вас и жду весточки.

МЦ

И. А. очень хорошо написал, по-олимпийски, совершенно сторонне и созерцательно, и непричастно —

Как души смотрят с высоты  
На ими брошенное тело.

(\*) В Издательстве YMCA-PRESS под редакцией Г. и Н. Струве вышел большой сборник неизданных доселе писем М. Цветаевой к Эллису, Ахматовой, Розанову, Пастернаку, В. Буниной, О. Черновой, Б. Солинскому и т. д. Здесь мы печатаем как бы вдогонку письмо М. Цветаевой к В. Буниной, не попавшее в книгу, так как оно находилось в архиве самого Ивана Алексеевича, а не его жены. За возможность его опубликовать приносим нашу благодарность проф. Единбургского университета М. Грин.

Не пишу ему лично, п. ч. ему наверное надоели распросы и сочувствия. Но пусть он эту мою *sensibilité* не примет — как это обычно со мной бывает — за **бесчувственность!**

Будьте посредником.

Целую еще раз.

#### КОММЕНТАРИИ

В конце октября 1936 года И. А. Бунин, ездивший в Прагу читать свои произведения, направлялся через Германию в Швейцарию. 26-го октября он прибыл в город Ландау. Там он самым грубым образом был подвержен унижительному таможенному осмотру.

«Я стоял перед ним раздетый, разутый, — он сорвал с меня даже носки, — весь дрожал и стучал зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка, а он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы моих ботинок...», рассказывал Бунин о своих злоключениях в газете «Сегодня Вечером» (Рига, 3 ноября 1936)

«Меня вели долго через весь город под проливным дождем. Когда же привели, ровно три часа осматривали каждую малейшую вещь в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки...»

Это происшествие вызвало бурю негодования и в печати, и среди друзей и почитателей Бунина. Он получил немало сочувственных писем и от частных лиц, и от организаций. Письмо Марины Цветаевой Вере Николаевне Буниной от 3-го ноября 1936 года — один из таких откликов.

В левом верхнем углу рукой Веры Николаевны написано «К аресту в Ландау», внизу справа карандашом, почерком Бунина отмечено: «Марина Цвѣтаева».

Эдинбург.

Милица Грин

#### II.

#### Неизданное письмо к М. С. Цетлиной \*)

Прага, 11-го августа 1923 г.

Дорогая Мария Самойловна!

Дошло ли до Вас мое последнее письмо со стихами? Посылала Вам «Заставу», Вы просили других, послала другие — и Вы замолчали. Это было уже около месяца тому назад. Может быть, Вы уехали и письмо залежалось в Париже? Стихи были «Деревья» и «Листья».

В последнем письме Вы спрашивали, не нужны ли мне, до крайности, деньги. Тогда ответила неопределенно, ибо крайности не было, сейчас крайность есть — даже несколько: я должна отвезить Алю в гимназию (в Моравию) мы должны переезжать в город и, наконец, мне необходимо во что бы то ни стало съездить в Берлин устроить рукописи. (В Праге безвыездно уже год).

И вот, ввиду всего этого, просьба: не могли бы Вы мне дать вперед за стихи — и, может быть несколько больше, чем сейчас заработала. (В... (\*) стихи приняты!). Я бы не просила Вас, если бы не была зарезана всеми этими переменах и переездами, которые окончательно выбивают меня из седла.

И еще просьба: не могли бы Вы попросить по телефону «Современные записки» немедленно выслать мне гонорар за стихи «Бог» в последней книге. Я писала в Берлин Гуковскому, но, очевидно, он тоже уехал.

Мне очень тяжело просить именно Вас, которую все просят, но мой берлинский издатель Геликон зачах и издох, в Праге же я не цвету.

Ехать мне необходимо к 1-му, если имеете желание и возможность выручить — выручайте сейчас.

Живу, уж снявшись с места, т. е. уже не живу, все это рухнуло сразу: и Алин отъезд, и мой, и переезд в город. Больше зимы в деревне, вернее «деревни в зиме» (ибо зима — стихия, поглощающая деревню!) не хочу. А Прага такой треклятый город, что в ней уже Достоевский не мог найти комнаты. Цены непомерные, хозяйки лютые, квартиранты — русские, все это не спевается.

Я так эгоистически заполнила все письмо собой, делаю это и в стихах, но иначе. Данное «собой» — омерзительно, ибо бытовое.

Целую Вас нежно, привет Михаилу Осиповичу. Скоро напишу по человечески.

Мой адрес: Praha, Posta restante. Marina Cvetajewa-Efron (на орфографии фамилии настаиваю, так у меня в паспорте).

(\*) слово неразборчиво.

\*) Мария Самойловна Цетлина, род. в 1882 г., жена поэта и писателя М. О. Цетлина (Амари), заведывавшего в *Современных записках* отделом поэзии.

## Судьбы России

Последний квартал 1973 года, закончившийся выходом из печати в Париже „Архипелага ГУЛага“, был богат многочисленными выступлениями борцов за справедливость, правду и свободу духовного творчества. Хотя большинство печатаемых ниже текстов уже знакомы западным читателям по газетным публикациям, мы все же сочли целесообразным объединить их все в одно целое. Может быть, никогда за всю историю Советского Союза, еще не раздавался такой мощный, такой дружный призыв к духовному раскрепощению страны от людей разного происхождения (Солженицын — сын студента-офицера, Сахаров — священника, Чуковская — дочь писателя, Максимов и Барабанов — дети коммунистов) и самых разных поколений (Чуковская родилась в 1912 г., Солженицын в 1918 г., Сахаров в 1921 г., Максимов в 1932 г., Барабанов в 1943).

Пусть этот зов лучших людей России сейчас заглушен агитационными лозунгами, пусть сверху на него отвечают лишь увольнениями, недалеко уже то будущее, когда силою правды он получит всенародный отклик и принесет свой добрый плод.

Ред.

### ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА ЗАПАДНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ

23 августа 1973 г.

(полный, не искаженный текст)

*Правда ли, что Вы получаете письма с угрозами и требованиями от гангстеров?*

Не столько с требованиями, сколько именно с угрозами, — расправиться со мною и с моей семьёй, да. Этим летом такие письма приходили ко мне по почте. Не говоря

\*) В Западной печати и особенно в газете *Le Monde* это интервью было сильно сокращено и искажено. Впервые оно печатается здесь полностью.



Александр Солженицын

о просчетах психологических, многие и технические просчёты авторов убедили меня, что эти письма посылали деятели госбезопасности. Тут — и невероятная скорость доставки этих „бандитских“ писем — менее, чем за одни сутки, как идут лишь письма важнейших правительственных учреждений (обычная почта ко мне по Москве идет 3-5 суток, а письма сколько-нибудь важные, срочные и полезные мне не доставляются вообще никогда). Тут и — такая спешка, что заклейка конверта производилась после (!) штампа почтового приёма. Тут — и терминологические ошибки. Например последнее такое письмо от 30 июля:

*„Ну, сука, так и не пришел?! Теперь обижайся на СЕБЯ. П Р А В И Л К У сделаем. Ж Д И !!!“*

Имитируя воровской жаргон, но не зная его достаточно, авторы употребляют слово ПРАВИЛКА, что означает суд и расправу воров на *своим* же виновным или изменившим воров, и никогда — над „фраером“, то-есть вольным человеком остального презренного мира — те люди, по мнению воров, недостойны „правилки“, их просто убирают.

Такого рода „бандитский“ маскарад для сотрудников ГБ не так уж и нов: известны случаи с ненаказуемыми хулиганами, избивающими на улицах неугодных инакомыслящих, вырывающими портфели у корреспондентов, разбивающими стекла иностранных автомашин. После того, как кампания заочной клеветы против меня провалилась, вполне можно было ожидать бандитского маскарада.

А вот случай с уважаемым г. Майклом Скеммелом, редактором „Индекса“, после отъезда из СССР он передал мне этот эпизод. На аэродроме в Шереметьево он подвергся трехчасовому обыску, у него были найдены его памятные записи о поездке. Вести такие записи считается по понятиям всечеловеческим — естественным, по советским понятиям — преступным. В связи с этой находкой оказывая на него давление, так называемые „таможенники“ предложили ему... купить рукопись о Солженицыне (не называя вперед автора и не показывая рукописи) — и тем уладить инцидент. Скеммел отказался.

Была ли то провокация против Скеммела или готовится очередная против меня, но посудите, каков диапазон госбезопасности: от „гангстеров“ и уличных хулиганов — до „таможенников“ и литературных маклеров. И спрашивается: если наша госбезопасность защищает самый передовой в мире строй, которому, согласно Единственно-Верному Мировоззрению, и без того обеспечена всемирно-историческая победа, то зачем такая суета и такие низкие методы?

Зимой 1971-72 г. меня предупредили, и даже несколькими каналами (в аппарате ГБ тоже есть люди, измученные своей судьбой), что готовятся меня убить через „автомобильную аварию“. Я намекал на это в прошлом интервью.

Но вот особенность или, я бы дерзнул даже сказать, преимущество нашего государственного строя: ни волос

не упадет с головы моей или моих семейных без ведома и одобрения госбезопасности — настолько мы наблюдаемы, оплетены слежкой, подсматриванием и подслушиванием. И если бы, например, нынешние гангстеры оказались подлинными, то уже после первого письма они стали бы под полный контроль ГБ. Если, например, взорвется письмо, пришедшее ко мне по почте, то нельзя будет объяснить, каким образом оно прежде того не взорвалось в руках у цензоров. А так как я давно не болею серьезными болезнями, не вожу автомашины, а по убеждениям своим ни при каких жизненных обстоятельствах не кончю самоубийством, то если я буду объявлен убитым или внезапно загадочно скончавшимся, — можете безошибочно, на 100 % считать, что я убит с одобрения госбезопасности или ею самой.

Но должен сказать, что моя смерть не обрадует тех, кто рассчитывает ею прекратить мою литературную деятельность. Тотчас после моей смерти или исчезновения или любой формы лишения меня свободы необратимо вступит в действие мое литературное завещание (даже если бы от моего имени поступило ложное противоположное заявление, типа письма Трайчо Костова из камеры смертников) — и начнется главная часть моих публикаций, от которых я воздерживался все эти годы.

Если офицеры госбезопасности по всем провинциальным городам выслеживают и отбирают экземпляры безобидного „Ракового корпуса“ (а владельцев увольняют с работы, изгоняют из высших учебных заведений), то что ж они будут делать, когда по России потекут мои главные и посмертные книги?

*В прошлом интервью, полтора года назад, Вы говорили о стеснениях и преследованиях как в своей литературной деятельности, в собирании материалов, так и в обычной жизни. Изменилось ли что-нибудь к лучшему?*

Начальник Тамбовского областного архива Ваганов отказался допустить меня даже к газетному фонду 55-летней давности, хотя вся тамбовская история у них там гибнет на полу сырого заброшенного храма и грызется мышами. В Центральном Военно-Историческом архиве недавно производилось строгое следствие, кто и почему осмелился в 1963 (!) году выдавать мне материалы по 1-й мировой войне. Много помогший мне молодой литературовед Га-

бриель Суперфин, поразительного таланта и тонкости в понимании архивных материалов, 3 июля арестован по показаниям Якира-Красина и отвезен в Орел, чтобы судить его поглуше и подальше, ему предъявлена ст. 72, дающая до 15 лет. При его хрупком здоровье это означает уби́йство тюрьмой. Открыто ему конечно не предъявят обвинения в помощи мне, но эта помощь отяготит его судьбу. — Александр Горлов, в 1971 г. не поддавшийся требованию КГБ скрыть налет на мой садовый дом, с тех пор третий год лишен возможности защитить уже тогда представленную докторскую диссертацию, как и угрожали ему: диссертация собрала 25 положительных отзывов, включая всех официальных оппонентов, и ни одного отрицательного, научно провалить ее невозможно, но всё равно защита (по механике фундаментов!) не пройдет, поскольку Горлову выражается “политическое недоверие”. Приняты подготовительные меры к увольнению Горлова с работы. — Мстислав Ростропович преследовался все эти годы с неутомимой изобретательной мелочностью, так свойственной аппарату великой державы. Это — длинный ряд придинок, шпилек, помех и унижений, которые ставились ему на каждом шагу его повседневной жизни, чтобы вынудить его отказаться мне в гостеприимстве, а требование это ему без стеснения высказывала мадам Фурцева и ее заместители. Одно время его и даже Галину Вишневскую вовсе снимали с радио и телевидения, искажались газетные упоминания о нем. Немало его концертов в СССР было отменено без ясных причин — даже когда он находился на пути в город, где концерт назначен. Его методически лишили творческого общения с крупнейшими музыкантами мира. Из-за этого, например, уже несколько лет задерживается первое исполнение виолончельного концерта Лютославского в Польше, на родине композитора, куда Ростроповича не пускают, и первое исполнение концерта Бриттена, посвященного Ростроповичу. Наконец, ему преградили пути дирижерской работы в Большом театре, которая была для него наиболее творчески важна и интересна. Этой весной я счел своим долгом уехать с его дачи, чтоб освободить его от преследований. Однако, они мстительно продолжают и по сей день. Еще же нельзя ему простить его письма о судьбах советского искусства.

Уже несколько лет ни один телефонный или внутрикомнатный разговор — мой или членов моей семьи, даже на последнюю бытовую тему, не остался не подслушанным и (есть признаки) не проанализированным. Мы уже привыкли к тому, что днем и ночью постоянно разговариваем в присутствии госбезопасности. Когда у них кончается пленка, они бесцеремонно прерывают телефонный разговор, чтобы перезарядить, пока мы перезвоним. В таком же положении — Ростропович, Сахаров, Шафаревич, Чуковские, многие знакомые мне семьи, а еще больше незнакомых.

Даже странно слышать, что где-то идут споры, имеет ли право президент распорядиться об установлении электронного подслушивания для защиты военных тайн своей страны. И даже оправдан по суду человек, разгласивший такие секреты. А у нас — и без суда считается виновным любой человек, однажды высказавший вслух мнение, противоречащее официальному. И электронное подслушивание за ним устанавливает не глава страны, но средний чиновник госбезопасности. Такое электронное подслушивание, не говоря о всей прочей слежке, опутывает тысячи и тысячи интеллигентов и ответственных служащих в главных городах Советского Союза. И множество дармоедов в мундирах сидят и анализируют пленки подслушивания. И это даже не очень скрывается, министр считает дозволенным заявить подчиненному: „Мне давали слушать ваш такой-то телефонный разговор“ — и дальше выговор за этот разговор. Слежка доходит до того, что даже в отношении соприкасающихся со мною людей 5-е Управление КГБ (ген.-майор Никишкин) и его 1-й отдел (Широнин) дают письменные указания — „выявлять посещаемые ими адреса“, т. е. спираль уже второго порядка.

В нашем дворе стоит поношенный ижевский „москвич“ нашей семьи. С ним рядом ночуют несравненно лучшие машины, но какие-то странные „похитители“ всякий раз покушаются именно на эту. Два раза потерпели неудачу, один раз повредили ее нарочно, еще раз угнали в Грузию. И хотя милиция нашла машину и будто бы угонщиков — никакого суда над ними не было. Не только я, но и мои знакомые засыпаны оскорбительными анонимными письмами. Перед недавними муниципальными выборами *аги-*

гатор („блока коммунистов и беспартийных“) заявил о моей жене, не скрываясь: „таких надо душиить!“ Редактор журнала „Октябрь“ Зверев в публичных лекциях в институтах Вирусологии и Иммунологии Акад. Наук заявил, что я „член исполнительного комитета сионистов“. Ему возразили наивно: „Но ведь в газете печатали, что Солженицын — помещичьего происхождения“. Находчивый октябрист ответил во всеуслышание: „Тогда надо было писать так. А теперь надо считать Солженицына евреем“. Почтовая цензура не пропустила ни одного газетного западного отзыва на „Август“ из многочисленных посланных мне моим адвокатом г. Хеебом. Таким образом я лишен возможности узнать, как же воспринята моя книга на Западе. Министр Внешней Торговли Патолитчев отказался признать мои права на получение сумм из Нобелевской премии, и меня вынуждают дискриминировать ее, признать „подарком частного лица“ (что, к тому же, дает праву государству конфисковать третью часть гневно осужденной премии). КГБ то и дело подсылает ко мне своих агентов под видом „юных авторов“, принесших свои литературные опыты.

Видный генерал КГБ передал мне через третье лицо прямой ультиматум: чтоб я убирался за границу, в противном случае меня сгноят в лагере, и именно на Колыме (т. е. по образцу Амальрика, через „бытовую“ статью). Если понадобится, это третье лицо сегодня или завтра огласит большие подробности этого эпизода.

*В связи с тем, что Вам не дали прописки к Вашей семье, где же Вы живете?*

Я не живу более нигде, в зимнее время у меня нет другого места для жизни, как квартира моей семьи, естественное место для каждого человека. Я и буду здесь жить, независимо от того, дадут мне прописку или нет. Пусть бестыжие приходят и выселяют меня, это будет достойная реклама нашего передового строя.

*Как Вы оцениваете положение свое и других авторов в связи с присоединением СССР ко всемирной конвенции по авторским правам? Были полуофициальные сообщения, что отныне самый вывоз за границу литературных произведений, вовсе не квалифицируемых как „антисоветские“, будет рассматриваться как уголовное преступление — нарушение монополии внешней торговли?*

Николай I никогда не высказывал себя хозяином пушкинских стихов. Тем более при Александре II не были государственной собственностью романы Толстого, Тургенева или Гончарова. Никогда Александр III не указывал Чехову, где ему печататься. Никакие купцы и финансисты так называемого капитализма никогда не догадывались торговать произведениями ума и искусства прежде, чем сам автор уступит им такие права. И если при первом осуществленном социализме низкие меркантильные умы додумаются, что продукт духовного творчества, едва отделяясь от груди, от головы своего создателя, автоматически становится товаром и собственностью министерства внешней торговли, — такая затея не может вызвать ничего, кроме презрения.

Я, покуда мне закрыты пути печатания на родине, буду продолжать печатать свои книги в западных издательствах, совершенно игнорируя подобную финансово-полицейскую затею бездарностей. Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над любой книгой ее, над любым русским автором.

Но я не допускаю, что до этого доведут. С другой стороны я усматриваю, что участие нашей страны в конвенции даже увеличивает в одном частном отношении свободу наших авторов. Например, я последнее время ничего не давал из своих вещей в Самиздат, опасаясь, что их подхватит пиратская перепечатка. Теперь же, как говорят, права советских авторов надежно защищены, и, стало быть, можно без опасения отдавать в Самиздат и знакомить наших читателей с произведениями, еще не удостоенными публичного напечатания.

*Когда Вы предполагаете опубликовать II Узел Вашей серии?*

Вероятно, я не буду выпускать в свет „Октября Шестнадцатого“ прежде, чем будет готов III Узел „Март Семнадцатого“. Эти узлы слишком связаны, и только вместе проясняют ход событий, как его понимает автор.

*Верно ли, что Ваша нобелевская лекция была по совету Ваших друзей обострена из первоначального строго литературного варианта?*

Не знаю, откуда корреспондент „Нью-Йорк Таймс“ добыл такую версию. Она не соответствует не только истине, но и противоречит моему темпераменту. Лекция была напротив, *смягчена* и удержана в литературных рамках, из-за чего и задежалось на год ее появление.

*Что Вы скажете о сегодняшней советской литературе?*

Могу сказать о сегодняшней русской прозе. Она есть, и очень серьезная. А если учесть ту невероятную цензурную мясорубку, через которую авторам приходится пропускать свои вещи, то надо удивляться их растущему мастерству: малыми художественными деталями сохраняют и передавать нам огромную область жизни, запрещенную к изображению. Имена назову, но с затруднением и, вероятно, с пропусками: одни авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы и лишают нас возможности наслаждаться их прозой; к другим, как Залыгин, чья повесть о Степане Чаузове — из лучших вещей советской литературы за 50 лет, могу оказаться необъективен, испытывая чужест из-за разного понимания путей, как может служить сегодняшняя наша литература сегодняшнему нашему обществу; третьи — несомненно и ярко талантливы, но творчество их сторонне или поверхностно по отношению к главным течениям нашей жизни. Со всеми этими оговорками вот ядро современной русской прозы, как я его вижу: Абрамов, Астафьев, Белов, Быков, Владимов, Войнович, Максимов, Можаяев, Носов, Окуджава, Солоухин, Тендряков, Трифонов, Шукшин.

*Что Вы скажете по поводу исключения В. Максимова из Союза писателей?*

О Союзе Писателей я бы не хотел говорить серьезно: какой это СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ, если им руководят генералы госбезопасности вроде Виктора Ильина?

Владимир же Максимов — честный, мужественный писатель, бескорыстно и жертвенно преданный правде, и много преуспел в поисках ее. Поэтому исключение его из лживого Союза писателей — вполне закономерно.

*Что Вы скажете по поводу лишения Ж. Медведева советского гражданства?*

Не один этот случай, но уже несколько позволяют увидеть некоторые закономерности.

1) Гражданство в нашей стране не является неотъемлемым природным правом всякого рожденного на этой земле, а есть как бы некий купон, который хранится у замкнутой кучки лиц, вовсе ничем не доказавших свое большее право на русскую землю. И эта кучка, не одобряя убеждений подданного, может объявить его лишенным родины. Как такой государственный строй назвать — подберите слово сами.

2) Что в тех случаях, когда упущено расправиться с человеком, по его безызвестности, *закрытым* методом, находят самым безболезненным выбросить его на Запад, лучше всего в форме добровольного соглашения — под видом временной командировки или бесповоротного отъезда.

и

3) Надо признать, увы, что они не ошибаются в расчетах. Наша страна подобна густой вязкой среде: даже малые движения произвести здесь невероятно трудно, зато эти движения тотчас увлекают за собой среду. Демократический Запад подобен разреженному газу или почти пустоте: легко можно размахивать руками, прыгать, бегать, кувиркаться, — но это ни на кого не действует, все остальные хаотически делают то же.

*Что Вы думаете об ожидаемом процессе Якира и Красина?*

Даже если на процесс допустят западных корреспондентов, то, очевидно, это будет лишь унылым повторением недаровитых фарсов Сталина-Вышинского. Впрочем, в 30-е годы эти фарсы при всей их топорной драматургии, магне грима и громкости суфлёра имели большой успех у МЫСЛЯЩЕЙ западной интеллигенции: так велика была ее жажда верить передовому строю. Таких *мыслящих* достаёт и в сегодняшнем поколении.

Если же корреспонденты не будут допущены на процесс, значит, он удался еще двумя классами ниже.

Самим же Якиру и Красину, насколько мне известно, во время очных ставок никто не выразил в лицо, так я по праву старого зека говорю им это сегодня здесь: что они повели себя слабодушно, низко и даже смехотворно,

повторяя с 40-летним опозданием и в неуместной обстановке бесславный опыт растерянного поколения, тех дутых фигур истории, капитулянтов 30-х годов.

*Что Вы скажете по поводу последних нападков на академика Сахарова в советской печати?*

Вместе с тем — и о сочлене его по Комитету Прав Человека, моем друге Игоре Ростиславовиче Шафаревиче. Шафаревич, президент Московского Математического общества, хорошо известный в мировых математических кругах как выдающийся алгебраист, обратясь к общественной деятельности, тем самым закрыл себе научные мировые контакты и полное звание академика. Притеснение и слежка за ним усилились после его доклада о преследовании религии в нашей стране и активных настояний перед психиатрическими конгрессами по поводу античеловеческого использования психиатрии в нашей стране. Конгресс психиатров предпочел дипломатично уклониться от защиты страдающих, Шафаревич же не только вытесняется ныне из Московского университета, где преподает 30 лет, но даже всем его аспирантам и ученикам (докторам наук) также закрываются пути научной деятельности.

Неутомимая общественная деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова до последнего времени замалчивалась нашей печатью, теперь начинает облыгаться. Вот объявлен он „поставщиком клеветы“, „невеждой“ (крупнейшие научные умы и всегда приравнивались у нас к невежественным, коль скоро отказывались повторять всеобщую попугайщину), наивным прожектёром, а главное — критиком злопыхательским, ненавидящим свою страну и... неконструктивным.

Трудно солгать кряду более неудачно: что ни обвинение — то промах. Тот, кто проследил несколько лет за статьями Сахарова, его социальными предложениями, его поисками путей спасения планеты, его письмами правительству, его дружелюбными уговорами, не может не увидеть его глубокой осведомленности в процессах советской жизни, его боли за свою страну, его муки за ошибки, не им совершаемые, его доброй примирительной позиции, приемлемой для весьма противоположных группировок (этим он напоминает Твардовского). Я — не сторонник

многого того конкретного, что предлагает А. Д. для нашей страны, но именно *конструктивность* его предложений несомненна: каждое предложение не есть отрывчатая грёза, „как хотелось бы“, а путь к тому неизвестен, — нет: каждое предложение инженерно сцеплено с тем, что сегодня есть, и дает плавный незрывчатый переход.

ТАСС отвечает Сахарову, что „критику ... даже самую острую“ у нас „рассматривают как дело полезное“. Это — дремучая неправда. Никакая вообще серьезная критика ни на каком уровне и никакой степени конструктивности не разрешена в нашей стране НИКОМУ, кроме узкого кружка людей, достигших своего положения многолетним послушанием, что как раз мало воспитало в них критические способности. Сахаров, увы, слишком известен, и вот приходится сокрушать его публично (как сокрушен и „Новый мир“, ведущий ту же примирительную конституционную линию). А критиков неизвестных во множестве сокрушают в безмолвии, в провинции, в глуши, и сколько их, никем никогда не названных, томится и гибнет в областных психиатрических больницах!

Проверьте за последние хоть 10, хоть 20, хоть 30 лет: против кого из инакомыслящих выставили *аргументы*? Ни против кого, потому что их *нет*. Отвечают всегда ругательствами и клеветой. Таков „ответ“ Сахарову. Такой же пустой „ответ“ Генриху Бёллиу. А чаще бывало — полное молчание, как на сахаровские ходатайства и обращения, на мои открытые письма, на письма Ростроповича, Владимова, Максимова, на холмы групповых ходатайств об амнистии, о спасении невинных, или древнего русского лика Москвы, или русской природы, или незакрытии храмов. Всегда: или административная, судебная кара, или брань, или молчание — три выхода для тех, кому НЕЧЕГО ответить ПО СУЩЕСТВУ.

Теперь вот и против Сахарова вытягивают затасканный, замусленный козырь 30-х годов — помощь иностранным разведкам!.. Какая дикость! Человек, вооруживший их страшнейшим оружием, на чем стояла и стоит мощь десятилетиями, — и помощь иностранным разведкам? Грань последнего бесстыдства и последней неблагодарности.

А ведь кроется глубокий смысл и высокий символ и личная закономерность судьбы в том, что изобретатель

самого страшного уничтожающего оружия нашего века, подчиненный властному движению Мировой Совести и исконной страдательной русской совести, под тяжестью грехов наших общих и каждого отдельного из нас, — покинул то избыточное благополучие, которое было обеспечено ему, и которое так многих губит сегодня в мире, и вышел пред пасть могущественного насилия.

*Как Вы оцениваете нынешнюю общественную обстановку в СССР? Имеет ли влияние на ее развитие позиция и выступления деятелей культуры на Западе?*

Истинная история нашей страны давно регистрируется, не пишется, не выставляется на полках. И если из целой армии историков увенчанных, маститых, средних и молодых найдется один (вот как Амальрик), кто не станет жевать общую жвачку, не будет облепляться цитатами из Отцов Передового Учения, но осмелится дать самостоятельный анализ нынешней структуры общества и предсказать о будущем, что в самом деле может произойти с нашей страной, то вместо того, чтобы проанализировать его работу и взять оттуда верное и практически полезное, — его просто сажают в тюрьму.

И когда из череды блистательно-орденоносных наших генералов нашелся единственный Григоренко, кто осмелился высказать *свое* нестандартное мнение о ходе минувшей войны и о сегодняшнем советском обществе, мнение, кстати, цельно марксистско-ленинское, — то и оно объявляется психическим безумием.

Несколько лет самоотверженная „Хроника“ утоляла всеобщую естественную человеческую жажду: знать, что происходит. Она сообщала, хотя и в очень неполной мере, фамилии, даты, места, тюремные сроки, формы преследований, она выносила из пучины незнания на поверхность хоть малую-малую долю нашей ужасной истории — и за то разгромлена и растоптана с методичностью, с какой... подберем любимый западный пример... в Греции не преследуют и государственных заговорщиков.

Теперь, без „Хроники“, нам, может быть, не сразу придется узнать о последующих жертвах тюремно-лагерного режима, убивающего одною своей жестокостью, растянутой во времени, как убил он больного Галанкова,

старого Талантова, старика Якова Одобеску (голодовка против лагерных притеснений). О *вторых* и *третьих* осуждениях уже осужденных людей, как были возвращены досиживать свои однажды „прощенные“ 25-летние сроки Святослав Караванский, Степан Сорока (25 лет получивший за то, что учеником 10 класса прочел несколько националистических брошюр), латышский пастор Иоанас Штагерс; как Юрий Шухевич получил вторые 10 лет уже в пункте освобождения по показаниям человека, не знавшего его и суток, — а вот недавно взят и на третьи 10 лет; как за религию третий раз осужден Борис Здоровец, но с первого раза получил 25 лет Петр Токарь (и ныне сидит 24-й год!); или кто еще, подобно Зиновию Красивскому и Юрию Белову, по окончании срока будет переведен из Владимирской тюрьмы в Смоленскую психтюрьму на срок уже не считаемый. Скроются от нашего зрения и знания дальнейшие судьбы сидящих Светличного, Сверстюка, Огурцова, Бориса Быкова (алма-атинская группа „Молодой рабочий“), Олега Воробьева (пермский Самиздат), Гершуня, Вячеслава Платонова, Евгения Вагина, Нины Строкатой, Стефании Шабатуры, Ирины Стасив и многих, многих, многих не известных дальше своих семей, сослуживцев и соседей.

Именно благодаря сплошной закрытости почти всего, что у нас происходит, когда и выплыли на Западе свидетельства Марченко, они показались там „преувеличением“. И мало кто вдумался в такое, например, его показание, что режим царского Владимирского централа в советское время по одному лишь свету ухудшен в 4 раза (заложены окна до 1/4), а в другом и еще холодней, и еще жесточе, чем в 4.

И уже привыкнув, что о нас всё равно никогда ничего не узнать, пренебрегает мир и самой явной открытой информацией: что в поразительной этой стране с самым передовым социальным строем ЗА ПОЛВЕКА НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ АМНИСТИИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ! Когда наши сроки были 25 лет и 10, когда 8 лет у нас без улыбки считались „детским сроком“, — знаменитая сталинская амнистия (7 июля 1945) отпускала политических... до 3 лет, т. е. *никого*. И немногим более (до 5 лет) „ворошиловская“ амнистия марта 1953 г., только наводнившая страну уго-

ловниками. В сентябре 1955 г., отпуская Аденауэру немцев, отбывающих судебные сроки в СССР, Хрущев вынужден был амнистировать и тех, кто сотрудничал с немцами. Но *инакомыслящим* не бывало амнистии *никогда* за полстолетия! — кто укажет на планете другой пример государственного строя, столь уверенного в своей прочности? Любители сравнивать с Грецией пусть сравнивают.

Когда в конце 40-х годов мы были завалены 25-летними сроками, мы в газетах только и читали о небывалых преследованиях в Греции. И сегодня многие высказывания западной печати и западных деятелей, даже наиболее чутких к угнетениям и преследованиям, происходящим на Востоке, для искусственного равновесия перед „левыми“ кругами обязательно продолжают оговоркой: „впрочем, КАК И в Греции, Испании, Турции...“ И пока пристраивается этот искусственный ряд КАК И, сочувствие к нам теряет свое значение, свою глубину, даже оскорбляет нас, а сами сочувствователи не видят грозного предупреждения.

Осмелюсь выразить, что НЕ КАК И! Осмелюсь заметить, что во всех тех странах насилие не достигает уровня сегодняшних газовых камер, т. е. тюремных психдомов. Что Греция не опоясана бетонной стеной и электронными убийцами на границе, и молодые греки не идут сотнями через смертную черту со слабой надеждой вырваться на свободу. И нигде восточнее Греции не может министр-изгнанник (Караманлис) напечатать в газетах свою антиправительственную программу. И в Турции не могут (как в Албании) расстрелять священника за то, что тот окрестил ребенка. И из Турции не бросаются в море по 100 человек в день (как китайцы под Гонконгом), чтобы между акул испытать жребий „свобода или смерть!. И в Испании не глушат радиопередач ни с Кубы, ни из Чили. И Португалия допустила иностранных корреспондентов расследовать возникшие подозрения, какого приглашения на другом конце Европы эти корреспонденты никогда не получали, никогда не получают — и ОСТАНУТСЯ ВПОЛНЕ ДОВОЛЬНЫ, не посмеют даже протестовать! — вот что самое типичное.

Первая черта по одной шкале может означать 10, а первая черта по другой шкале —  $10^6$ , т. е. миллион. И толь-

ко ли неграмотностью наблюдателей или свернутостью их головы можно объяснить их вывод: „и там и здесь перейдена черта“?

Тщетно я пытался год назад в своей нобелевской лекции сдержанно обратить внимание на эти две несравнимых шкалы оценки объема и нравственного смысла событий. И что нельзя допустить считать „внутренними делами“ события в странах, определяющих мировые судьбы.

Так же тщетно я указал там, что глушение западных передач на Востоке создает ситуацию накануне всеобщей катастрофы, сводит к нолю международные договоры и гарантии, ибо они таким образом не существуют в сознании полновинности человечества, их поверхностный след может быть легко стерт в течение нескольких дней и даже часов. Я полагал тогда, что также и угрожаемое положение автора лекции, произносимой не с укрепленной трибуны, а с тех самых скал, откуда рождаются и ползут мировые ледники, несколько увеличат внимание развлеченного мира к его предупреждениям.

Я ошибся. Что сказано, что не сказано. И, может быть, так же бесполезно повторять это сегодня.

Что такое глушение радиопередач, нельзя объяснить тем, кто не испытывал его на себе, не жил под ним годами. Это — ежедневные плевки в уши и в глаза, это оскорбление и унижение человека до робота, глушат ли способом „полной немоты“ диапазона, или способом „ржавой пилы“, или пошлой музыкой. Это низведение взрослых до младенцев: глотай только пережеванное мамой. Даже самые блажелательные передачи во дни самых дружественных визитов глушатся также сплошь: не должно быть ни малейших уклонений в оценке события, в оттенках, в акцентах, все должны воспринять и запомнить событие 100%-но одинаково. А многие мировые факты и вообще не должны быть известны нашему населению. Москва и Ленинград парадоксально стали самыми неинформированными столицами мира: жители спрашивают о новостях приезжих из сельских районов. Там для экономии (очень *не* бесплатно обходятся нашему населению эти услуги по заглушке) глушат слабей. Однако, по наблюдению жителей разных мест, именно за последние месяцы глушение расширилось, за-

хватило новые районы, увеличилось в интенсивности. (Вспоминается судьба Сергея Ханжёнкова, отсидевшего к 1973 году 7 лет за попытку — или даже только намерение — взорвать глушитель в Минске. А ведь исходя из общечеловеческих забот нельзя понять этого „преступника“ иначе как борца за всеобщий мир.)

Общую цель нынешнего зажима мысли в нашей стране можно было бы назвать китаизацией, достижением китайского идеала, — если б этот идеал не существовал прежде того у нас в 30-е годы, да вот упущен. В 30-е годы много ли знали на Западе о Михаиле Булгакове, Платонове, Флоренском? Так и в Китае сегодня есть тысячи инакомыслящих, есть тайные писатели и философы, но мир узнаёт о них лишь целой эпохой позже, лет через 50-100, и то лишь о тех немногих, кто сумеет сохранить свое творчество между неумолимыми жерновами. К этому идеалу и хотят нас вернуть сейчас.

Однако я уверенно заявляю, что в нашей стране вернуться к такому режиму уже невозможно.

Первая причина тому: международная информация, всё-таки просачивание и влияние идей, фактов и человеческих протестов. Надо понять, что Восток отнюдь не равнодушен к протестам западной общественности, наоборот — он смертельно боится их — и только их! — но когда это слитный мощный голос сотен выдающихся лиц, общественного мнения целого континента, от чего может зашататься авторитет передового строя. Когда же раздаются робкие единичные протесты безо всякой веры в успех и с обязательными реверансами „КАК ВПРОЧЕМ И в Греции, Турции, Испании“, то это вызывает только смех насильников. Когда расовый состав баскетбольной команды оказывается большим мировым событием, чем ежедневные уколы узникам психтюрем, разрушающие мозг, — то что и можно испытать, кроме презрения, к эгоистической, недалёковидной цивилизации?

Перед светом всемирной огласки наша тюрьма отступает и прячется. Амальрику, расправа над которым была спланирована в даль уже в 70 году, сперва пришлось дать „бытовую“ статью и 3 года, чтобы оторвать от политических лагерей в Мордовии, загнать на Колыму, а теперь

из-за новой всемирной огласки опять ограничиться „всего лишь“ тремя годами, было бы больше.

Западный мир своей публичностью уже очень помог и спас многих наших гонимых. Но для себя он взял в этом неполный урок, не на той силе чувства, чтобы и себе перенять, что наши гонимые не только благодарны за защиту, но и дают высокий пример стойкости духа и жертвенности на самой черте смерти и под шприцем убийцы-психиатра.

И вот это — вторая и главная причина, почему я уверен, что китайский идеал уже недостижим для нашей страны.

Несгибаемому генералу Григоренко надобится мужество несравненно большее, чем требуют поля сражений, когда он уже четыре года в аду тюремной психбольницы каждый день отвергает соблазн купить свободу от пыток ценою своих убеждений, принять неправоту за правоту.

Владимир Буковский, всю свою молодую жизнь перемалываемый попеременными мясорубными ножами психиатрических тюрем, обычных тюрем и лагерей, не склонился, не предпочел уже возможного существования на воле, но положил свою жизнь сознательной жертвой за других. В этом году он был привезен в Москву, и ему предложили: выйти на волю и уехать за границу, только до отъезда не заниматься политической деятельностью. Всего-то! — и он мог беспрепятственно ехать за границу поправлять свое здоровье. По нынешним западным стандартам смелости за свою свободу, за освобождение от мук можно платить и гораздо больше: иные американские военнопленные считали возможным подписывать любые бумаги против своей страны, ставя свою драгоценную жизнь, конечно, выше убеждений. А вот Буковский счел убеждения дороже жизни. Яркий урок его сверстникам на Западе, хотя скорее всего бесполезный. Буковский в ответ поставил условие: чтобы были выпущены из тюремно-психиатрических больниц все те, о ком он писал. Освобождение без всякой личной подлости оказалось ему недостаточным: он не хотел бежать, покидая в беде других. И отправлен в лагерь досиживать свои 12 лет.

Сходный выбор был весной этого года и перед Амальриком: мог и он подтвердить показания Красина и Якира,

и за это предлагали ему свободу. И он тоже отказался, и послан на Колыму за вторым сроком. И во всех случаях, о которых мы сегодня еще не знаем подробностей, где пытки и муки скрываются от нас охраняемой „государственной тайной“, — по одному тому, что человека *не* выпускают, *не* облегчают ему режима, мы можем с несомненностью судить: этот человек продолжает быть стойко верен своим убеждениям.

Сходный выбор нередко представляется и людям, живущим более обычной жизнью, не заключенным, но от того выбор не намного легче. Вот Горлов, который застиг в моем садовом домике налетчиков из госбезопасности 2 года назад. В те минуты его не убили лишь благодаря его активному сопротивлению, собравшему людей. Но затем от него требовали молчания, грозя прервать всю его служебную и научную карьеру, и было понятно, что это не пустая угроза, что он жертвует и благополучием семьи, — и всё же он не поддался искушению смолчать — всего лишь только *смолчать*.

Вот эта линия жертвенных решений одиночек — свет для нашего будущего.

Всегда поражает эта психологическая особенность человеческого существа: в благополучии и беспечности опасаться даже малых беспокойств на периферии своего существования, стараться не знать чужих (и будущих своих) страданий, уступать во многом, даже важном, душевном, центральном — только бы продлить свое благополучие. И вдруг, подходя к последним рубежам, когда человек уже нищ, гол и лишен всего, что, кажется, украшает жизнь, — найти в себе твердость упереться на последнем шаге, отдавая саму свою жизнь, но только не принцип!

Из-за первого свойства человечество не удерживалось ни на одном из достигнутых плоскогорий. Благодаря второму — выбиралось из всех бездн.

Конечно не худо бы: еще находясь на плоскогорьи, предвидеть это свое будущее низвержение и цену будущей расплаты, и проявить стойкость и мужество несколько ранее критического срока, пожертвовать меньшим, но раньше.

Нельзя согласиться, что гибельный ход истории непоправим, и на самую могущественную в мире Силу не может воздействовать уверенный в себе Дух.

Из опыта последних поколений мне кажется совершенно доказанным, что только непреклонность человеческого духа, крепко ставшего на подвижной черте наступающего насилия и в готовности к жертве и смерти заявившего „ни шагу дальше!“ — только эта непреклонность духа и есть подлинная защита частного мира, всеобщего мира, и всего человечества.

Москва

МИР И НАСИЛИЕ \*)

Статья для газеты «Aftenposten»

1.

Потрясенные двумя кряду грандиозными мировыми войнами, наши последние поколения совершили эмоциональную ошибку или сдвиг: угрозу мирному, справедливому, доброму существованию человечества стали видеть почти исключительно в войнах, чем и укрепилось основное противопоставление «мир — война». И созывались весьма шумные и весьма односторонние конгрессы, избирались Всемирные Советы. И деятели, посвятившие усилия (кто искренне, а кто демагогически) предотвращению новых войн (иногда — некоторого разряда этих войн, и в пользу войн другого разряда), получили или присвоили себе звание «сторонников мира».

Но такое звание гораздо шире взятой ими задачи. Движение «против войны» — это далеко еще не все движение «за мир».

Противопоставление «мир — война» содержит логическую ошибку: целая теза противопоставляется ч а с т и антитезы. Война есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не единственное проявление никогда не прекращенного многоохватного мирового насилия. Противопоставление же логически равновесное и нравственно-истинное есть:

Существование человечества разрушается и разъедается не только бурными нарывами войн, но и постоянными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже бурными, иногда вялыми и скрытыми. И если принято говорить (и это верно), что МИР НЕДЕЛИМ, что малое нарушение его (однако, не только военное!) уже нарушает весь мир, — то ТАК ЖЕ НЕДЕЛИМО И НАСИЛИЕ. И захват одного заложника, и один угон самолета есть такая же угроза всеобщему миру, как орудийный выстрел на государственной границе или бомба, сброшенная на территорию другой страны.

\*) Статья эта была предназначена для парижской газеты *Le Monde*, но она отк а з а л а с ь её напечатать. Появилась она впервые в норвежской газете. Прим. Ред.

Но здесь, как и в сомнительной классификации войн на «допустимые» и «недопустимые», мы сразу сталкиваемся с корыстным противодействием истине: известные группы насильников настаивают не считать угрозой миру (а даже благодеянием ему) именно т у форму насилия, которую применяют о н и .

Например, терроризм последних лет. Настороженное, напряженное относительно войн, человечество оказалось небдительно, ослаблено относительно других видов насилия — вот и в полном разброде, практически не готовое отразить терроризм ничтожных одиночек. И, разительное! — всемирная гуманная организация не смогла произнести ДАЖЕ НРАВСТВЕННОГО ОСУЖДЕНИЯ терроризму! Корыстное большинство ООН такому осуждению противопоставило классификационные сомнения: да всякий ли терроризм вреден? И где же научное определение терроризма?

В шутку можно было бы предложить им такое: «Когда нападают на нас — это терроризм, а когда нападаем мы — это партизанское освободительное движение».

Серьезно же. Отказываются признать терроризмом вероломное нападение в мирной обстановке на мирных людей со стороны скрыто-вооруженных, часто переодетых в гражданское военных. Требуют: изучить групповые цели террористов, поддерживающую их базу, идеологию и, может быть, признать священным «партизанством». (Дошло до юмористического уже термина «городские партизаны» в Южной Америке.)

Конечно, возрастая количественно и в сплошном территориальном охвате, терроризм где-то переходит в партизанство (для отвоевания свой ли территории или для перенесения войны и революции на чужую территорию), а партизанство — в регулярную войну, руководимую через границу военными штабами. По всеобщей неделимости насилия такие плавные переходы существуют, да, и могут представить некоторые классификационные трудности, особенно для тех, кто эмоционально заинтересован и е добыть истину и оправдать какие-то из видов насилия. Однако ободрю классификаторов примером из истории СССР. Массовые крестьянские движения 1920-21 годов в Сибири, в Тамбовской губернии и в Узбекистане, в составе десятков тысяч человек и в разливе на пространства целых государств (по масштабам Европы), без всякого терминологического спора названы у нас б а н д и т с к и м и , и это успешно внедрено в сознание уцелевших (далеко не все уцелели) потомков тех повстанцев, так что они без иронии называют своих отцов и дедов «бандитами».

По той же неделимости мирного насилия истинное, то есть не руководимое зарубежными центрами, массовое стихийное партизанство бывает вызвано постоянными силовыми незаконными решениями своего правительства — СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ насилием.

Такое устоявшееся перманентное государственное насилие, за десятилетия своего господства успевающее принять все «юридические» формы, кодифицировать толстые своды своих насильственных «законов» и накинуть мантии на плечи своих «судей», есть грознейшая опасность сегодняшнему миру, хотя мало кем это сознается. Такое насилие уже не нуждается ни подкладывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его процедура совершается в строгом безмолвии, редко нарушенном последним криком удушаемого. Такое насилие разрешает себе выглядеть и благообразным, и дружелюбным, и очень мирным, и вовсе дремлющим.

Но масштабы такого насилия можно примерно оценить по подсчетам профессора статистики И. А. Курганова (1) (они опубликованы на Западе, исследователям доступно проверить их основательность). Один такой опыт оценивается им в 66 миллионов смертей, то есть очевидно, БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТЕРЯЛИ ВСЕ ВОЕВАВШИЕ СТРАНЫ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ, В ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙНАХ ВМЕСТЕ.

Такие цифры полезны тем, кто преуменьшает значение «вялых», «мирных» форм насилия перед «горячими» войнами.

## 2.

Ошибка в том, какой же объем включен в понятие «мир», именно — эмоциональная, я не оговорился. Это часто так: не потому мы ошибаемся, что нам разглядеть истину трудно, да она даже на поверхности лежит, а потому ошибаемся, что приятнее и легче всего вести познание в согласии именно с чувствами, особенно — эгоистическими. Истина давно была и показана, и доказана, и объяснена, но оставлена без внимания и сочувствия, подобно «1984» Оруэлла, по «всеобщему заговору лести» (выражение самого автора).

(1) Иван Алексеевич Курганов, д-р эк. наук, бывш. проф. Ленингр. финансово-экон. и Моск. кооп. институтов, эмигрировал в США, автор кн. «Семья в СССР 1917-1967», Нью-Йорк, 1967, и «Женщины и коммунизм», Нью-Йорк, 1968.

Достоверно доказанные зверские массовые убийства в Гуэ были замечены лишь слегка, почти тут же прощены — ибо в т у с т о р о н у лилась симпатия общества и не хотелось нарушать этой инерции. Было досадно только, что эти сведения просочились в свободную печать и на время (совсем короткое) причинили неловкость (совсем небольшую) неистовым защитникам той социальной системы. Неужели можно поверить, что порхающий мотылек Рэмзи Кларк, перед тем все же министр юстиции, просто «понятия не имел», просто догадаться не мог, что военнопленный, который подает ему бумагу, нужную политическим целям Кларка, перед тем подвергнут пытке? (Он мог только ф о р м ы не знать: что именно за сломанную руку веревкой через блок в потолке, поднимая и опуская.) Да в Соединенных Штатах никто это Кларку и в упрек не поставил, это же не «вотергейт». С таким же нравственным перекосом мог осмелиться лидер английских лейбористов поехать в чужую страну (разумеется, не африканскую, этого бы ему не спустили!) и там произносить самовольные «прощения» правительству, не спросив местного населения. А когда в 1968 г. единственные норвежцы предложили по свежим августовским следам н е в с е х допустить к олимпийским играм, — с тем же нравственным окривлением большинство олимпийцев стыдливо замерло, зажмурилось, забормотало о высоких интересах спорта и коммерции. Но какой стеной они выстраиваются, если нужно протестовать в д р у г у ю сторону! Да разве так, как генерала Григоренко, смогла б четыре года безнаказанно держать и пытать негритянского деятеля Южно-Африканская республика? Да буря мирового негодования давно б сорвала уже крышу с той тюрьмы!

В 1966 г. английский журнал с простора своей неограниченной свободы не счел бестактным назвать «честолюбивым» замысел М. Михайлова создать такой же точно свободный журнал в Югославии. А немецкий журнал из своей безмятежности рассудил, что замысел Михайлова есть «преждевременная и дурная услуга либерализации»! (После сокрушения Михайлова мы видим, как уже не встречая дурных услуг, либерализация широко разлилась по Югославии...) Или вот недавняя отчаянная смелость новозеландских и австралийских протестов против французских ядерных испытаний, — а отчего же не против китайских, гораздо

(5) Ссылка на замечание Г. Вильсона в Праге 16.4.73, что пора забыть о вторжении войск Варшавск. пакта в ЧССР в авг. 1968 (см. «Таймс», 17.4.73).

более серьезных? Только ли потому, что при необъявленных сроках велики расходы на содержание контрольного корабля? Убежденно скажу: кроме окривления — еще просто из малодушия, ибо из экспедиции в китайскую пустыню или к китайским берегам никто бы не вернулся — и они з н а ю т это. Лицемерие многих западных протестов в том и состоит; протестуют там, где не опасно для жизни, где ожидают отступления оппонента и где не попадешь под осуждение «левых» кругов (желательно протестовать всегда с ними заодно). И таковы же — распространеннейшие ныне формы «нейтралитета» или «неприсоединения»: одной стороне всегда поддакивать и угождать, другую (притом кормящую!) всегда лягать.

До наступления резвого оборотистого XX века одновременное существование двух шкал нравственных оценок в человеке, общественном течении или даже правительственном учреждении называлось ЛИЦЕМЕРИЕМ. А как назовем это сегодня?

Неужели этот массовый лицемерный перекосяк Запада виден только издали, а вблизи не виден?

Этим густым лицемерием несет и от сегодняшней американской политической жизни, от переувлажненного зрением сената и от брэнчащего «вотергейтского дела». Нисколько не защищая ни Никсона, ни республиканскую партию, как не изумиться этой притворной шумной ярости демократов? А что ж они думали: демократия, не имеющая никакой обязательной этической основы, демократия как б о р ь б а и н т е р е с о в, не выше, чем и н т е р е с о в, борьба по регламенту всего лишь конституции, без этического купола над собой, — что ж, она не была полна обоюдных обманов и злоупотреблений в прежних избирательных кампаниях, только, может быть, не на уровне электронной техники и счастливым образом не вскрытых?

Меня лично, все эти годы занятого исследованием русской жизни перед ее крушением, поражает невозможное, кажется, сходство русской монархии в ее последние годы и, например, республиканских Соединенных Штатов в их нынешние, смею предсказать, тоже последние годы перед великим расстройством. Сходство не в материально-экономической сфере и не в социальной структуре, но главней того: в психологической безудержности, в эмоциональной безоглядчивости политиков. Так, весь яростный штурм демократов вокруг вотергейтского дела кажется пародией на яростный и опрометчивый штурм кадетов в 1915-16 г. против Горемыкина-Штурмера.

Это одна из загадок иррациональной истории: каким образом Россия в конце XIX века, еще индустриально небооруженная, еще косная в своем медлительном существовании, получила такой импульс, совершила такой динамический скачок, что сейчас русский исследователь смотрит на нынешнюю западную общественную жизнь как «назад», как «в прошлое». И до грусти смешно наблюдать, как общественные течения, деятели и молодежь Запада с опозданием в 50 и 70 лет повторяют «наши» идеи, заблуждения и поступки.

И, наоборот, можно согласиться, как утверждают многие и многие: что происходящее в СССР не есть просто «происходящее в одной из стран», но есть з а в т р а ч е л о в е ч е с т в а, и потому к своим внутренним процессам достойно полного внимания западных наблюдателей.

Нет, не трудности познания затрудняют Запад, но НЕЖЕЛАНИЕ ЗНАТЬ, но эмоциональное предпочтение приятного — суровому. Руководит таким познанием дух Мюнхена, дух ублажения и уступок, трусливый самообман благополучных обществ и людей, потерявших волю к ограничениям, к жертвам и к стойкости. И хотя этот путь н и к о г д а не приводил к сохранению мира и справедливости, в с е г д а бывал попран и поруган, — человеческие чувства оказываются сильнее самых отчетливых уроков, и снова и снова расслабленный мир рисует сантиментальные картины, как насилие великодушно смягчится и охотно откажется от превосходства своей силы, а пока можно продолжать беззаботное существование.

И «самолетный» и всякий иной терроризм десятикратно развился именно потому, что перед ним слишком поспешно капитулируют. А когда проявляют твердость, то и побеждают его всегда, заметьте.

От большого объема и сложности того, что составляет МИР, решающая борьба за него в современном человечестве происходит далеко не только на конференциях дипломатов или конгрессах профессиональных ораторов со сбором миллионов добрых пожеланий. Самые-то страшные виды НЕМИРНОСТИ протекают без атомных ракет, без морских и воздушных флотов, так м и р н о, что могут восприниматься почти как «традиционный народный обычай». И поэтому с о с у щ е с т в о в а н и е на тесной слитой Земле правильно мыслить как существование не только б е з в о й н, этого мало! — но и БЕЗ НАСИЛИЯ: как жить, что говорить, что думать, что знать и чего не знать...

Не знаю, как в Европе, а в нашей стране вдоль всех железных дорог выложено камешками: «МИРУ — МИР!» и «ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!» Можно принять эту пропаганду как очень полезную, если она будет означать: чтобы во всем мире не только не было войн, но прекратилось бы и всякое в н у т р е н н е е насилие.

Чтобы достичь не короткой отодвижки военной угрозы, а мира действительного, мира по сущности, по здоровой основе своей, — надо против «тихих», спрятанных видов насилия вести борьбу никак не менее строго, чем против «громких». Поставить задачей остановить не только ракеты и пушки, но и границы государственного насилия остановить на том пороге, где кончается необходимость защиты членов общества. Изгнать из человечества самую идею, что кому-то дозволено применять силу вопреки справедливости, праву, взаимной договоренности.

И тогда: служит миру не тот, кто рассчитывает на добродушие насильников, но тот, кто неподкупно, непреклонно и неутомимо отстаивает права угнетенных, покоренных и убиваемых.

Т а к и е борцы за мир на Западе, сколько я могу судить издали, — тоже есть, и, значит, у них есть аудитория, и это не дает нашим надеждам окончательно затмиться.

Я не компетентен перечислять имена таких людей. Назову лишь, для точности определения, Нобелевского лауреата мира достойнейшего Рене Кассена, в котором соревнуется глубина понимания проблемы, нравственная высота и духовная твердость.

У нас же естественно назвать — Андрея Дмитриевича Сахарова.

### 3.

Распространившаяся ошибка в определении мира как «антивойны», а не как «анти-насилия» естественно привела и к ошибочным оценкам заслуг отдельных деятелей в борьбе за мир.

Лучшим борцом за мир, собирающим лавры в аэропортах и в парламентах, начинает пониматься тот, кто любой ценой отодвигает дыхание войны — «горячей» или «холодной» (точней бы назвать ее «ругательной», в ней Запад всегда проигрывает, ибо его фразы и утверждения подвержены анализу критики; или называть войной нервов, соревнованием упорств, — тем более Запад обречен всегда проигрывать); любыми уступками добивается пре-

ращения газетной брани, создает передышку для торговли и мнимого благоденствия. Напротив, люди, неколебимо ставшие на пути глобальной опасности миру со стороны в с е х видов насилия, иногда рискуют быть причисленными даже к «поджигателям войны», а то и расчетливо оклеветываются так.

Этот сдвиг в понимании, ч е м у же именно противостоит мир, сказывается и на деятельности Нобелевского комитета мира. Его суждения и решения с одной стороны естественно определяются настроениями мировой общественности, но с другой стороны, так же естественно, ответно ф о р м и р у ю т их, дают критерии. И поэтому ответственность Нобелевского комитета мира в избрании лауреатов — исключительно велика. Даже когда Нобелевский комитет не присуждает премии **никому**, это тоже вырастает в значение весомое: что заслуги и полезность деятельности предыдущего лауреата столь велики, что с ними не идут в сравнение ничьи другие. Еще опаснее ложное направление оценок, например... взять подалее пример, — как если бы в 1939-м году (помешала мировая война, а в октябре 1939-го было уже по времени поздно) присудили бы Нобелевскую премию мира Невиллю Чемберлену. Высшее недоумение и разброд в оценках вызвало бы сегодня и увенчание такого деятеля, который может быть отчасти и способствовал ослаблению мировой напряженности методами «неприсоединения», но у себя в стране извест как подавитель свободы и национальных движений.

Если Нобелевские премии увенчивают многолетние усилия отдельных людей, еще укрепляя авторитет этих людей для их последующей деятельности, то в не меньшей степени достойный или недостойный выбор кандидатов возвышает или подрывает авторитет самого института Нобелевских премий.

Пользуясь правом Нобелевского лауреата выдвигать кандидатов на Нобелевские премии и не имея возможности обратиться к Нобелевскому комитету мира иначе, как посредством этой статьи в газете, — я прошу считать эти мои строки формальным выдвижением Андрея Дмитриевича Сахарова в кандидаты на присуждение Нобелевской премии мира 1973 года.

Обоснование этого я, по сути, уже дал в своем недавнем интервью газете «Le Monde» (9): неутомимое многолетнее и жертвенное (лично ему опасное) противодействие А. Д. Сахарова — настойчивому государственному насилию над отдельными личностями и группами населения. Такую деятельность, в пони-

мании, развиваемом данной статьей, и следует оценить как высший вклад в дело всеобщего мира, вклад не показной, не призрачный, но самый основательный: малыми индивидуальными силами героически задерживать могущественное насилие, а значит — укреплять всеобщий мир.

И пусть Нобелевский комитет не испытывает сомнения из-за прошлых, слишком больших достижений Сахарова в области вооружения, не ощутит в том парадоксальности: в осознании человеческого духом своих прежних ошибок, в очищении от них, в искуплении их — как раз и содержится высший смысл пребывания человечества на Земле.

5 сентября 1973 г.

Москва

Подпись (Солженицын)

А. СОЛЖЕНИЦЫН

#### ПИСЬМО МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Н. А. ЩЕЛОКОВУ

Четыре месяца назад я подал заявление о прописке к семье. После столь долгого размышления в столь бесспорном вопросе теперь мне объявлен ОТКАЗ — милиции и Ваш лично.

Я бы выразил недоумение, какими человеческими или юридическими соображениями можно руководиться, чтобы препятствовать мужу жить с женой, отцу — со своими крохотными сыновьями, если бы не знал хорошо и из долгого опыта, что ни тех, ни других в нашем государственном устройстве просто не существует.

Оскорбительный принудительный «паспортный режим», при котором место жительства избирает не сам человек, а за него начальство, при котором право переехать из города в город, а особенно из деревни в город надо заслужить как милость, — вряд ли существует даже в колониальных странах сегодняшнего мира. Однако за 42 года от него уже пострадали и каждый день страдают миллионы моих сограждан. При нынешней широкой дискуссии о свободе эмиграции для тысяч, насколько ж разительно бесправие миллионов выбирать местожительство и род деятельности даже в пределах собственной страны! Это бесправие еще усилено законом 1973 года (Сов. Мин., 19 июня): даже временная поездка крестьянина на сезонную работу запрещена без колхозного отпущения.

Я пользуюсь случаем напомнить Вам, однако, что крепостное право в нашей стране упразднено 112 лет тому назад. И, говорят, Октябрьская революция смела его последние остатки...

Стало быть, в частности, и я, как любой гражданин страны, — не крепостной, не раб, волен жить там, где нахожу необходимым, и никакие даже высшие РУКОВОДИТЕЛИ не имеют владельческого права отторгнуть меня от моей семьи.

21 августа 1973 г.

Солженицын

## ИНТЕРВЬЮ ОЛЛЕ СТЭНХОЛМУ

переданное по шведскому радио и телевидению 2-7-1973.

(Москва, июнь 1973)

Сахаров: ...Наиболее естественным для каждого человека в этой ситуации является считать свой строй наилучшим. Поэтому любое отклонение от этой линии, это уже всегда какой-то психологический процесс.

И когда я писал в 68-м году свою работу (1), то этот процесс еще находился в незавершенной стадии, и сам мой подход был более абстрактен. Жизнь моя сложилась так, что я сначала столкнулся с глобальными проблемами, а потом уже с более конкретными, личными, человеческими. Поэтому при оценке этого трактата 68-го года надо понимать это, учитывать во всяком случае тот путь, к которому я пришёл: от работы над термоядерным оружием, от волнений по поводу испытаний, по поводу гибели людей, генетических последствий, вот всех этих вещей.

И я как бы находился в этот момент очень далеко от основных проблем всего народа и всей страны. Материально чрезвычайно в привилегированном положении находился, изолированно от людей был.

Вопрос: *Но после этого?*

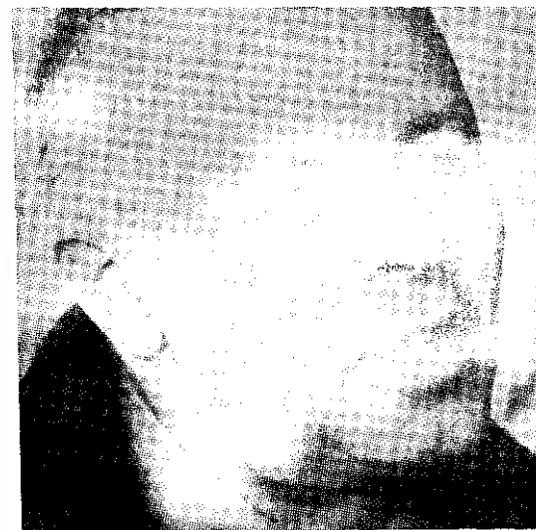
Ответ: После этого у меня как-то жизнь изменилась в чисто личном плане, психологически, просто продолжался процесс развития дальше.

Но, что такое социализм? Я, т. с., начал с того что думал, что я это понимаю и считаю, что это хорошо. Потом постепенно я перестал очень много понимать. У меня, т. с., возникло непонимание самих экономических..., непонимание того, есть ли тут что-нибудь, кроме слов вообще, или кроме пропаганды для внутреннего и международного пот-

\*) Перепечатка с копии пленки интервью на рус. языке из АС.

(1) Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе.

ребления. Наверное, в государстве просто бросается в глаза чрезвычайно большая концентрация экономической, политической, идеологической власти, т. е. крайняя монополизация. Можно считать, что, как говорил в начале нашей революции, Ленин говорил, что это просто государственный капитализм, т. е. государство выступает в роли монопольного владения всей экономикой. Но тогда этот социализм вообще не есть что-то новое. Это есть просто предельная форма того капиталистического пути развития, который есть, скажем, в Соединенных Штатах и в других западных странах, только с крайней монополизацией. Тогда нас не должно удивлять, что у нас те же, качественно те же проблемы, та же преступность, отчуждение личности, что и в капиталистическом мире. Но только наше общество, оно, т. с. является предельным случаем, как бы предельно несвободным, предельно идеологически скованным и с каким-то... И кроме того, что самое, наверно, характерное, самым претенциозным, т. е. оно являясь не *лучшим* обществом, претендует на то, что оно гораздо...



Андрей Сахаров

Вопрос: *В чем конкретно вы видите самые большие недостатки в сегодняшнем советском обществе?*

Ответ: В несвободе, наверное. В несвободе, в бюрократизации управления, в том, что это управление идет

крайне неразумно, и такое страшно эгоистическое, т. с., классово-эгоистическое управление, которое преследует в сущности только сохранение этого строя, сохранение хорошей видимости при очень неблагоприятном внутреннем положении. Очень социально-ущербное общество. Ну, я уже писал. И это, наверное, должно быть широко общеизвестно всем внимательным наблюдателям, что у нас социальные все вещи более показательные, чем на самом деле. Это относится к образованию, к его постановке, к медицинскому обслуживанию. Вот часто западные люди говорят: „Да у вас много недостатков, зато у вас бесплатная медицинская помощь“. Так она у нас не более бесплатна, чем в большинстве западных стран, а часто даже и менее бесплатна, как говорится, но зато общее качество низкое.

Образование в очень трудном положении, в полунищенском находятся учителя, нищенское существование ведут.

*Вопрос: Вы считаете, что советское общество сегодня классовое общество?*

Ответ: Ну, вот это опять теоретический вопрос, т. с. вопрос теоретической оценки. Но во всяком случае общество большого внутреннего неравноправия... Но можно ли это говорить, что это классовая структура? Это в некотором роде все-таки своеобразное общество. Можно ли это называть классовым — это трудно сказать. В какой-то мере это вопрос определения. Вроде того, так же, как мы в прошлый раз спорили, какое общество можно назвать фашистским. Это тоже вопрос определения, вопрос терминологии.

*Вопрос: Но неравноправие, таким образом?*

Ответ: Неравноправие, неравноправие по очень большому числу параметров возникает. Есть неравноправие между сельскими жителями и городскими, где колхозник не имеет паспорта, значит, он практически прикреплен к своему месту жительства, в колхозе. И только если его согласятся отпустить (это обычно, правда, делается), то он может уехать из колхоза. Есть неравноправие районов: Москва и большие города, привилегированные по снабжению, по быту, по культурному обслуживанию — и все прочие места. Причем паспортная система, она как бы закрепляет это разделение территориальной неоднородности.

*Вопрос: Вы сами сказали вначале, что вы сами — привилегированный человек.*

Ответ: Я привилегированный, конечно, и сейчас еще по инерции. Привилегированный я был, просто сверхпривилегированный, потому что я был работник самой такой верхушки военной промышленности. Это колоссальная по советским масштабам зарплата и премия.

*Вопрос: А какие привилегии, по вашему мнению, есть у партийных деятелей Советского Союза?*

Ответ: Ну, у них есть внеденежные большие привилегии. Есть всякое: система санаториев, медицинского обслуживания... большие привилегии. Реальные привилегии возникают, так сказать, основанные на связях, так сказать, на личных разных моментах. Привилегии с работой, с карьерой. Все сколько-нибудь крупные руководящие посты они ... либо, ну директор завода, главный инженер может быть только членом партии, например. Исключения очень редки. И начальник цеха может быть только членом партии. Так что зависимость от партийной принадлежности, от положения в партийной структуре и от служебного ... на карьере она чрезвычайно сильно выражена.

Но кроме того, есть такая уже кадровая традиция, которая отражена в понятии номенклатуры, по которой человек, даже если он проваливается на какой-то работе, если он уже был руководящий работник, то он уже переводится на какую-то другую работу, не очень сильно отличающуюся по тем материальным преимуществам, которые она дает.

Весь характер выдвижения, продвижения на работе, он очень сильно связан с какими-то взаимоотношениями в этой системе. Есть, конечно, у каждого крупного администратора лично с ним связанные люди, которые вместе с ним двигаются с места на место, когда он передвигается. И это совершенно как-то непреодолимо и, по-видимому, является уже каким-то законом государственной структуры.

Но, если говорить о материальных преимуществах, то основные преимущества заключаются в том, что возникает какая-то изолированная и, так сказать, более или менее четко ограниченная группировка, которая имеет особое

отношение к управлению. Она выделена по партийной принадлежности, но и также в пределах партии имеются очень большие внутренние подразделения. Что-то подобное внутренней партии Орвелла, у нас, в каком-то смысле слова, по-видимому, существует.

И вот, если говорить о людях внутренней партии, то они имеют большие материальные преимущества. Существует система дополнительной зарплаты в конвертах. Она то исчезает, то вновь появляется. Я не знаю, какое положение в данный момент, но похоже, что в данный момент она вновь возникла в разных местах. Есть дополнительная система каких-то закрытых распределителей, где не только качество продуктов другое и более широкий ассортимент, но и цены другие, т. е. за тот же самый рубль люди могут в другом магазине получать за другую цену, т. е. реальная цифра зарплаты тоже не очень сильно характеризует.

Вопрос: *Но, мы говорили много о недостатках. Сейчас, конечно, надо поставить вопрос, что можно сделать, чтобы исправить все это?*

Ответ: Что можно делать или к чему нужно стремиться, это разные вопросы. Делать, по-моему, почти ничего невозможно, а...

Вопрос: *Почему нет?*

Ответ: Потому что это очень внутренняя стабильная система. Чем система несвободней, тем она обычно внутренне законсервирована.

Вопрос: *А внешние силы ничего не могут сделать?*

Ответ: Вот мы плохо понимаем, что делает внешний мир. Внешний мир, может быть, скорее принимает сейчас наши правила игры. И это очень плохо. Но есть, конечно, и вторая сторона дела, что то, что мы сейчас порываем с 50-летней изоляцией, может быть это со временем окажет какое-то и благотворное влияние. Но как все это будет происходить — это очень трудно прогнозировать. И если говорить о Западе, то мы каждый раз не понимаем, то ли это желание нам помочь, то ли это наоборот какая-то капитуляция, игра из-за внутренних интересов людей Запада, где мы играем роль просто разменной монеты.

Вопрос: *Но это заграничные силы. А внутри Советского Союза?*

Ответ: Внутри Советского Союза наверное идут какие-то процессы, но они пока идут настолько невнятно и подспудно, что прогнозировать ничего положительного, никаких изменений вообще, даже и положительных ... почти невозможно. Мы понимаем, что такое большое государство, как наше, никогда не бывает однородным внутренне, но что в нем происходит при отсутствии информации, отсутствии связи между отдельными группами людей, почти невозможно понять. Ну мы знаем, что очень сильны националистические такие тенденции на окраинах нашего государства. Но положительные они или нет, это сказать в каждом отдельном случае довольно трудно. В некоторых случаях, например на Украине, они как-то переплелись очень сильно с демократическими. В Прибалтике то же самое, религиозные и национальные вещи переплетаются с демократическими очень легко и естественно. А в других местах может быть это не так. Мы не знаем детально.

Вопрос: *Но, значит вы очень скептически, несмотря на то, что вы сами ...*

Ответ: В общем, я скептивен к социализму вообще. Я не вижу, есть ли социализм что-то новое в теоретическом плане, так сказать, в плане лучшей организации общества. Поэтому, ну мне просто так кажется, что в многообразии жизни, может быть, какие-то варианты отыскиваются и положительные, но в целом путь нашего государства, он сохранился больше в разрушительных моментах, чем в созидательных. Или созидательные они, так сказать, были общечеловеческого характера может быть их тоже было не так мало, но они общечеловеческие были, они могли бы быть и в другой обстановке, а в нашей как-то наложилось столько какой-то жесточайшей политической борьбы, какого-то разрушения, ожесточения, что сейчас мы очень печальные плоды этого пожинаем в виде усталости, апатии, цинизма, какой-то ... от которого очень мы трудно излечиваемся — и излечиваемся ли вообще? Какие тенденции развития нашего общества — очень трудно прогнозировать изнутри глядя. Может снаружи это даже лучше, но для этого глаз должен быть максимально непредвзятый.

Вопрос: *Но, Андрей Дмитриевич, вы сомневаетесь в том, что вообще можно что-нибудь сделать, чтобы исправить систему в Советском Союзе, а все-таки вы сами все время действуете, вы пишете заявления, вы протестуете. Почему?*

Ответ: Ну это есть такая уже потребность, что идеалы то всегда надо создавать даже тогда, когда непосредственно не видно пути к их осуществлению, потому что если нет идеалов, то тогда уже надежд вообще никаких нет, тогда вообще полное ощущение беспросветности и тупика.

Кроме того, мы совсем не понимаем есть ли какие-нибудь возможности взаимодействия нашей страны с внешним миром. Если не будет сигналов о неблагополучии положения у нас и не будет..., то тогда даже те возможности, которые может быть есть, они не смогут быть использованы, потому что не известно нам будет, что надо исправлять и нужно ли что-нибудь исправлять.

Потом есть еще один момент, что история нашей страны должна быть каким-то предупреждением. Она должна удерживать Запад и развивающиеся страны от того, чтобы они не совершили ошибки такого масштаба, как у нас историческое развитие совершило. Поэтому вопрос о том, что когда человек не молчит, что это значит, что он на что-то надеется, это неоднозначный вопрос. Он может ни на что не надеяться, а все равно говорить, потому что он не может, не может молчать.

Почти в каждом вот конкретном случае репрессий мы же никогда ни на что не надеемся и почти всегда мы имеем очень печальное отсутствие каких-бы то ни было результатов.

Вопрос: *Но к чему вы сами стремитесь?*

Ответ: В каком плане? В общественном?

Вопрос: *Да.*

Ответ: Ну какие... Так сказать, в качестве идеала я вот пытался в „Памятной записке“, в особенности в послесловии к ней, изобразить какой-то идеал, но в „Памятной записке“ еще во многом должен был бы сам себя исправить, потому что она писалась давно и была в 71-м, через полтора года, опубликована без изменений. Я, например, о китайской проблеме там писал в таком тоне, кото-

рым может быть сейчас я бы воздержался. Причем воздержался бы именно в том смысле, что я бы ничего не писал, потому что мне по-прежнему совершенно непонятно наше взаимоотношение с Китаем, но раз непонятно, то лучше бы не писать. Обвинять Китай в агрессивности, например, мне бы сейчас уже никак не хотелось бы. Но там это явно тоже не сказано, но может быть был элемент переоценки китайской угрозы. На самом деле Китай — это просто более ранняя стадия развития нашего общества и он больше стремится к такому самоутверждению революционному внутреннему и во всем мире, чем к обеспечению, например, процветания для своего народа, расширения территории. Вероятно для них эта задача еще не стала задачей. Китай очень похож на Россию 20-х и начала 30-х годов.

Вопрос: *Но, если вы, так сказать, думаете, что социализм в Советском Союзе не показал свои преимущества, значит ли это, что вы думаете, чтобы исправить положение здесь, надо совсем перестроить целое государство или можно внутри системы что-нибудь делать, чтобы улучшить и устранить самые большие недостатки.*

Ответ: Это как-то непосильный наверное мне вопрос, потому что совсем перестраивать государства — это немислимо, всегда должна быть какая-то преемственность и какая-то постепенность, иначе будет опять такое же страшное разрушение, через которое мы уже несколько раз проходили, развал. Так что я, конечно, стремлюсь к постепенству, я либерален, я — „постепеновец“, так сказать.

Вопрос: *Ну, что надо делать во-первых?*

Ответ: Что надо делать? Ну, я понимаю, что наша те-перешняя система ничего делать по своим внутренним свойствам не в состоянии, или в очень малой степени в состоянии. Что надо было-бы? Надо было-бы ликвидировать такой идеологический монизм общества. Ну идеологическая структура, которая антидемократической является по существу своему, она очень трагична для государства. Изоляция от внешнего мира, например отсутствие права выезда и возвращения очень пагубно на внутренней жизни сказывается. Это, во-первых, величайшая трагедия для всех тех, кто хочет уехать по личным и национальным причинам. Но это также трагедия и для тех, кто остается

в стране, потому что страна, из которой нельзя свободно выехать, нельзя свободно вернуться, это уже страна от одного этого неполноценная, это замкнутый объем, где все процессы развиваются уже совсем иначе, чем в открытой системе.

Вопрос: *Ну вы знаете, что права на свободный выезд —*

Ответ: — это одно из очень важных условий для возвращения, на свободное возвращение.

Вопрос: *И что еще?*

Ответ: Это одно из условий, которое нужно для того, чтобы страна как-то более здоровыми путями развивалась. Ну есть вещи более экономические, которые, наверное, тоже очень важны. У нас вот крайняя государственная социализация привела к тому, что в тех областях, где наиболее эффективной является частная инициатива, она также закрыта, как и в крупной промышленности, и в транспорте, где может быть государственная система управления является разумной.

Кроме того, просто личная инициатива граждан, с ней личная свобода тем самым очень стеснена. Это отрицательно оказывается на уровне жизни населения и просто жизнь делает для многих гораздо более скучной и тоскливой, чем она могла бы быть. Речь идет об личной инициативе в сфере потребления, сфере обслуживания, образования, в медицине. Все это имело бы наверно очень положительное значение для такого ослабления крайне монополистической структуры государства. Есть вещи, относящиеся к монополии на управление, т. е. к тому, что партийная монополизация управления она у нас дошла до таких пределов, которые наверно... уже даже и этому слою видно, что это недопустимая вещь по своей... Это уже влияет на эффективность управления.

Ну, что нужно? Нужна, наверное, большая гласность о работе аппарата управления. Вероятно однопартийная система является очень такой излишне жестокой. Даже в условиях социалистического экономического строя возможна не однопартийная система. Да собственно в странах народной демократии некоторые, так сказать, элементы многопартийности существуют, правда в очень таком полукarikатурном стиле.

Нужны выборы в государственные органы с избыточным числом кандидатов. Ну в общем ряд мероприятий, которые каждое по отдельности очень мало эффективны, но в совокупности могли бы расшатать такой монолит, который у нас создан и который носит такой окаменелый и давящий на жизнь всей страны характер.

Печать должна изменить свой характер. Сейчас она настолько унифицирована, что она уже потеряла [какую бы то] значительную часть информационной ценности. И она, если факты в ней и отражаются, то вот только так, что они понятны для посвященных, но искажают истинную картину реальной жизни в стране, а интеллектуальная, она просто отсутствует, так что ее исказить особенно нельзя, нету разнообразия интеллектуальной жизни.

Особо, что нужно отметить, это роль интеллигенции в обществе. Она совершенно неправомерно подавлена. Интеллигенция материально у нас очень плохо обеспечена. Она относительно даже с людьми физического труда не выделена, плохо обеспечена. Но в особенности, конечно, абсолютно, очень низок жизненный уровень, если сравнить со странами Запада, где имеется примерно такой же общий уровень экономического развития. Вот придавленное положение интеллигенции оно тоже экономически придавленное, оно означает также и придавленность идеологическую, какую-то общую такую антиинтеллектуальную атмосферу в стране создает, когда интеллигентная профессия, профессия педагога, врача не пользуется тем уважением, которым они должны были бы пользоваться. И антиинтеллектуализм еще выражается в том, что даже сама интеллигенция уже начинает уходить либо в узкий профессионализм, либо в такую двойную интеллектуальную жизнь на работе и дома, в узком кругу своих знакомых люди [могут] начинают по разному мыслить, и раздвоение мышления означает лицемерие и дальнейшее падение нравственное и творческое людей. Особенно это, конечно, тяжело сказывается не на технической, а на гуманитарной интеллигенции. Там уже вообще полное какое-то ощущение тупика. И в результате выходящая на поверхность литература у нас страшно серая или казенная, в общем скучная, литература, искусство, кино начинается...

Вопрос: *Разрешите один окончательный вопрос. Вы никогда лично не боялись за здоровье ваше и свободу в эти годы, когда вы довольно сильно действовали.*

Ответ: Я не очень, я лично за себя не боялся, но это скорее, так сказать, отчасти по свойствам характера, отчасти потому, что я начал-то с очень высокого общественного положения, когда эти опасения были бы, наверное, совершенно неоправданы и по существу. Но сейчас-то я в основном боюсь таких форм давления, которые уже не меня касаются, а членов моей семьи, членов семьи моей жены. Это наиболее тяжелая вещь, которая реально, вплотную уже подходит к нам. Ну такие вещи, как у Левича, когда его сына схватили; (2) они показывают, как такие вещи делаются.

(2) Член-корр. АН СССР Вениамин Левич; 16.5.73 его сын астрофизик Евгений был схвачен на улице военными властями и 17.5 призван в качестве рядового (см. ЮПИ, 16 и 17.5.73, и телеграмму В. Левича к министру обороны СССР А. Гречко от 17.5.73 — см. газ. "Наша страна", 21.5.73).

Андрей САХАРОВ

### О Т К Р Ы Т О Е П И С Ь М О

в журнал „Шпигель“ с замечаниями об опубликованном варианте его интервью шведскому телевидению

Москва, 29.7.73.

Я с удовлетворением впервые увидел в Вашем журнале в напечатаном виде свое интервью шведскому телевидению. Однако мне бросились в глаза некоторые досадные погрешности, которые я допустил в своих устных ответах. В частности, из той части интервью, которая посвящена привилегированному положению членов партии, может создаться ложное впечатление, будто член партии обладает большими привилегиями по сравнению с беспартий-

ным даже при одинаковом служебном положении. Это не так, и я хотел бы исправить допущенную неточность. Вместе с тем все, что касается влияния партийности на карьеру, партийной иерархии, фактических привилегий и кастовости партийно-государственной верхушки, остается в силе. Говоря о китайской проблеме, я уточнил в интервью свою точку зрения на советско-китайские отношения. Но я не хотел, чтобы могло создаться впечатление, что китайский вариант социализма с его хунвейбинами, трудовым перевоспитанием и цитатниками кажется мне безвредным и привлекательным.

Последняя неточность, о которой мне здесь хочется сказать, касается моего личного положения. Я сказал, что оно остается пока привилегированным, имея в виду средний уровень жизни в стране, а не своих коллег. В этом последнем случае результат сравнения скорей был бы обратным. В свое время у меня были крупные по советским масштабам деньги. В 1969 году, уже после опубликования трактата, я отдал в фонд государства большую часть (в сумме 139 тыс. рублей) этих денег, казавшихся мне незаслуженными. Теперь этот поступок представляется мне совершенно неправильным.

Я прошу сообщить об этом письме всем издательствам, которые напечатали мое интервью.

С уважением

(Подпись)

29 июля 1973 года

Андрей Сахаров

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТЧЁТА А. Д. САХАРОВА О БЕСЕДЕ  
С ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА. 21-8-73.

15-го августа мне позвонил зам. генерального прокурора СССР и попросил прийти для беседы. О чём будет эта беседа, он не сказал, а только заметил, что это будет беседа „порядочного человека с порядочным человеком“. 16-го августа к 12 часам я пришёл в Прокуратуру, у ворот был встречен сотрудником, который провёл меня в здание. Далее, другой меня провёл в кабинет, где был зам. генерального прокурора СССР Маляров М. и ещё один человек, не назвавший своей фамилии и представившийся помощником Малярова. Это человек вёл запись беседы и принимал участие в ней. Ниже я воспроизвожу по памяти, поэтому возможны некоторые неточности формулировок, небольшие сокращения произвольного характера и изменения в последовательности беседы, как мне запомнилась эта беседа, которая продолжалась 1 час 10 минут.

Маляров: *Эта беседа носит характер предупреждения, поэтому не все утверждения будут снабжены исчерпывающими доказательствами. Но Вы можете нам поверить, что мы располагаем такими доказательствами. Я прошу Вас выслушать меня внимательно и по возможности не перебивать.*

Сахаров: Я готов Вас выслушать.

Маляров: *Когда несколько лет Вы начали ту деятельность, которую называете общественной, мы стали внимательно следить за ней. Мы считали возможным не принимать никаких мер. В то время можно было считать, что Вы выступаете с позиции советского человека по поводу отдельных недостатков и ошибок, как Вы их понимаете, не выступая против советского общественного и государственного строя в целом. Правда, уже тогда Ваши выступления публиковались в зарубежной антисоветской прессе и приносили ощутимый вред нашему государству. В последнее время Ваша деятельность и выступления приобрели ещё более вредный, откровенно антисоветский характер, и прокуратура, стоящая на страже закона и инте-*

*ресов нашего общества уже не может оставаться в стороне. Вы встречаетесь с иностранцами и даете им материалы для антисоветских публикаций. В особенности это относится к Вашему интервью. В интервью шведскому радио Вы выступаете против социалистического строя в нашей стране, называя этот строй максимальной несвободой, недемократически закрытым, лишенным возможности инициативы, в экономической области разваливающимся.*

Сахаров: Я не говорил „разваливающимся“.

Маляров: *Вы встречаетесь с такими реакционными журналистами, как, например, корреспондент шведского радио Стенхольм, и даёте им Ваши интервью, которые используются для подрывной пропаганды, используются печатным органом НТС „Посевом“. Вы должны знать, что программа НТС предусматривает насильственное свержение советской власти. Именно „Посев“ больше всего публикует Ваши материалы, а в Вашем интервью Вы по существу выступаете с тех же антисоветских подрывных позиций.*

Сахаров: Я не знаком с программой НТС, но если там содержится такое требование, то оно в корне противоречит моим взглядам, так как они выражены в частности в интервью шведскому радио. Я там говорил о желательности постепенных изменений, о демократизации в рамках существующего строя. Другое дело, что я указываю на существенные с моей точки зрения пороки строя, да и не скрываю своего пессимизма в отношении возможности таких изменений в ближайшее время. В отношении публикаций: я не давал никогда никаких материалов для НТС, для „Посева“, и мои материалы публиковались, кроме „Посева“, во многих других зарубежных массовых изданиях, в том числе таких, как, например, „Шпигель“, которые советская печать до сих пор считала вполне прогрессивными.

Пом. Малярова: *Но Вы никогда не протестовали против публикаций в „Посеве“. Мы проверили, что подавляющая масса Ваших публикаций — в таких изданиях как „Посев“, „Грани“, белогвардейская газета „Русская мысль“.*

Сахаров: Я очень был бы рад публикациям в советской прессе. Например, если бы кроме критической статьи Корнилова, „Литературная газета“ рядом бы опубликовала

моё интервью. В этом случае Корнилов вынужден был бы обойтись без искажений интервью. Но действительность не такова. Я считаю, что гораздо важнее содержание публикаций, чем то, где они опубликованы.

Пом. Малярова: *Даже если эта публикация в антисоветских изданиях? С антисоветской целью? в „Посеве“?*

Сахаров: Я считаю очень полезной издательскую деятельность „Посева“. Я благодарен этому издательству. Я оставляю за собой право не отождествлять „Посев“ с НТС, не разделять программу НТС, тем более, что я её не знаю, и осуждать те стороны деятельности НТС, которые могут рассматриваться как провокационные, вроде послышки свидетеля Соколова на процесс Галанскова-Гинзбурга, что имело такие последствия.

Пом. Малярова: *Мы сейчас об этом не говорим. Это было давно.*

Сахаров: Возвращаюсь назад. Вы назвали Стэнхольма реакционным журналистом. Это несправедливо. Он — социал-демократ. Он гораздо более социалист или коммунист, чем я, например.

Пом. Малярова: *Социал-демократы Розу Люксембург убили. А этот Ваш коммунист вставил в Ваше интервью, что наш строй разваливается, если у Вас действительно не было этого.*

Сахаров: Я уверен, что Стэнхольм точно передал моё интервью.

Маляров: *Я продолжу. Я прошу Вас особо внимательно отнестись к моим словам. По роду Вашей прошлой работы Вы имели допуск к секретам особой важности. Вы давали подписку о неразглашении государственной тайны, о том, что Вы не будете встречаться с иностранцами. Но Вы встречаетесь с иностранцами и сообщаете им сведения, которые могут представлять интерес для зарубежных разведок. Я прошу Вас учесть всю серьезность предупреждения и сделать для себя выводы.*

Сахаров: О каких сведениях Вы говорите. Что конкретно? Что Вы имеете в виду?

Маляров: *Я уже говорил, что эта встреча носит характер предупреждения. Мы располагаем сведениями, но не считаем возможным вдаваться в детали.*

Сахаров: Я заявляю, что никогда не разглашал военных и военно-технических секретов, известных мне по роду моей прошлой работы в 1948-68 гг. Я никогда не буду этого делать и в будущем и обращаю Ваше внимание также на то, что я не участвую в какой-либо секретной работе более пяти лет.

Маляров: *Но Ваша голова осталась при Вас. И также в силе осталось Ваше обязательство не встречаться с иностранцами. Вас начинают использовать не только антисоветские силы, враждебные нашему государству, но и иностранные разведки.*

Сахаров: Относительно встреч с иностранцами: я знаю много людей, которые находились в одинаковом со мной положении, а сейчас свободно встречаются с иностранными учеными и просто гражданами. Я действительно встречался с некоторыми иностранными журналистами, но эти встречи не имеют никакого отношения к государственной, военной и военно-технической тайне.

Пом. Малярова: *Эти встречи были на руку нашим врагам.*

Маляров: *Мы сделали предупреждение. Ваше дело — сделать выводы.*

Сахаров: Я повторяю, что предпочел бы публикации в советской прессе, предпочел бы контакты с советскими учреждениями, но я не вижу ничего противозаконного во встречах с иностранными журналистами.

Пом. Малярова: *Но ведь Вы всё ещё советский гражданин. Ваша оговорка выдаёт Вас, Ваше истинное отношение к советскому строю.*

Сахаров: Советские учреждения игнорируют мои письма и другие формы обращений. Если ограничиться прокуратурой, то я напому, что в мае 70-го года, кажется 17-го мая, я вместе с другими лицами обратился с надзорной жалобой на имя генерального прокурора СССР тов. Руденко по делу Григоренко. В этом деле множество грубейших

нарушений закона. Мы до сих пор не получили никакого ответа на нашу жалобу. Множество раз я не получал даже уведомления о вручении по своим письмам. Покойный ныне член Президиума Верховного Совета СССР академик Петровский обещал мне выяснить дело психиатра Семёна Глузмана — осужден в Киеве в 1972 году с нарушениями закона. Вот единственный случай, когда мне обещали выяснить правду. Но Петровский умер. А дело Амальрика? Человек был несправедливо осужден на три года, потерял здоровье, перенес менингит, а теперь вновь осужден лагерным судом ещё на три года. Это же вопиющее дело! Фактически он осужден за то же самое — за свои убеждения, от которых он не отказался, но которые он никому не навязывает. А лагерный суд? Какая уж тут гласность! Справедливость!

Маляров: *Этот „Кальмарик“ — недоучившийся студент. Он не принёс никакой пользы государству. Он — тунеядец, а Бёлль пишет о нем, как о выдающемся историке. А откуда у Бёлля такие сведения?*

Сахаров: Бёлль и очень многие другие проявляют большой интерес к судьбе Амальрика. Лагерный суд — это фактически закрытый суд.

Маляров: *А по-Вашему, надо было привести его в Москву?*

Сахаров: Учитывая большой общественный интерес к этому делу, считаю это разумным. Если бы я знал, что на суд Амальрика можно попасть, я бы поехал.

Маляров: *Амальрик нанёс нашему обществу большой вред. В своём сочинении он пытался доказать, что советское общество должно погибнуть к 1984 году, и, тем самым, призывал к насильственным действиям. Каждое общество имеет право на защиту. Амальрик нарушил закон и должен был понести наказание. В лагере он вторично нарушил закон. Вы знаете этот закон — я не собираюсь убеждать. За рубежом писали, что Амальрик лишен адвоката, но это — ложь. Швейский ездил на суд, и Вы это знаете.*

Пом. Малярова: *В отличие от этого недоучки Вы принесли пользу обществу.*

Маляров: *Кто дал Вам право сомневаться в нашем правосудии? Ведь Вы не были на суде. Вы опираетесь на слухи, а слухи часто ложные.*

Сахаров: Когда нет фактической гласности, когда систематически на политических процессах создаются условия для её нарушения, возникают основания сомневаться в справедливости суда. Я считаю, что преследования по ст.ст. 190-1 и 70 являются антидемократическими. Все известные мне дела подтверждают это мнение. Вот пример недавнего времени — дело Леонида Плюща. В этом деле суд без проверки принял из трех противоречивых решений психиатрических экспертиз самое тяжелое. Хотя суд смягчил решение, но по протесту прокурора оно было вновь восстановлено. Плющ — в специальной больнице, а его жена не имеет с ним свидания боле полутора лет.

Маляров: *Вы занимаетесь юридическими делами, но, по-видимому, недостаточно глубоко. Суд имеет право сам выбирать форму принудительного лечения, безотносительно к решению комиссии.*

Сахаров: К сожалению, я знаю, что это — так, и поэтому, если даже комиссия назначает больницу общего типа, надо бояться худшего. Вы говорите, что я все время ссылаюсь на слухи. Это не точно: я стараюсь иметь достоверную информацию, но, вообще, в нашей стране всё труднее узнавать, что происходит. Нет публикаций и полной и точной информации о нарушениях.

Пом. Малярова: *Вы имеете в виду...*

Сахаров: Конечно, „Хронику“.

Пом. Малярова: *Да, о „Хронике“ скоро будет разговор. Вы знаете, что я имею в виду. Но сейчас речь идёт о другом, о другой теме.*

Маляров: *Вам не нравится, что в нашем кодексе есть статья 190-1 и 70, но они там есть. Государство имеет право на защиту. Вы отдаёте себе отчёт в своих поступках. Я не буду Вас ни в чем убеждать. Я знаю, что это бесполезно, но Вы должны понимать, о чём идет речь и кто Вас поддерживает, кому Вы нужны. Хорошо известный Вам Якир не сходил со страниц антисоветской зарубежной печати,*

пока он был поставщиком для их пропаганды. Когда он изменил свою позицию, они о нем забыли.

Сахаров: Сказать „хорошо известный“ — это не точно. Я с Якиром практически не знаком. Интерес к его процессу, по-прежнему, велик. Я это знаю точно. Все спрашивают, когда суд. Не известно ли это Вам?

Пом. Малярова: *Нет, не известно. Когда будет суд, Вы, вероятно, сами будете об этом знать.*

Маляров: *Ваш друг Чалидзе пользовался на западе славой, пока он выступал с антисоветскими выступлениями, а когда он перестал, все о нем забыли. Антисоветским кругам нужны такие, как Телесин, Тельников, Вольпин, которые непрерывно клеветают на свою бывшую родину.*

Сахаров: Я не считаю, что Чалидзе когда-либо занимался антисоветской деятельностью. То же и о других. Вы что-то сказали о Вольпине: по-моему, он занимается математикой в Бостоне.

Маляров: *Быть может. Но мы имеем достоверные сведения об его антисоветской деятельности.*

Сахаров: Вы говорите, что меня никто не поддерживает. В прошлом году я участвовал в коллективных обращениях об амнистии, об отмене смертной казни. Эти обращения подписали более пятидесяти человек.

Маляров: *В порядке постановки вопроса?*

Сахаров: Да. Но нас очень огорчило, что закон об амнистии был очень ограниченным, что смертная казнь не отменена.

Маляров: *Я не думаю, чтобы Вы рассчитывали, что законы будут меняться по Вашему желанию. Смертную казнь сейчас нельзя отменить. Убийц и насильников, совершающих тяжёлые преступления, мы не должны оставлять без наказания.*

Сахаров: Речь идёт об отмене самого института смертной казни. Многие мыслители считают, что этот институт не может быть сохранен в гуманном обществе и что он аморален. Тяжелая преступность у нас имеет место при наличии смертной казни. Смертная казнь не помогает сделать общество более гуманным. Я слышал, что у нас даже

в юридических кругах обсуждался вопрос об отмене смертной казни.

Маляров: *Нет. Один юрист поднял этот вопрос, но никто его не поддержал. Это несвоевременно.*

Сахаров: Этот вопрос сейчас обсуждается во всём мире. Во многих странах смертная казнь отменена. Чем мы хуже?

Маляров: *В США отменили, но сейчас же были вынуждены вновь восстановить. Вы читали о тех преступлениях, которые имели место. У нас ничего похожего нет. Вам нравится американский образ жизни? Но там свободная продажа оружия. Президентов убивают, сейчас эти демагогические фокусы с делом „уотергейта“. Швеция гордится своей свободой, но там на каждой улице порнографические открытки. Я сам видел. Вы что, за порнографию? За такую свободу?*

Сахаров: Я не знаю американского или шведского образа жизни. Вероятно, там есть свои трудные и большие проблемы. Я не хочу идеализировать, но вот Вы упомянули дело „уотергейт“. Оно хорошо характеризует американскую демократию.

Маляров: *Всё рассчитано напоказ. Всё кончится ничем, стоит только Никсону проявить твердость. Такова их демократия — одни фокусы. Но мы должны кончать наш разговор. Я хотел Вас ещё спросить: Вы хорошо отозвались о Белинкове. Известна Вам эта фамилия?*

Сахаров: Я считаю, что Белинков — выдающийся публицист. Я в частности высоко ценю его письмо Пенклубу.

Маляров: *А знаете ли Вы, что Белинков был арестован и осужден за распространение листовок, призывающих к убийству коммунистов.*

Сахаров: Я ничего об этом не знаю. Вероятно, это было давно, в сталинские времена, стоит ли всерьёз это воспринимать. Ведь тогда все осужденные были террористами.

Маляров: *Нет. Белинков был осужден дважды. Это было недавно. А Ваш Даниэль! Ведь в „Дне открытых убийств“ он открыто призывал к убийству руководителей партии и правительства. А Амальрик — чем он лучше? Вот о чём Вы должны задуматься!*

Сахаров: „День открытых убийств“ — это художественное произведение, аллегория, своим духом направленная против сталинского террора. Тогда, в 1956 году, это было ещё так близко. На суде Даниэль это разъяснял. 1984-ый год — это тоже аллегория. Вы знаете, что эта цифра заимствована из повести Оруэлла.

Маляров: *Мы должны кончать. Я хочу, чтобы Вы сделали выводы из серьёзных предупреждений. Любое государство не может не защищать себя. Существуют статьи закона, и никому не будет позволено их нарушать.*

Сахаров: Я внимательно выслушал и запомнил, всё, что Вы сказали. Так сказать, „намотал на ус“. Но я не могу согласиться с тем, что я нарушал закон. В частности, я не могу согласиться с Вашим утверждением, что мои встречи с иностранными корреспондентами были противозаконными или что они ставили под угрозу государственную тайну. До свиданья!

.....

В. МАКСИМОВ

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СП РСФСР \*)

от Максимова В. Е.

Как мне стало известно, секретариат МОСП РСФСР совместно с бюро секции прозы готовит обсуждение моего романа «Семь дней творения» со всеми вытекающими отсюда оргвыводами. Я и пишу это письмо заранее, ибо заранее знаю степень ваших обвинений и качество ваших доводов. Мне не в чем оправдываться перед вами и не о чем сожалеть. Я, сын и внук потомственных пролетариев, сам вышедший из рабочей среды, написал книгу о драматическом финале дела, за которое отдали жизнь мой отец, мой дед и большая часть двух восходящих ко мне фамилий. Эта книга для меня результат многолетних раздумий над удручающими и уже необратимыми явлениями современности и горчайшего личного опыта. Если вы, оставшись наедине с собой, непредубежденно и мужественно взглянете в лицо действительности, у вас, я уверен, возникнет множество тех же самых «почему», какие одолевали меня в процессе работы над романом.

Почему в стране победившего социализма пьянство становится общенародной трагедией? Почему за порогом полувекового существования страны ее начинает раздирать патологический национализм? Почему равнодушие, коррупция и воровство грозят сделаться повседневной нормой нашей жизни? Где истоки всего этого, в чем первопричина такого положения вещей? Вот, примерно, те вопросы, которыми я задавался, садясь за работу над книгой. Не знаю, удалось ли мне с достаточной убедительностью ответить хотя бы на один из них, но у вас нет оснований сомне-

(\*) Владимир Емельянович Максимов был исключен из МОСП 26.6.73 (см. газ. «Дейли телеграф», 29.6.73). «Литератор» в статье «За что «Вельт» хвалит Генриха Бёлля?» пишет, что Максимов был «исключен из членов Союза писателей СССР за то, что он стал на путь враждебно идеологической деятельности, выразившейся в предоставлении возможности махрово антисоветскому, белогвардейскому издательству «Посев» опубликовать два его романа — «Семь дней творения» и «Карантин», получивших — ввиду их откровенно антисоветской направленности — похвальную оценку реакционной прессы» (см. «Лит. газ.», 8.8.73, № 32, с. 9).

ваться в искренности моих намерений. Этим же стремлением помочь своей стране и своему народу разобраться в отрицательных явлениях современности, с тем чтобы, освободившись от ошибок прошлого, безбоязненно двигаться дальше, руководствовались и все мои старшие предшественники от Дудинцева до Солженицына включительно, разумеется, каждый в меру своих сил и дарования. К сожалению, те, от кого зависело взять эти книги на вооружение, не только остались глухи к взыскующим правды голосам, но и встретили их в штыки. Мне трудно судить, кто и почему заинтересован в том, чтобы загнать болезнь глубоко вовнутрь, но в плачевном исходе такого рода лечения я не сомневаюсь: последствия не поддаются учету, бедствия — исчислению. Если наше общество не осознает этого сегодня, завтра уже будет поздно.

Сейчас мне не до бравады, я покину организацию, в которой состоял без малого десять лет, с чувством горечи и потери. В ней, в этой организации, числились и числятся люди, у которых я учился жить и работать. Но рано или поздно каждому из них все-таки придется сделать этот тяжкий выбор. Союз писателей, а в особенности его Московское отделение, постепенно становится безраздельной вотчиной мелких политических мародеров, разъездных литературных торгашей, — мелких (\*\*\*) бесов духовного паразитизма.

Я прекрасно осознаю, что меня ждет после исключения из Союза. Но в конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчишки, идущие следом за нами. Сидят и, наморща сократовские лбы, пишут. Пишут! Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности (да литература и не задается подобной целью), но единственное, в чем я не сомневаюсь, они не позволят похоронить свое Государство втихомолку, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков.

Со всей ответственностью —

15 мая 1973 г.

(Подпись) В. Максимов

(\*\*) "Торгашей, всех этих медниковых пиляров и евшушенок — мелких..." согласно тексту в газ. "Русская мысль".

В. МАКСИМОВ

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЕНРИХУ БЕЛЛИО

Признаюсь, Ваше предыдущее заявление об изменении Нобелевской речи во имя сохранения неких контактов подействовало на меня — да и не только на меня, — честно говоря, удручающе. Мир на своём горьком опыте успел убедиться, во что обходятся человечеству односторонние уступки злу и насилию ради их сомнительного умиротворения. Мир слишком хорошо помнит, как под шумок дипломатической эйфории в самом центре Европы дымили первые крематории концлагерей.

С тех пор нравственная атмосфера вокруг нас изменилась к худшему. Если когда-то болтовня Чемберлена, Даладье и компании вызывала у честных людей хотя бы чувство брезгливости, то сегодня убогим апологетам нового Мюнхена, возомнившим себя великими политиками, вручают Нобелевские премии мира. Только Всевышний знает, в какую кровавую копеечку влетят бесовские игры современных недоумков от дипломатии.

Но место на скамье подсудимых 2-го Нюрнберга, не сомневаюсь, им обеспечено. Поэтому Ваш голос, снова поднятый Вами в защиту поправленной справедливости, вселил во всех нас надежду и уверенность, и уже одно это само по себе может служить Вам доказательством его действительности.

Но, к сожалению, и в этом, таком чистом и мужественном Вашем выступлении прозвучала настораживающая нота скептицизма и усталости. Утверждение бессилия слова перед материальным могуществом являет собой недопустимую слабость со стороны писателя-христианина. На Суде времён нам простится всё, кроме греха уныния и безнадежности. Слово — сильнее поставок и контрактов, тем более, если оно принадлежит верующим. Лишь бы оно звучало не время от времени, а постоянно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

Писатель в силу своего назначения на земле говорит, руководствуясь в таких случаях не спекулятивной злободневностью, а только потому, что не может молчать. Там, где царствует совесть, нет места законам целесообразности. В практическом же плане мировая общественность должна обращаться к разуму и логике власть имущих не по следам прискорбных событий, когда престижные амбиции адресата мешают ему внять призывам со

стороны, а перед таковыми. Пример Амальрика и Солженицына прекрасное тому доказательство.

В этом смысле образцом нравственной бдительности может служить академик Сахаров, честь и совесть современной России, выступления которого по острейшим вопросам сегодняшнего мира обходятся ему куда дороже, чем любому из его западных коллег. Сахаров не выжидает пиковых моментов текущего дня, когда сказанное им слово принесёт ему максимум политических дивидендов. Сахарова не заботит инфляция его выступлений. Сахаров совершает поступки и говорит движимый одной единственной указкой — указкой своего большого сердца. И слово его не становится от этого менее весомым. Именно поэтому в последнее время тучи над ним заметно сгущаются. Спасти Андрея Сахарова от грозящих ему бед — наша общая с Вами задача. Когда неправое случится, будет уже поздно, как у нас говорят, размахивать кулаками. В этом Вы смогли убедиться на недавних примерах.

В таком же, но менее заметном положении находятся и многие из нас. Я мог бы привести целый мартиролог имён, которые после общественного ostrакизма поставлены перед новыми, ещё большими испытаниями. Но список этот занял бы здесь слишком много места, да и к тому же имена эти общеизвестны. Поэтому назову лишь близких мне людей, которые, я надеюсь, не останутся на меня в обиде за непрошенное заступничество: Виктор Некрасов, Александр Галич, Лев Копелев, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Булат Окуджава.

В заключение мне бы хотелось ещё раз заверить Вас, что если Ваш голос не дошел до слуха тех, к кому Вы обращались, то духовный результат с лихвой восполнил их молчание. Слова, сказанные Вами, укрепили во многих и многих от Афин до Шанхая веру в конечное торжество правды и справедливости, а это на мой взгляд самое главное. Царствие Божие усилием берётся. Так постараемся же совершить это на любом поприще, по которому направил нас Господь, чтобы в конце пути оказаться достойными бесценного дара свободы, каким Он наделил каждого из нас в день Святого Крещения.

С глубоким уважением

4.8.73.

Владимир Максимов.

Лидия ЧУКОВСКАЯ \*)

## ГНЕВ НАРОДА

...Москва. 1958. 1 ноября. Пастернак только что получил Нобелевскую премию по литературе. Писатели исключили его из Союза. На страницы газет хлынули письма трудящихся. «Правильное решение». «Лягушка в болоте». Экскаваторщики, нефтяники, инженеры, учителя, слесаря.

Я — в такси. За рулем нескладный мальчик лет девятнадцати. Узкоплечий, узколицый, малорослый, только руки, крутящие баранку, огромны.

Я сижу рядом с ним, а между нами, на сиденье, газета. Думать я могу только о Пастернаке. Речи писателей, статьи и письма в газетах и мой собственный грех: отсутствие мое там, в Союзе, когда его исключали — моя немота. Пытаюсь укрыться в стихи. В его стихи. Но и из его стихов на память идут только гибельные.

...На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячей биноклей на оси...

...Но продуман распорядок действий  
И неотвратим конец пути...

Это — «Гамлет», написанный чуть более десятилетия назад. А вот и давние, излюбленные мною с юности:

...Дай мне подняться над смертью позорной!  
С ночи одень меня в тальник и лед.  
Утром спугни с мочажины озерной.  
Целься, все кончено! Бей меня в лет.

Вот оно и сбылось. Целятся. В лет... Конеч это уже или только начало конца?

\*) 9-го января 1974 года Лидия Чуковская была исключена из Союза Писателей в частности за то, что предоставила А. Солженицыну жить и работать на ее даче в Переделкино.

И вдруг, как в дурной мелодраме — или, точнее, так, как бывает только в действительной жизни — шофер оборачивает ко мне свое узкое лицо:

— Читали, гражданочка? — Он скашивает глаза на «Литературную газету». — Один писатель, Пастер, кажется, фамилия, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Я, вот этими руками, — мы стояли под красным светом и он на секунду оторвал огромные руки от руля, — я на комбайне. Для него хлеб убирал. А он, гадина...



Л. К. Чуковская

Честные рабочие руки снова ухватили баранку. Зеленый. Поехали. Между мною и моим собеседником на сиденье газета: несколько прямоугольных листов. Председатель колхоза имени Ленина из села Гуляй-Борисовка «с радостью встретил решение о том, что Пастернак лишен высокого звания советского литератора». Старший машинист экскаватора из Сталинграда тоже доволен: «Нет, я не читал Пастернака, — сообщает он. — Но знаю:

в литературе без лягушек лучше». Письмо так и озаглавлено: «Лягушка в болоте».

Непрочная вещь бумага. Ее можно смять одной рукой и выбросить за окно. Разорвать или сжечь.

Но она была между мною и моим собеседником, как железобетонная стена. В его глазах великий поэт, чью поэзию и прозу я любила с отрочества, был всего лишь тунеядцем, задаром поедающим хлеб.

— Пастернак, а не Пастер, — сказала я через стену. — Все, что вам о нем говорят и пишут — неправда. Вас обманывают. Это великий русский писатель. Он никого не продал. Он любит вас. Он сказал о вас в своих стихах:

Превозмогая обожанье,  
Я наблюдал, боготворя.  
Здесь были бабы, слобожане,  
Учащиеся, слесаря...

Шофер не услышал ни единого слова. Между нами стена. Мы сидели рядом, по-прежнему разделенные всего лишь листками бумаги. Но голос мой сквозь нее не долетал до соседа.

Мы приехали. Взглянув на счетчик, я протянула шоферу деньги.

— Что Пастер, что Пастернак, разницы нет, — сказал он. — Вы, гражданочка, грамотные, а газет не читаете?.. Не надо мне ваших двадцать копеек, я чаевых не беру...

И он вернул мне мою монету таким гордым, непреклонным движением, словно это были по крайней мере 200 фунтов стерлингов, предлагаемые ему за предательство иностранной державой.

Мне припомнился этот горестный случай сейчас, в начале сентября 1973 года, когда на страницы газет снова хлынул организованный гнев трудящихся — в который уж раз! На этот раз против двух замечательных людей нашей родины: Сахарова и Солженицына.

...1968 год. Москва. Декабрь. Радостный день. Александру Солженицыну исполнилось 50 лет. Преследования против него уже начались, но еще исподволь. Союз писателей еще не исключил его, но уже не празднует. Сотни читателей напечатанной и ненапечатанной прозы Солженицына посылают ему поздравительные телеграммы в Рязань. Я тоже:

«Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя более долгожданного и необходимого, чем Вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество».

Могущество, которое возвратил Солженицын русской литературе, для Союза писателей обуза. Оно ему не по плечу. Союз советских писателей — административное учреждение, созданное, чтобы управлять. Могущество неуправляемо. Оно управляет само.

...1969. Ноябрь. Солженицын исключен из Союза административными средствами, президиумами да секретариатами, даже без собрания московской писательской организации, которым был почтен Пастернак. В самом деле, при чем тут московские писатели? Ведь Солженицын — рязанский. Там его и исключили. Рязанского масштаба писателишка. Мелочь, из-за которой москвичам и собираться не стоит. Однако, хоть и немногие, кое-кто вступился за эту мелочишку. Среди 23 человек протестовала и я. Телеграфировала в Президиум Союза, что считаю исключение Солженицына национальным позором нашей родины.

...1973. Сентябрь. Травля академика Сахарова, а заодно и Солженицына, который в 1970 году получил Нобелевскую премию, вызвал этим против себя разнообразные гонения и все-таки имеет мужество защищать других.

Стройными рядами выступают на страницах газет академики, писатели, скульпторы, композиторы, художники. Тут же — отклики «простых людей», трудящихся, организованный взрыв стихийного народного гнева, которому приказано иметь вид естественного извержения вулкана.

Само собой разумеется, что никто из гневающихся и возмущающихся не имеет об академике Сахарове, об его поступках, предложениях и мыслях ровно никакого понятия. В метро и троллейбусах ведутся разговоры о каком-то негодяе Сахаревиче, который жаждет войны. А быть может он и не Сахаров вовсе, а на самом деле Цукерман?

Где ты сейчас, мой старинный собеседник, узкоплечий мальчик-шофер, с честными рабочими руками? По-прежнему ли ты веришь газетам? Ненавидишь ли ты сейчас академика Сахарова по газетной подказке, как в 58 году по той же подказке искренне возненавидел Пастернака, а в другие годы и теперь — Солже-

ницына? «Я не читал Пастернака, но знаю: в литературе без лягушек лучше». «Я не читал романы Солженицына, но возмущен...» А может быть за это время, мой бывший собеседник, водитель такси, ты отрезвел, догадался, что прежде, чем судить о стихах и романах или о чужих мыслях, и прежде чем возмущаться ими, надо з н а т ь и х и думать обо всем на свете самому, собственным своим умом — не газетным?

Звуконепроницаемая стена, методически, злонамеренно воздвигаемая властью между создателями духовных ценностей и теми, ради кого эти ценности создаются, с 1958 года и особенно с 1969 выросла и укрепилась. Стена, наглухо отделяющая «простой народ» от его пророков и мучеников.

Стена возведена прочная, железобетонная.

Она ничуть не ниже и не безвредней берлинской. У берлинской стены, отделяющей одну часть города — и народа — от другой, при попытке через нее перебраться охрана открывает стрельбу. Каждый выстрел гремит на весь мир и отзывается в душе каждого немца и не немца. Борьба за душу «простого человека», за право, минуя цензурную стену, общаться с ним, ведется в нашей стране беззвучно. Когда-то об этом беззвучии написал Мандельштам.

Мы живем, под собою не чуя страны.

Наши речи на десять шагов не слышны.

А где хватит на полразговорца —

Там припомнят кремлевского горца.

«Кремлевский горец», Сталин, умер, но дело его живет. Масовые облавы смертью его прекратились. В тюрьмах и лагерях сидят теперь не десятки миллионов ни в чем не повинных людей, как при Сталине, а тысячи виноватых. И вина у всех у них одна и та же: слово. Через стену, воздвигнутую газетной ложью, стену между задумавшимися и беззаботными, слово не проникает. Кричи! Ни до кого не докричишься; разве что до сотни человек сквозь дыру, просверленную в стене Самиздатом. Дыру эту сейчас, в наши дни, усиленно замуровывает КГБ — обысками, тюремными сроками и плевками газет. Если и докричишься, вопреки укрепленной стене, до кого-нибудь, то всего лишь до сотен, а население нашей страны около двухсот пятидесяти миллионов. И они возмущены — не теми людьми, кто пулеметною очередью неправосудных судов, тюрьмами, лагерями ложью укрепляет стену, преграждающую дорогу правде — а теми, кто пробует,

напрягая ум, душу и голос, до них, до своих соотечественников за стеной, докричаться.

Мели, Емеля! Гуляй, Борисовка! Сотрудники газеты сами придут или позвонят тебе на дом и, подделываясь под «народный слог», сами сочиняют за тебя твой гнев и твое возмущение. Тебе остается только подмахнуть бумажку. Ты и подмахиваешь.

Первыми выступили, осуждая академика Сахарова, деятели науки, искусства и литературы. К ним я обращаться не стану. Они, образованные, начитанные, они прекрасно знают истинную цену и Солженицыну, и Сахарову, и, главное, самим себе. На них тратить слова не стоит. Подпись Шостаковича под протестом музыкантов против Сахарова доказывает неопровержимо, что пушкинский вопрос решен навсегда: гений и злодейство совместимы. Гений и предательство. Гений и ложь. Члены Академии Наук, члены Союза писателей и прочих «творческих Союзов» — и в первую очередь те, кто дергает их за веревочку — продумали все отлично, они ведают, что творят, они понимают, почему и чем Сахаров и Солженицын, каждый на свой лад, им помеха.

К ним, к писателям, художникам, музыкантам, артистам, ученым обращаться мне незачем. Им и без моего разъяснения известно, где правда. Худшие из них — профессиональные предатели, давно уже не имеющие никакого отношения ни к науке, ни к литературе или искусству; лучшие — талантливы, любят литературу, искусство, науку, но полагают, что «нельзя терять связи с читателем», зрителем, слушателем, — сподручнее продать слово; полагают, что если они не подпишут подготовленный начальством документ, издательства перестанут печатать их научные труды, повести, рассказы, стихи; раскидают набор уже принятой научной статьи или повести; не выпустят за границу с концертом; закроют выставку картин. И тогда? Что же тогда станет с бедной литературой, наукой, с бедным искусством — и с ними? Они не домысливают: нельзя без конца вырезать фестоны из собственного сердца — оно перестает плодоносить. Не знаю, как в математике или в музыке, но в литературе — в слове — нельзя. Пишите ваши повести, ваши стихи и рассказы, печатайтесь! Вас больше нет.

Мое обращение не к вам, а к тому мальчику за баранкой, который когда-то, не прочитав ни единой строки Пастернака и не твердо зная его фамилию — твердо верил, что Борис Пастернак ест наш хлеб, ненавидит наш народ и проданся зарубежным врагам.

Вряд ли ты услышишь меня, но я обращаюсь к тебе. К так называемому «простому человеку». Он вовсе не прост, и уже вовсе не глуп, но он несведущ. Он введен в заблуждение. Неведение его — роковое. И для него и для нас.

«Гнев и возмущение» против академика Сахарова выражает казенными словами доктор технических наук В. Сычев в газете «Известия» от 3 сентября. Присоединяется к нему на следующий день сборщик-вибратор М. Власов. Торопятся и донецкие шахтеры. От их имени выступает в «Правде» 3 сентября бригадир комплексной бригады на комбинате «Донецк-уголь». Возмущены и ленинградцы: кроме М. Власова, рабочие Кировского завода в лице своих бригадиров: двух Героев Социалистического Труда и одного Депутата в Верховный Совет. Сильно горячатся в Ростове-на-Дону.

«Когда я прочитал в газете о поступке, а сказать вернее, об антисоветской выходке академика Сахарова, — пишет газосварщик т. Ольховой, — то возмутился до глубины души. Ну, думаю, очутись я на той самой пресс-конференции, где Сахаров клеветал на нашу страну, я сказал бы ему «пару ласковых».

Это — в газете «Правда». Воображаю, как был доволен сотрудник газеты, подыскавший настоящее «народное» выражение: «пару ласковых».

Не отстают и колхозники. Они «до глубины души возмущены непорядочными действиями академика Сахарова» (там же, 4 сентября). Рядовые, а среди них и сановные: Герои Труда и Депутаты Совета.

Народ «возмущен до глубины души». Еще бы! Ведь писатель Вадим Кожевников еще 30 августа на страницах газеты «Известия» разъяснил колхозникам и шахтерам, комбайнерам и токарям, будто Сахаров — слушайте! слушайте! — кощунственно потребовал «вмешательства империализма во внутренние дела своей страны и братских социалистических стран».

Ну как же было не возмутиться всему советскому народу. Я и сама возмутилась бы, если бы не знала, что такое Вадим Кожевников... Я не могу подобрать определения его имени и его поступку (разве что назвать его начальником охраны у берлинской стены, а слова его — пулями, расстреливающими людей, ищущих единения со своими соотечественниками). Кожевников трехмиллионным тиражом сообщил читателям, будто академик Сахаров зовет на нашу землю интервенцию. Как же тут не возмущаться?

Позволю же себе и я сказать, что на самом деле совершил и к чему на самом деле зовет академик А. Д. Сахаров. Тунеядец ли он и зря ли он ест хлеб, выращенный честными руками колхозников, убранный честными руками комбайнеров, или слова Кожевникова кощунственная ложь, преступление с заранее обдуманном намерением.

Знаменитый советский физик, действительный член Академии Наук СССР, А. Д. Сахаров, Трижды Герой Социалистического Труда и дважды Лауреат Государственной премии изобрел для советского государства водородную бомбу.

Таким образом, товарищи рабочие и колхозники, он не ел даром хлеб, а трудился и дал в руки советскому государству мощнейшее оружие в мире.

Получив, в качестве премий, огромные деньги, он полтораста тысяч из них пожертвовал советскому государству — на онкологический институт и Красный Крест.

Слышали вы об этом?

Но если он создал бомбу — быть может он все-таки любит войну?

Нет, товарищи колхозники, рабочие и советские служащие!

Человек сердечного ума и думающего сердца, Андрей Дмитриевич Сахаров возненавидел бомбы и всякое насильничество. Обращаясь к советскому правительству, к народам и правительствам на всем земном шаре он первым стал раздумывать вслух о том, что названо ныне «разрядкой международной напряженности». Он написал несколько больших статей, известных всему миру, кроме тебя, товарищ советский народ, статей, в которых пригласил народы земного шара, вместо того, чтобы накапливать бомбы — накапливать мысли: как спасти человечество от угрозы войны? голода? болезней? вымирания? как спасти природу, человечество и цивилизацию от гибели?

Он совершил нечто более значительное: задумался и о судьбе конкретного человека, каждого человека, отдельного человека — и прежде всего о судьбе человека нашей родины. Это — его особенная заслуга, потому что раздумывать о судьбах всего мира, как бы ни были важны твои мысли, легче, чем выручить из беды хотя бы одного человека. Ведь кроме бомб, болезней и голода всюду на нашей планете, а на нашей родине в частности, существуют в изобилии тюрьмы, лагеря, и — это уж наш, родной, советский вклад в дело палачества! — сумасшедшие дома, куда насильно запирают здоровых.

Вместе со своими друзьями академик Сахаров организовал в точном соответствии с Конституцией Советского Союза Комитет прав Человека. Комитет этот зарегистрирован при ООН, международной организации, в которую входит Советский Союз.

Никогда, ни разу, ничем, ни на йоту, ни он, ни его товарищи не нарушили советский закон. Напротив, они стали защитниками людей, осужденных вопреки советскому закону, и разоблачителями тех, кто наш закон нарушает.

Стоп. Вот тут академик Сахаров с товарищами и сделался помехой власти. Законы существуют писанные и неписанные. У нас действует один неписанный закон, тот, который сильнее всего свода наших законов, вместе взятых, тот, от которого власть не отказывается никогда; у нас существует лишь одно преступление, которого власть никогда и никому не прощает: этот единственный соблюдаемый строжайше закон: каждый человек должен быть сурово наказан за малейшую попытку самостоятельно думать. Думать вслух.

Вот за что был спущен на Сахарова — Кожевников, а следом за Кожевниковым — механическим нажатием кнопок — «гнев народа».

Сахаров не менее других радовался смягчению международной напряженности, им же, его же плодотворными мыслями и подготовленному. Но при этом он считал своим долгом предупредить обрадованных: смотрите, чтобы под шум банкетов, сопровождающих встречи на среднем, высоком и высочайшем уровне, не заглохли голоса тех немногих людей в нашей стране, которые не желают примириться со зверством.

Галансков умер в лагере. Григоренко медленной смертью ежедневно казнят в тюремном сумасшедшем доме. Амальрик в заключении перенес менингит — его следовало немедленно помиловать, а ему, когда он отбыл свой срок, дали новый. Резве это не равняется для него смертному приговору? Я перечисляю судьбы, случайно оказавшиеся в поле моего зрения. Обыски и аресты идут сейчас повсюду — от Черного моря до Белого... Москва, Ленинград, Киев, Одесса. В сумасшедших домах сводят с ума здоровых. Против беззаконий и зверств поднял голос академик Сахаров. За это его называют антисоветчиком.

Разве слово «советский» означает — незаконный и зверский?

От чьего имени я обращаюсь к своему несуществующему читателю? От имени всего советского народа, как один электрик?

От имени рабочего класса, как один шахтер? Или от имени карусельщика и газосварщика?

Нет. Я не присваиваю себе подобного права. Не знаю, кто дал его им... Говорю ли я от имени советской интеллигенции? Тоже нет. Ведь и Свиридов и Леонид Мартынов и Энгельгардт и Быков и Кукрыниксы и Чингиз Айтманов (1) — люди несомненно интеллигентные, а они выступили против Сахарова, защитника гонимых. Значит, не вправе я причислять себя более к интеллигенции. Кого-нибудь пора от интеллигенции отчислить — либо меня, либо их... Протестую ли я от имени «инакомыслящих», как называют за границей преследуемых у нас протестантов? Нет; я говорю от самой себя, от одной себя; «инакомыслящие» не поручали мне говорить от их имени; да ведь и организации такой у нас нет: «инакомыслящие». Самое слово представляется мне неточным. Чтобы мыслить «инако» — надо, чтобы у того, от кого ты отличаешь себя своею «инакостью», существовала какая-нибудь мысль. Но стереотипное газетное пустословие не есть мышление. И преследование Самиздата, «Хроники текущих событий», Сахарова, Солженицына, сотен других — это не назовешь идейной борьбой — это есть попытка тюрьмами и лагерями снова загнать голоса — в немоту.

...Я вижу и слышу Андрея Дмитриевича Сахарова, четыре часа под проливным дождем упорно стоящего перед закрытыми дверями «открытого» суда, где подбирают уголовные статьи для наказания за мысль, и с кроткой настойчивостью повторяющего в лицо охраннику одни и те же слова:

— Я — академик Сахаров... Член Комитета прав Человека... Я прошу допустить меня в зал...

Его не пускают. Ведь он не только физик; он и его друзья — знатоки советских законов; он может, выйдя из зала суда, рассказать людям, как законы эти нарушаются. Он может нарушить главный закон нашей жизни; не тот, который записан в Конституции, а главный, ненаписанный — закон сохранения немоты.

(1) Георгий Свиридов подписал письмо композиторов (см. «Правда», 3.9.73), Мартынов — письмо группы писателей («Лит. газ.», 5.9.73), биохимик Владимир Энгельгардт — письмо членов АН СССР («Правда», 29.8.73), Василий Быков и Айтманов — письмо писателей («Правда», 31.8.73), Кукрыниксы — Михаил Куприянов, Панфирий Крылов и Николай Соколов — письмо членов Акад. художеств («Правда», 4.9.73).

Слышали вы об этом, актеры очередного «народного гнева»? На страницах газеты вы заявляете, что не в силах «словами выразить свое возмущение»... Потому и не в силах, что в вашем «возмущении» нет и грана подлинности, что оно вызвано системой механических кнопок.

А вы, Кожевников, и те, кто нажимает кнопки, вы, намеренно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля; вы, возводящие газетную — железобетонную — стену между лучшими умами и «простыми людьми»; вы, пытающиеся повернуть историю вспять; вы, искусственно, механически, нажатием кнопки вызывающие волны «народного гнева», предпочитая немоту любому слову — смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев, и тогда он, как лава, затопит не только вашу убогую стену, но — ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющей мыслью — мыслью академика Сахарова, например, — он утопит в крови, без разбора, и виноватых и правых.

Хочу ли я этого? Нет. Этого я никому не желаю.

7 сентября 1973 г.

Лидия Чуковская

### ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ\*)

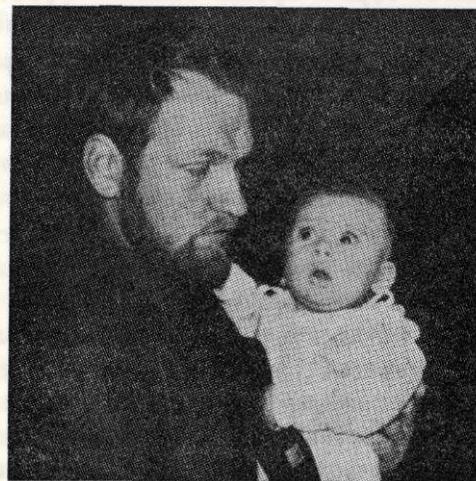
В ночь с 24-го на 25-ое августа Орловское управление КГБ произвело в моей квартире обыск. Искали антисоветскую литературу — ее не нашли. Вместо нее унесли мешок богословских книг, изданных за границей. С 27-го августа начались допросы у следователя О. Ф. Ильина. «Предварительным следствием убедительно доказано, что вы переправляли на Запад антисоветские материалы. Откуда у вас столько эмигрантских книг? Нам известно, что вы регулярно пополняли редакционный портфель журнала «Вестник РСХД»... Не улыбайтесь, дело серьезное...»

В ходе допросов вдруг всплывают слова, сказанные при закрытых дверях, называются имена друзей. Становилось ясным, что на протяжении нескольких месяцев каждый день мой был просвечен, просмотрен, выслежен. Я почувствовал азарт облавы: «Вы окружены, капитулируйте!» На один из допросов была вызвана моя жена. «Вина вашего мужа доказана, — сказали ей, — чистосердечное признание облегчило бы его участь». Я подумал: а в чем собственно моя вина? Почему то, что я делаю, превращает меня в преступника? Ведь речь идет о самом первичном, о самом существенном: о свободе читать и писать, о свободе мысли, о праве на самовыражение, без которых человек теряет себя и свою духовную сущность. Эта возможность неразрывно связана с возможностью передавать и получать любую информацию, если она не содержит военной тайны. Речь идет о суверенности человеческой мысли и слова, утвержденной в Декларации прав Человека. Наше правительство подписало ее в числе других членов ООН. (1) Советское законодательство также не запрещает те

(\*) Барабанов Евгений Викторович. Родился 2 ноября 1943 года в Ленинграде. В 1959 г. переехал в Москву. Учился живописи в художественной школе. В 1971 г. окончил искусствоведческое отделение исторического факультета Московского Университета (МГУ). Работал редактором в журнале «Декоративное Искусство» и в редакции литературы по эстетике издательства «Искусство». 19 октября был уволен с работы из издательства, несмотря на то, что был единственным работающим членом семьи (у него жена и двое детей).

(1) Всеобщая Декларация прав Человека была утверждена и провозглашена 10.12.48 г. Ген. Асс. ООН. Ни одна страна её не подписывала. Поскольку за нее высказалось большинство стран, можно считать, что Декларация была принята Ген. Асс. ООН.

действия, которые мне пытаются вменить в вину. Наоборот, изъятие рукописи и преследование авторов, произвольные запреты на публикацию, воспрепятствование печатанию определенных произведений не только здесь, но и за рубежом, — это явно незаконные действия, которым должен быть положен конец. Травля свободной мысли, усекновение слова, превратившиеся у нас в порочную привычку, не могут быть оправданы ничем. Ссылка на идеологическую борьбу лишена смысла, если встать на пра-



Евгений Барабанов с сыном

вовую почву. Она действительна лишь для тех, кто хочет принимать участие в этой борьбе. Но я не давал идеологической присяги и не обязан обладать непременно официальными убеждениями. Если государство не хочет публиковать то, что не входит в сферу его интересов, или не соответствует официальным концепциям — все издательское дело у нас национализировано — то по какому праву запрещает оно своим гражданам думать иначе, творить не как предписывается или читать то, к чему лежит душа. В условиях жесткой цензуры известная часть произведений всегда публиковалась за рубежом. В России, в царствование Николая I основные богословские труды Хомякова были напечатаны за границей. Такой же окольный путь к своему читателю порой вынуждены были находить Лев Николаевич Толстой, Владимир Сергеевич Соловьев. Тот факт, что произведения отечественных литераторов стали в наше время публиковаться за границей, сам

по себе свидетельствует о рождении творчества, не укладывающегося в рамки дозволенного. Духовная энергия моего народа не подконтрольна официальным идеологическим инстанциям. Она неизбежно находит выход, и с этой исторической неизбежностью бессмысленно и преступно бороться. Вот почему, не имея возможности запретить людям писать, государственные органы направили свои репрессивные усилия на передачу рукописей. Вот уже 8 лет, начиная с печальной памяти процесса над Синявским и Даниэлем, ведется борьба против вольного русского слова. Как и можно было предвидеть, эта борьба не увенчалась успехом. От попыток гашения дух разгорается только ярче и остается только поражаться неспособности гасителей усвоить эту истину, многократно подтвержденную историей. Сегодня мы уже вправе говорить о целой литературе, выражающей умонастроение так называемых «инакомыслящих». Но тяжела судьба авторов, еще тяжелей тем, кто посвящает себя тому, чтобы эта литература жила, публиковалась, распространялась, читалась. Большинство произведений, совершенно не защищенных авторским правом, попадают в пользующиеся дурной славой издательства, которые намеренно используют их в своих узко-политических интересах, а это, в свою очередь, оказывается удобным мотивом для возбуждения политических преследований и уголовных дел. Именно поэтому одна из задач, которую я перед собой ставил — оградить рукописи и документы от корыстных и спекулятивных манипуляций. Русский журнал «Вестник русского студенческого христианского движения», издательство ИМКА-пресс, к которым я обращался, не ставят перед собой никаких политических целей. С этим не может не согласиться любой непредубежденный читатель. Мне нечего скрывать. О своих действиях я могу открыто сказать перед своим народом и перед миром. Пусть скрываются те, кто боится света гласности и преследует вольное слово. Я действительно передавал на Запад рукописи и документы, и делал это совершенно бескорыстно. Повторяю: мне нет дела до каких-то мифических, идеологических врагов, которым я, якобы, подыгрываю. До сих пор Запад предоставлял единственную возможность сохранить эти документы, спасти их от физического уничтожения или забвения. Я исходил при этом не только из своего права на свободную духовную ориентацию, но также из требования христианского долга и совести, ибо убежден, что подлинные духовные ценности не могут создаваться в атмосфере закрытости и дезинформации. Поэтому я считал и продолжаю считать передан-

ные мною материалы серьезным вкладом в сокровищницу русской культуры, русской мысли и самосознания. Вот почему я передавал рукописный журнал «Хроника текущих событий», свидетельствовавший о преследовании людей, которые отстаивали право на свою свободу и свое человеческое достоинство. Да, я передал не напечатанные здесь произведения великих русских поэтов: Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Да, я передавал материалы по истории русской культуры, церкви, религиозной философии и неофициального богословия.

В публикации неизданных трудов Николая Бердяева и мученически погибших отца Павла Флоренского и Льва Карсавина есть доля и моего участия. Да, я передал стихи Даниила Андреева и Анатолия Радыгина, запечатлевших трагический образ тюрем и лагерей нашего времени. Да, я передал тюремные дневники Эдуарда Кузнецова — человека поразительного мужества, принесшего себя в жертву ради права евреев эмигрировать в Израиль. Да, я передал фотографии современных преследуемых общественных деятелей и писателей, людей доброй воли. Цель моего заявления — не самооправдание. Свой арест я буду считать актом грубого произвола. Но вопрос не обо мне только, но и о том, должна ли существовать русская культура вне зависимости от того, одобрена ли она официальной идеологией и цензурой. Должны ли погибнуть рукописи, если их не хотят печатать здесь? Должны ли быть забыты люди, уже ставшие жертвами произвола? Допустить это — значит допустить оскорбление не только русской, но и мировой культуры. Мир не знал бы всей правды о нашей стране, всей сложности ее жизни, проблем ее духа, трагизма ее исторического опыта. Наше столетие лишилось бы какого-то своего смысла и глубины, если бы оно не вобрало в себя этот опыт. Я обращаюсь за поддержкой ко всем людям, независимо от их политических и религиозных убеждений. Я хотел, чтобы поняли смысл моей деятельности. Одна из серьезных угроз, нависших над миром, это постоянная тенденция к изоляции, к ложной секретности, к упрямству зла. Зла и насилия в мире было бы меньше, если бы все о них знали.

15 сентября 1973 года

Евгений Барабанов

## О ЗАЯВЛЕНИИ ЕВГЕНИЯ БАРАБАНОВА

15-го сентября 1973 года Евгений Барабанов сделал заявление, которое должно привлечь внимание всех честных людей, дорожащих свободой мысли. Привлечь своей смелостью и принципиальностью. Многие годы следствие и политические процессы вращались вокруг установления самого факта передачи материалов, и хотя фактическая сторона редко отрицалась подсудимыми, в болоте следственной фактологии вязла принципиальная сторона дела. И вот Барабанов задает простой вопрос: «А в чем, собственно, моя вина?.. Да, я передавал рукописи за границу... но весь вопрос в том, должна ли существовать русская культура вне зависимости от того, одобрена ли она официальной идеологией... Зла и насилия в мире было бы меньше, если бы все о них знали». Мы полностью присоединяемся к мыслям, высказанным Барабановым. Со своей стороны мы заявляем, что мы тоже неоднократно поступали так же, и считаем это своим долгом.

Григорий Подъяпольский  
Андрей Сахаров

19 сентября 1973 года

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ \*)

Господин редактор, позвольте мне через Вашу газету выразить благодарность всем, кто принял участие в моей судьбе. Я горячо благодарю г.г. Линдсе, мэра Нью-Йорка, Габриэля Марселя и Пьера Эммануэля, приславших мне слова сочувствия и любезное приглашение посетить их во Франции. Я горячо благодарю Университеты Антверпена, Нантерра, Лувена, Женевы, Колумбии, семинарию Иоанна Богослова, пригласивших меня выступить с чтением лекций. Я хотел бы с радостью принять каждое из этих приглашений. Я расцениваю их как выражение сочувствия и солидарности, связывающих всех людей доброй воли.

В своем заявлении прессе от 15 сентября я отстаивал свое право на распространение и передачу любой информации, если она не содержит военной тайны. Несмотря на опасность, нависшую лично надо мной, мне хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что дело

не только в моей судьбе. Вопрос об обмене информацией, о свободном обращении рукописей и материалов между нашей страной и Западом сегодня стоит особенно остро. Публикация многих произведений современной русской литературы остается возможной лишь вне пределов моей страны. Сохранить эту возможность, добиться, чтобы она не была пресечена — общее дело всех тех, для кого важно духовное и моральное единство современного человечества. Хочу напомнить, что мир не узнал бы, например, ни основных произведений А. И. Солженицына, ни высоко гуманных идей А. Д. Сахарова, ни многих других писателей и достижений русского духовного творчества, и что, может быть, ещё печальнее, не узнали бы их и мы здесь, в России. Я не могу не сказать, что сердечность и понимание, наметившиеся сегодня, стоили многих, часто безымянных жертв. Я надеюсь, что эти жертвы не были напрасны. Как убедительное свидетельство этого я принимаю полученные мною телеграммы и приглашения.

23 сентября 1973 г. Евгений Барабанов  
адр.: Москва. Ярославское шоссе III. кор. 2, кв. 283.

## О ЗАЯВЛЕНИИ БАРАБАНОВА

Я прочла заявление для прессы Евгения Барабанова. Его допрашивают в связи с тем, что он передавал на Запад «Хронику текущих событий» и другие материалы. Но как можно вести допросы в связи с такими действиями? Разве в них есть что-либо преступное? Напротив, преступно было бы не приложить усилий к тому, чтобы правда стала общеизвестной. Я тоже неоднократно передавала различные документы и информацию; я считала и считаю это своим долгом. Что знали бы в мире о нашей жизни, если бы никто этого не делал?

19 сентября 1973 года

Елена Боннер  
(жена Сахарова)

\*) Было напечатано во многих Западных газетах.

## Отклики на Западе

Евгений ИОНЕСКО

Член Французской Академии

### АЛЬЕНДЕ И СОЦИАЛИЗМ ДРУГИХ

Альенде был честным человеком — вроде Ги Молле, который тоже достоин уважения. Альенде был мучеником и героем. Жена его заявила, что он покончил с собой, дочь же утверждала, что его убили. Во всяком случае, это доказывает, что люди у власти не должны быть мучениками. Часто случается, что это разбойники, друг друга убивающие. Между ними, как в известной среде, — сведение счетов. И так — со времени древности до наших дней. Сталин был зверь. Хрущев — бывалый тиран, Брежнев, подавивший Чехословакию и мучающий интеллигентов, — о нем уж не станем говорить, так как мы не имеем права оскорблять глав иностранных государств. Мао и его старцы-обожатели — безжалостные демоны. Идеология, капризы, жажда власти заменяет им любовь, и ничто не помешало им уничтожить Тибет — целую цивилизацию, развернуть ужасы культурной революции. Ленин был беспощаден. Английская история и пьесы Шекспира обрисовывают наиболее явно жестокость, алчность, абсолютизм, цинизм властителей. Пример Линь Бяо не нов. Это был «изменник», какими были одни из английских королей, уничтоженные другими, как и «тираны» в 89 году, и те, кто были «судимы» и казнены «хорошими» правителями, ставшими убийцами в свою очередь, когда другие убийцы справились со своей задачей.

Альенде сохранил бы власть в своих руках, если бы он был бесчеловечен. Но он был интеллигентом-мечтателем и искал справедливости. Справедливости невыполнимой. И вот — потому что он уважал свободу и добивался одобрения народа — он потерпел поражение и погиб.

Нам много говорят о «социализме с человеческим лицом». Эта банальная и демагогическая форма выражения нам смешна, но смешна до слез. «Социализм с человеческим лицом» — это есть противоречие. Социализм не может уважать личность. Мы

\*) Перевод статьи появившейся в Фигаро.

помним дело Дрейфуса. Нация — французский народ — поднялся в защиту человека против государства. У Марселя Пруста мы видим, как герцог де-Германт — против-дрейфусар — понял вдруг, что Дрейфус невиновен. Без ведома герцогини де-Германт он заказывает служить мессы за упокой Дрейфуса. Без ведома своего мужа герцогиня де-Германт делает то же. Они встречаются в церкви. Проникнутые чувством справедливости и любви, — которая руководит вернее, чем суд на пути истины, — супруги против-дрейфусары становятся дрейфусарами. Это не фикция. Позиция Пеги отражает крик целого народа, либерального в своей душе. Что говорил Пеги? Скорее пожертвовать государством, армией, городом — во временном их существовании, — чем предать проклятию душу Франции, чем допустить преступную несправедливость. Это — потому, что в те времена Бог еще существовал.

В одной пьесе Брехта, расстреливают добросовестного, но ошибшегося активиста, так как усердие его шло вразрез интересам партии, коллектива.

В одной пьесе Брехта расстреливают добросовестного, но и при режимах не-тоталитарных, — не поступили бы подобным образом? Нужно ли, и в который раз, привести в пример миллионы уничтоженных евреев во имя глупейшей расовой идеи; 20-ти или 25-ти миллионов русских, уничтоженных Сталиным или сосланных, или заключенных в тюрьмы? Крик праведников, интеллигентов и русских поэтов нам возвещает правду. Глаза людей на Западе понемногу раскрываются. Но ненадолго. Высшие интересы Государства и идиотское равнодушие «великодушных» парижских левых интеллигентов заставят нас очень скоро забыть все это. У меня нет никакой надежды положиться на моральные качества этих людей. Существуют отсталые умственно, но есть также и кретины моральные. Моральный идиот царствует на Западе. Один из крайне-левых экстремистов, фанатик обманчивого мифа Революции, заявляет даже, что надо пройти через «диктатуру пролетариата». По выражению одного из наших хорошо известных деятелей, но который просыпается всегда слишком поздно, — диктатура пролетариата действительно существует, но мы давно уже знаем, что это есть диктатура лишь одного или нескольких тиранов над пролетариатом.

Но «революционер» ничего не знает о шестидесяти последних годах истории. В 1967 году я писал, — здесь, на этих же страницах — когда чествовали пятидесятилетие Революции 1917 года,

— что чувствовали полвека несчастий и катастроф. Я получил письма с проклятиями и угрозами. Только теперь, наконец, Давид Руссэ пишет книгу, которая показывает и разъясняет, почему Революция 1917 года потерпела крах.

Румыны обязаны отмечать каждого 23-го августа освобождение их страны. Но в августе 1944 года произошла ее оккупация Красной армией и воцарилась диктатура с ее террором; десятки тысяч людей были преследуемы, мучимы пытками и заключены в тюрьмы. Это заставляет меня думать, что все, что утверждают в политике — противоположно правде; это есть надувательство, — издевательская мистификация.

Мы знаем, но мы скоро забываем. Мы знали также — чтобы вернуться к Чили, — что уже в продолжение двух или трех лет экономически ничто не налаживалось, это был разгром: хозяйки, бунтуя, доходили до того, что просили военных свергнуть правительство Альенде, перевозчики и грузчики бастовали, крестьяне и большая часть рабочих были недовольны и т. д.

Все это забыто. Это уже больше не экономический крах, это уже не всеобщее — или большей части народа — недовольство, которое довело до падения режима. Все это забыто! Теперь — это оказывается вина реакции и американцев, — говорят нам. Так вот и пишут историю — по принятой форме. По всей вероятности, то, что называют реакцией, получит — быть может — выгоду для себя из нового положения вещей. Но, ведь если бы все шло исправно, реакция не стала бы действовать активно, не чувствуя за собой поддержки народа.



По моему личному мнению, при теперешнем положении вещей — ни одна экономическая система: социалистическая или либеральная — не может удовлетворить нужды сегодняшнего дня. Наш мир, наши общества, режимы ни с чем уже не справляются. Фидель Кастро хотел бы стать популярным. Менее щепетильный, чем Альенде, он удержал власть тиранией. Чтобы держать власть в своих руках, социализм должен прибегать — еще и сегодня — к репрессиям, танкам, пулеметам, полиции, внушать страх.

Я думаю, что и не могло быть иначе. Можно предположить, что в противовес марксистскому мышлению — только в крестьян-

янской среде мог бы установиться коммунизм. — Какое искажение для марксизма! Некто из советских дипломатов — за обедом с обильной выпивкой — признался одной из французских особ, что если бы Керенский остался у власти, русские пришли бы к тому же результату — если не большему, но с меньшим ущербом!

Увы, нужны были преступления, необходимо было наказание, нужны были тюрьмы, применялась жестокость, неминуема была катастрофа. Это, вероятно, и есть то, к чему человек стремится!

Мне кажется, это Черчилль в своих мемуарах говорил, что либеральные эпохи в мире были очень редки. Был век Перикла, был XIX век и начало XX-го. Но он говорил также, что либерализм проистекает из совершенно исключительных обстоятельств, либерализм — это пари. В Англии — высшей эквилибристике — существует «начальник оппозиции Ее Величеству» и «оппозиция Ее Величества». В самом деле, факт существования оппозиции, оплачиваемой государством — это пример невероятного вызова истории. У меня такое чувство, что мы вступим в норму продолжительного периода властей, основанных на насилии и тирании, и может быть еще на века — пока не произойдет какое-нибудь новое чудо. Но кто знает — доколе?

Нам все же остается единственная надежда: из России — откуда нам было дано так много зла, — может прийти, через обратный процесс, счастье и свобода. И это — благодаря русским писателям, героям, мученикам, имена которых на устах у всех и в моем сердце.

(перевод с французского З. Сериковой)

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАПЕ РИМСКОМУ

Пресвятой отец,

Газеты западного мира только что опубликовали заявления самого великого современного советского писателя, Александра Солженицына. Эти заявления, связанные с его личным положением писателя, живущего в России, прежде всего, — предостережение властям его страны и вызов сознанию каждого из нас.

Но это свидетельство идёт гораздо дальше, и доходит до того, что провозглашает непреодолимость духа, подвергающегося враждебности всех властей мира сего. «Нельзя соглашаться с тем, заявляет Солженицын, что смертоносный ход истории бесповоротен, и что дух, уверенный в себе, не может повлиять на самую мощную силу мира. Опыт последних поколений всецело убеждает меня, что одна лишь непреклонность человеческого духа, твёрдо стоящего на зыбком фронте грозящих ему насилий, готового к жертве и к смерти при возгласе: «Стойте, ни шагу вперёд!», одна такая духовная непреклонность обеспечивает подлинную защиту мира для всех, мира для всего человечества!»

Этот писатель говорит как папа, по крайней мере как папе следовало бы говорить! Но Вы, пресвятой отец, что скажете Вы? Что Вы намерены высказать, не через десять лет, а теперь? и не шёпотом, в тайниках государственных канцелярий, а во всеуслышание? Неужели Вы не откликнетесь не только на призыв величайшего русского современного писателя, но и на несметные стоны лицемерно преследуемых за железным занавесом христиан? Мы ждём..

Я осмеливаюсь сказать, что те, на долю которых выпали испытания нашего поколения, устали ждать и спрашивать себя, можно ли чего-нибудь ещё ждать от папы. Вот это «Стойте! ни шагу вперед!», мы его ждали от папы и во время гражданской войны в Испании, и во времена Муссолини и Гитлера! Мы его тщетно ждали.

Сам Иисус Христос не побоялся осведомиться у своих учеников относительно слухов, ходивших о нём: «Кто Я есмь для

\*) Монах ордена доминиканцев, писатель, автор недавно вышедшей книги «Открытое письмо Иисусу Христу».

людской молвы?» Эти же слова внушают мне смелость задать сегодня такой вопрос: «Кто он есть для людской молвы, папа современной эпохи?» Если Вы прислушиваетесь к толкам мира сего, пресвятой отец, то Вы легко узнаете, что думают о папе: это архаическое лицо, которое раз навсегда подменило милосердие дипломатией, думает, что дипломатия разрешает проблемы, тогда как она только представляет собою искусство уклоняться от них, доказать свою непричастность, мысленно оговариваться, прибегать к увёрткам, искусство обращаться к нестоящему собеседнику, который не представляет из себя ничего того, на что он претендует, искусство говорить, ничего не высказывая из того, что должно было бы быть сказано, и главное, искусство молчать, тогда как следовало бы говорить ясно и чётко.

Я задаю Вам такой вопрос, пресвятой отец: чего ожидают от Вас враги церкви и враги Христа, заместителем Которого Вы являетесь? Они надеются прежде всего усыпить Вас красивыми словами, и в особенности заставить Вас молчать! Со смерти Пия XI-го можно сказать, что их надежды сбылись. И смерть самого Пия XI-го остается настолько таинственной и своевременной для диктаторов той эпохи, что всевозможные предположения приходят на ум: «*Is fecit cui prodest.*» Она принесла несомненную выгоду диктаторам. Ибо Пий XI-ый умел говорить напрямик и во всеуслышание.

А что сказать о молчании Пия XII-го, дипломата в первую очередь? Говорят, что когда его осведомили о нацистских зверствах, он будто бы сказал: «потребовались бы огненные слова, чтобы заклеить подобные преступления!» Тогда почему же он не произнёс эти огненные слова громким и внятным голосом?

Я подсчитал. Из первых двадцати девяти пап один скончался в тюрьме, другой в ссылке, третий умер неизвестно как. Все остальные, все без исключения, погибли мучениками. Все, иначе говоря, двадцать шесть из двадцати девяти. Таковой была при её основании наша святая Римская Церковь. На самопожертвованиях её руководителей утвердился примат римского папы. В начале своей истории Церковью повелевали люди, умевшие умирать, потому что они осмеливались говорить. Слишком уж давно папа не умирал мучеником. Что ж, мученичество придало бы больше веса вашей должности.

И нельзя сказать, что случай не представлялся. Если бы Пий XII-ый осудил во всеуслышание то, что должно было быть осуждено, очень возможно, что он кончил бы свою жизнь в концен-

традиционном лагере. Это во многом укрепило бы Ваш собственный авторитет, чтобы говорить, например, с госпожой Голдой Меир, которая всё-таки представляет миллионы людей, подвергавшихся пыткам. А теперь, почему Вы не становитесь публично на защиту верующих в России, подвергнутых гонениям, этих родных собратьев по вере («Domesticos fidei»), о которых говорит Ваш покровитель, святой апостол Павел?

Так не может продолжаться, так не будет продолжаться! Уже во время гражданской войны в Испании Бернанос разоблачал Ватиканских дипломатов, которые говорили: «Мы знаем, что Франко многих убивает, но об этом не надо говорить!» При Гитлере — то же самое, ни гугу! А теперь то же происходит по отношению к христианам, находящимся за железным занавесом. Очень хорошо известно, что там происходит: но не надо об этом говорить. Почему? Чтобы избежать худшего? А разве худшее уже не настало? После нацистских и советских концентрационных лагерей, после кремационных печей, после помещений в психиатрические больницы людей, не разделяющих официальную точку зрения, что называют худшим злом в Ватикане?

Разве Петр, первый римский папа, договаривался с Нероном хотя бы через посредника, когда первые христиане безбоязненно шли навстречу львам в аренах?

Вот что говорят о Вас, пресвятой отец, и это говорят теперь так открыто, что Вы должны быть очень глухим, чтобы этого не слышать.

(перевод с французского Г. Урмана)

Лешек КОЛАКОВСКИЙ \*)

Советский ученый, с которым я разговаривал около двух лет назад, вскоре после того, как ему удалось эмигрировать, сказал мне: «Я верю в гегелевскую теорию, гласящую, что каждый народ должен выполнить особую историческую миссию. Есть такое предназначение и у России. Ее великая историческая миссия заключается в укреплении, развитии и распространении идеи рабства».

Голоса Солженицына, Сахарова, Амальрика, Григоренко, Буковского радикальным образом разрушают эту мрачную историософию. «Сколько их, этих голосов, взывающих в пустыне?» — спрашиваем мы не раз в сомнениях, когда речь заходит о русских делах. Но, ставя так вопрос, мы не выходим за рамки мышления, привычного для демократических государств: нельзя оценивать положение в России путем подсчета процента, который составляют в советском обществе полтора десятка бунтарей, известных нам по именам. В условиях, когда нужно быть героем, чтобы сохранить элементарнейшие следы человеческого благородства, и нужно быть тряпкой, чтобы пользоваться минимумом житейской безопасности, такие подсчеты не имеют никакого смысла. Эти молнии разума и мужества (а западные интеллектуалы до сих пор не могут представить себе размеров самоубийственного мужества, необходимого для того, чтобы сказать то, что мы слышим от Солженицына и Сахарова) являются не только надеждой России, они в равной степени — надежда Запада. Когда почти вся западная печать больше всего заботится о том, чтобы не раздражать начальников «социалистического» лагеря, когда умышленно сокращаются до абсолютного минимума все неблагоприятные информации, могущие прозвучать диссонансом в веселой атмосфере «окончательного» примирения, когда в европейских столицах празднуется радостный банкет разрядки, а оркестр заглушает крики, доносящиеся из полицейских подвалов, каждый голос правды из России — в меньшей степени крик о помощи, в большей — пощечина Западу.

Мы ведь ничего не ждем от правительств западных держав, заинтересованных стабилизацией (мнимой) раздела мира, а следовательно, внутренней стабилизацией советского блока. Нашей

\*) Польский философ-марксист, ныне проживающий на Западе.

надеждой может быть только содружество умов в этом блоке. Властители России знают об этом: сколько раз они шумно заявляют, что все русское освободительное движение — это дело горстки шизофреников, столько раз — отдают ему честь. Если бы было так, как они говорят — зачем же нужно было запрягать на борьбу с ними всю полицейскую и пропагандистскую машину? Они знают, что это не так и, вооруженные до зубов, дрожат от страха перед горсткой людей, единственным оружием которых есть несгибаемая воля быть свидетелями правды во времена великой лжи.

(перевод с польского М. Геллера)

## НЕКРОЛОГ

### ПАМЯТИ Н. Б. КИШИЛОВА

(24-IX-1934, Раненбург — 25-IX-1973, Амбуаз)

Трудно выписывать трафаретные слова: **памяти Н. Б. Кишилова**. Ведь только что он появился среди нас, из Москвы, одним из первых вестников новой, третьей эмиграции; как бы вчера выступал на съезде Движения с кратким, но предельно искренним словом о духовном возрождении в России... И вот не успели мы его узнать, как пришла весть о его внезапной смерти. Впрочем, это неверно — «не успели». Как раз многие успели не только его узнать, но и полюбить, привязаться к нему. Николай Борисович был весь открыт людям, шел к ним без задних мыслей, ради общения и дружбы; вокруг него тут же образовался столь редкий в нашей разобщенной среде, дружественный круг.

Николай Борисович был русский до мозга костей, без малейшей примеси «советского», будь то в манерах, в говоре, уж тем более в образе мыслей. Казалось, он олицетворял Россию: даровитый, но разбросанный, щедрый, но беззащитный, добрый, но необузданный, безбрежный, как те русские леса и реки, которые он так любил, глубоко-религиозный, как та древняя русская культура, которой он посвятил жизнь.

По специальности своей Н. Б. Кишилов был искусствовед-реставратор и работал в Третьяковской галерее. На Парижской выставке русских икон (1968) посетители могли видеть поразительного **Спаса XIII-го века**, открытого и расчищенного Кишиловым в одну из экспедиций. В 1971 году под его редакцией (совместно с А. Овчинниковым) вышел прекрасный художественный альбом, посвященный Псковской живописи.

Но даровитость Кишилова была разносторонней. Он сам писал иконы, причем старался пользоваться техническими приемами древних мастеров и тщательно работал над материалом; хорошо знал русскую литературу и сам в молодости сочинял стихи; после ареста своего друга А. Синявского залпом написал увлекательную повесть, заслуживающую быть изданной. В 72-м номере **Вестника** (в 1965 г.) под псевдонимом Н. Смирнов появилась его небольшая, но острая статья о любимейшем его поэте, О. Мандельштаме: Кишилов был едва ли не первым «подсоветским человеком», дерзнувшим сотрудничать в **Вестнике**. Но и во

многих других областях Кишилов был знатоком или умельцем: он собрал на лентах редкие образцы древнерусского пения, запечатлел в талантливых фильмах глухие места России.

Хотя, как видно из стихов, у него сложились особо-близкие отношения со смертью, Кишилов был человеком жизни. Но в этой жажде жизни, упоении ее многообразием не было ничего языческого. Выше всего Кишилов ставил правду и искал ее: выкорчевывание русской культуры, угашение духа в России, несправедливость вызывали в нем негодование, буквально выводили его из себя. Тяжело пережив осуждение Синявского, Кишилов так и не оправился от этого удара. Нелегко далось ему и решение эмигрировать:

Но и такой моя Россия

Ты всех краев дороже мне...

мог бы он повторить за Блоком. На Западе люди ему казались чопорными, необщительными: «что это ты, говорил он своему новому другу, как француз, приходишь раз в неделю»; природа — куцей, отгороженной от человека. Все же полюбил он Шартрский собор и привольные берега Луары, напоминавшей ему русскую ширь.

На берегах Луары, близ старинного городка Амбуаз, куда он неудержимо, по какому-то зову, отправился один на рыбалку, и настиг его верховный час или, как он сам в стихах сказал, «легкий, весёлый путь»...

Не в чужие края купец,  
на высокий погост жилец.

Н. С.

Н. Б. КИШИЛОВ

## СТИХИ

### I

Хорошо на Руси хоронят,  
глубоко на Руси хоронят,  
над рекой хоровод вороний,  
со снежком холодок вороний.  
Расстиляется лёгкий путь,  
разрывается слезами грудь.  
Не кричи меня, мать, забудь —  
это лёгкий весёлый путь...  
Не в чужие края купец,  
на высокий погост жилец.

### II

О причеты вдовьи.  
Отцу изголовье,  
любимому саван,  
на хладно сердечко  
невесте колечко.  
Как снежные ветры  
несутся над Русью  
с тоской и луной,  
со слезами и грустью.  
И звон панихидный  
на сердце томится,  
и девушкам красным  
ночами не спится.  
Ночами полощутся  
красные тряпки,  
ночами не спят  
повивальные бабки,  
а ночи повитые  
в саван хрустящий  
стоят в изголовье  
охранников спящих.



Мы хороним  
тебя, хорошую,  
в нежитейскую даль  
проросшую,  
на живых  
уже непохожую,  
тайной млечною  
отгороженной.  
В твоём изголовье  
живые цветы —  
лишь наше признание  
земной нищеты.  
Земные цветы  
в неземную дорогу,  
как это невнятно,  
как это немного.  
Тому, кто уходит —  
могила открыта,  
а нам целованье  
и в сердце молитва,  
молитва-рыданье  
и плач Аллилуя,  
к земле припадая  
и землю целуя,  
и землю — лицо  
и могильную землю,  
с землёю прощаясь  
и Господу внемля.  
Пришей мою память  
суровою ниткой,  
рукой непослушной,  
тоскою, ошибкой.  
Забуду грибы я  
и чёрные ямы,  
поляны рябые,  
пустые поляны.  
В полях отголоски  
застольной беседы  
и леса полоски  
на зареве медном.

Засыпанный осенью,  
стянутый ночью  
случайный и брошенный  
угол непрочный,  
играя губами,  
как уголь, из колодца  
звезда голубая.

Так накрепко шей же суровою ниткой  
лицом хорошея и с мёртвой улыбкой.

\*  
\* \*

Небо с полем слились воедино  
в белом свете молочного дня,  
мы прошли по дороге старинной,  
по владимирским круглым полям.  
На земле догорали, как свечи,  
леденели, ломались стерни,  
словно путь нам срывается в вечность,  
и его охраняют они.  
В тишине распрямились, как стража  
вдалеке над селом купола,  
словно тонкою белою пряжей  
их земля с горизонтом сплела.  
И ни звука в гортанном дыханье  
косогоров повитых дымком,  
только речки холодной сиянье,  
только этот разрушенный дом,  
только колокол в памяти звонит  
над полями одетыми в лёд,  
он кого-то снаружи хоронит,  
и кого-то внутри бережёт.



Н. Б. Кишилов на съезде РСХД, июнь 1973.

## БАРАК

### 1.

Барак рядами окон-дыр  
и тумбочками труб  
качался, плыл, пуская дым,  
как в половодье труп.  
В бараке жили, кто не жаль  
и помереть — плевать.  
Барак болел, барак рожал  
в скрипучую кровать.  
В нём жили скопом и гуртом —  
одни помои лить —  
не окончательным скотом —  
последними людьми.  
Дешёвка штор, сараев гниль,  
обоев жёлтых грязь.  
Барак сплетал тела и дни

в одну живую связь.  
Барак со временем снесли,  
построили леса,  
на старом месте возвели  
до неба корпуса.  
И как в раю в них хорошо —  
ни ругани, ни драк.  
Был бос барак, но был с душой,  
иду назад — в барак!

### 2.

Есть мука смертная души,  
когда на крышах ни совы,  
когда ни кошек, ни собак,  
и мир, похожий на барак,  
кончается, как коридор —  
окном замученным во двор.

### 3.

Попросил напиться —  
повели в милицию.  
Все стояли у ворот —  
видно, ждали, что придёт.  
Ждите, подождите —  
только не спешите.  
Кто и что,  
зачем и как  
скопом высыпал барак.  
Нашего? вашего?  
лучше не спрашивай.  
Нюркина Мишку.  
Стало быть — крышка.  
Эх ты, мир, застава —  
дорого ли, мило ли,  
прямо и направо,  
где Дорогомилово.  
Стояли грошовые  
жаром дышат,  
повели дешёвые  
под подмышками

## 4.

Господи, помилуй нас навеки  
по велицей милости твоей,  
мы мертвы, как пузырьки в аптеке,  
как камса в одиннадцать рублей.  
Господи, помилуй нас от муки,  
самой страшной в мире — равнодушья,  
отлучи нас, Господи, от скуки,  
и прости нам, Боже, наши души.  
Выщербленной мискою собачьей  
их овал не очень-то красив.  
Господи, прости, что я не плачу,  
и барак мой, Господи, прости.

## ИСПРАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

## № 106

стр. 205, ошибочно указано в примечании, что В. А. Асмус умер в 1972 году. Почтенный философ здравствует и живет в Москве.

## № 107

стр. 116, ошибочно указано, что Шарль Пэги «начисто отсутствует в новейшей советской литературной энциклопедии»; о Пэги есть малоинтересный столбец, но не через «э», а через «е».

стр. 140, стихотворения Волощина «Святой Франциск» и «Хвала Богоматери» были напечатаны в составе поэмы «Св. Серафим» в 72 книге **Нового журнала**. (публикация архиеп. Иоанна Шаховского). Первая часть стихотворения «Доблесть поэта» была недавно опубликована в одном из **Дней поэзии**.

По независящим от Редакции обстоятельствам этот номер **Вестника** выходит с трехмесячным опозданием.

Следующий номер **Вестника** выйдет в мае 1974 г.

## МОСКОВСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Вчерашняя официальная статья в Правде «Путь предательства» заканчивается словами: «Солженицын удостоился того, к чему стремился, участи предателя, от которой не может не отвернуться с гневом и презрением каждый честный человек»... Однако все те, кто знаком с книгой Солженицына, вызвавшей такой гнев руководящих деятелей СССР, знает, что его «предательство» заключается в том, что он с потрясающей силой раскрыл всему миру чудовищные преступления, совершившиеся в СССР в недавнем прошлом. Десятки миллионов невинных людей, коммунистов и не коммунистов, атеистов и верующих, интеллигенции, и рабочих и крестьян стали жертвой террора, прикрашиваемого лозунгом социальной справедливости.

## Мы требуем:

- 1 — Опубликовать Архипелаг ГУЛаг в СССР и сделать его доступным каждому соотечественнику.
- 2 — Опубликовать архивные и иные материалы, которые дали бы полную картину ЧК, ГПУ, НКВД и МГБ.
- 3 — Создать международный общественный трибунал по расследованию совершенных преступлений.
- 4 — Оградить Солженицына от преследований, дать ему возможность вернуться на родину.

Мы заранее отвергаем попытку объявить международный сбор подписей под таким воззванием вмешательством во внутренние дела СССР, тем более что жертвами террора явились не только граждане СССР, но и сотни тысяч граждан других стран. Правда о том, что произошло в СССР нужна всем людям на земле.

Мы просим всеми средствами информации распространять наше воззвание. Мы также просим все культурные, общественные и религиозные организации создать национальные комитеты для сбора подписей под прилагаемым воззванием.

Андрей Сахаров  
Елена Боннер  
Владимир Максимов  
Михаил Агурский  
Борис Шрагин

Павел Литвинов  
Юрий Орлов  
О. Сергей Желудков  
Анатолий Марченко

14-го февраля 1974

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
От Редакции — Архипелаг Гулаг (Н. Струве) .....	III
Жить не по лжи — А. Солженицын .....	VII
Интервью А. Солженицына, 18 февраля 1974 .....	4
Опыт журнальной утопии — ХУ .....	6
<b>БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ</b>	
Таинство Царства — Прот. А. Шмеман .....	24
Письма братьев-епископов из ссылки (продолжение) .....	36
<b>ХРИСТИАНСТВО И ИУДАИЗМ</b>	
Обращение французского епископата .....	56
Гонения на Израиль — Прот. С. Булгаков (1942) .....	62
Открытое письмо в журнал « Вече » — М. Агурский .....	77
К 80-ЛЕТИЮ ПРОТ. Г. ФЛОРОВСКОГО	
Жизненный путь .....	92
Три учителя — Прот. Г. Флоровский .....	98
<b>ВОПРОСЫ ЦЕРКВИ</b>	
Вокруг « Литургических заметок » о С. Желудкова (отклики)	122
Дар и ответственность — А. Колесов .....	129
Мера неправды — Прот. А. Шмеман .....	142
Отъявленный стучач в духовном сане .....	143
<b>ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ НА ЗАПАДЕ</b>	
Интервью М. Меерсона-Аксенова с Габриелем Марселем .....	144
<b>ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ</b>	
Из новых стихов — Иосиф Бродский .....	159
Сказочная книга — Прот. А. Шмеман .....	169
Годы безвременщины — Е. Терновский .....	174
По поводу « Воспоминаний » — Н. Я. Мандельштам .....	187
Письмо А. Твардовского к Н.Я. Мандельштам .....	187
Письмо В. Каверина к Н.Я. Мандельштам .....	189
Два неизданных письма М. Цветаевой .....	193
<b>СУДЬБЫ РОССИИ Духовная брань</b>	
Полный текст интервью данный корреспонденту Ассоциэйтед Пресс и газете « Le Monde » — А. Солженицын .....	196
Мир и насилие — А. Солженицын .....	216
Письмо министру внутренних дел СССР Н.А. Щелокову — А. Солженицын .....	225
Интервью Олле Стенхолму — А. Сахаров .....	226
Открытое письмо в журнал « Шпигель » — А. Сахаров .....	236
Беседа с Зам. Генерального прокурора — А. Сахаров .....	238
Открытое письмо писательской организации С.И. РСФСР — В. Максимов .....	247
Открытое письмо Генриху Беллю — В. Максимов .....	249
Гнев народа — Л. Чуковская .....	251
Заявление для прессы — Е. Барабанов .....	262
<b>ОТКЛИКИ НА ЗАПАДЕ</b>	
Альенде и социализм других — Е. Ионеско .....	268
Открытое письмо Пале Римскому — О. Брукбергер Л. Кола- ковский .....	272
Памяти Н.Б. Кишилова .....	277
Н.Б. Кишилов — Стихи .....	279
Московское обращение .....	285

## SOMMAIRE

	Pages
L'Archipel du Goulag — N. Struve (Paris) .....	III
Ne pas vivre dans le mensonge — A. Soljenitsyne (Moscou) .....	VII
Interview de A. Soljenitsyne à F. Crepeau (Zürich) .....	4
Essai d'utopie journalistique — XY (U.R.S.S.) .....	6
<b>THEOLOGIE - PHILOSOPHIE</b>	
Le sacrement du royaume — A. Schmemann (New York) .....	24
Lettres de deux frères, évêques en exil (U.R.S.S.) .....	36
<b>CHRISTIANISME ET JUDAISME</b>	
Message de l'épiscopat français .....	56
Israël en butte aux persécutions — G. Boulgakov, 1942 (Paris)	62
Pour le 80 <sup>e</sup> anniversaire du P. G. Florovski .....	92
Trois maîtres — P. G. Florovski (U.S.A.) .....	98
<b>PROBLEMES D'EGLISE</b>	
Autour des « Notes liturgiques » du P. Jeloudkov (France- U.R.S.S.) .....	122
Le don et la responsabilité — A. Kolesov (U.R.S.S.) .....	129
Les limites de l'imposture — A. Schmemann (U.S.A.) .....	142
Un dénonciateur en soutane .....	143
<b>LE CHRISTIANISME EN OCCIDENT</b>	
Interview accordée à M. Meersen quelques jours avant sa mort — Gabriel Marcel (Paris) .....	144
<b>LITTERATURE ET VIE</b>	
Vers nouveaux — Joseph Brodski (U.S.A.) .....	159
Un livre prodigieux (à propos de l'Archipel du Goulag) — A. Schmemann (U.S.A.) .....	169
Années creuses (à propos du livre de V. Maksimov) — E. Ter- novski (U.R.S.S.) .....	174
Lettre de A. Tvardovski à N. Mandelstam .....	187
Lettre de B. Kavérine à N. Mandelstam .....	189
Deux lettres inédites de Marina Tsvétaïva .....	193
<b>LES DESTINEES DE LA RUSSIE: LE COMBAT POUR LA LIBERTE DE L'ESPRIT</b>	
Texte intégral de l'interview accordée à l'Associated Press et au correspondant du « Monde » — A. Soljenitsyne .....	196
La force et la violence — A. Soljenitsyne .....	216
Lettre au ministre de l'Intérieur — A. Soljenitsyne .....	225
Interview accordée à Olle Stenholm — A. Sakharov .....	226
Lettre à la revue « Der Spiegel » — A. Sakharov .....	236
Entretien avec le procureur — A. Sakharov .....	238
Lettres à M. Böll et à l'Union des Ecrivains — V. Maksimov ..	247
La colère du peuple — L. Tchoukovskaïa .....	251
Déclarations à la presse — E. Barabanov .....	262
Echos de l'Occident : L. Kolakowski, E. Ionesco, R.P. Bruck- berger .....	268
In Memoriam : Nicolas Kichilev .....	277
Vers — N. Kichilev .....	279
Message de Moscou (à propos de l'expulsion de Soljenitsyne)	285

# LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris

Téléphone : ODE. 74-46 et ODE. 43-81

Compte Chèques Postaux : Paris 13313-73

Фр.

СОЛЖЕНИЦЫН. — Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования. 1974, стр. 606.....	40,00
СОЛЖЕНИЦЫН. — Август четырнадцатого. 1971, стр. 573 брош. ....	35,00
СОЛЖЕНИЦЫН. — Август четырнадцатого. 1971. стр. 573 в пер. ....	45,00
СОЛЖЕНИЦЫН. — В круге первом. 1969, стр. 670..	42,00
СОЛЖЕНИЦЫН. — Раковый корпус. 1968. стр. 448.	35,00
СОЛЖЕНИЦЫН. — Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Окончат. редакция автора. 1973, стр. 161 .....	15,00
СОЛЖЕНИЦЫН. — Побелевская лекция по литературе. 1972, стр. 30 .....	3,00
« АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ЧИТАЮТ НА РОДИНЕ ». Отклики. 1970. стр. 170.....	15,00
ПЛЕТНЕВ Р. А.И. Солженицын, 2-ое дополн. изд. 1973, стр. 170 .....	15,00
ВАРШАВСКИЙ В. — Ожидание. Повесть. 1972, стр. 303	25,00
ВЕЙДЛЕ В. — О поэтах и поэзии (Блок, Мандельштам, Ходасевич, Ахматова, Цветаева, Брюсов, Пастернак). 1973 .....	20,00
ГЕРЦЫК Евг. — Воспоминания (Бердяев, Шестов, Вяч. Иванов, М. Волошин, С. Булгаков). 1973, стр. 192, фото. ....	24,00
ЗА РУБЕЖОМ. — Хроника семьи ЗЕРНОВЫХ, ч. II (1921—1972). 1973, стр. 560, иллюстр.....	35,00
КУЗНЕЦОВ Эд. — Дневники 1970—1971 г. (Ленинградское дело « самолетчиков »), 1973, стр. 375... ..	25,00
ОТКРОВЕННЫЕ РАССКАЗЫ СТРАННИКА ДУХОВНОМУ СВОЕМУ ОТЦУ?, 4-ое издание. 1973, стр. 292 .....	24,00
ПЛАТОНОВ А. — Чевенгур. Повесть. 1972, стр. 375..	30,00
ТАТИЩЕВ Н. — В дальнюю дорогу. Рассказы и очерки. 1974, стр. 218.....	20,00
УДЕЛОВ С. — Об отце Павле Флоренском. 1972, стр. 142 .....	18,00
ФРАНК С. — По ту сторону правого и левого. Статья. 1972, стр. 240 .....	24,00
ЦВЕТАЕВА М. — Неизданные письма (К В. Розанову, Ахматовой, Пастернаку, В.Н. Буниной и др.). Приложение: Посл. дни жизни и смерть в Елабуге. 1972, стр. 651 .....	60,00

# ВЕСТНИК

Русского Студенческого Христианского Движения

XXXVII-й год издания

## ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕСТНИКА

В Австралии:	M. Solovey, « Our word », P.O. Box 175, Pointe Claire, N.S.W. 2111, Sydney, Australie. Mrs B. Szobany, 11 Dianella Ave., Maribee, West Australia.
В Америке:	Ludmila Toman, 85, Tuber Road, Belmont, Mass 02178, U.S.A. San Francisco: Mrs Olga Raevsky-Hughes, 1413, 24th Ave, San Francisco, Calif. 94122, U.S.A.
В Англии:	The Centre for the study of religion and communities, 34 Lubbock Road, London, W.11, 6PP, U.K. Подписная плата на год: 25 фунтов стерлингов (25 фунтов)
В Бельгии:	Подписная плата на год: 250 бельг. франков (подтвердить — 1.000 бельг. франков) Просим подписчиков вносить плату прямо на банковский счет A.C.E.R. Paris C.C.P. 241104, либо банковским чеком на имя A.C.E.R.
В Германии:	Подписная плата на год: 40 герм. м. с доставкой посылками — 100 герм. м. Прогги плату вносить непосредственно по Фрэнсисо Канкониум деральтезм.
В Швеции:	Prost S. Timtchenko — Box 19037, Stockholm 19, Suède. Подписная плата на год: 50 шведских крон, с доставкой посылками — 100 шведских крон.

Directeur responsable : Nikita STRUVE

Tous droits de traduction réservés